

Борис КЛИМЫЧЕВ

Прощаль

(Роман)

1. Зимний Николай

Четырнадцать лет назад в благословенном городе Томске зимней ночью произошёл маленький случай.

Дежурная санитарка знаменитого Мариинского сиропитательного приюта пошуровала в печи. Пора было загребать жар и закрывать трубу. Не сидеть же подле печи всю ночь.

Агафья Данилова с корытом, в котором дымила сырая головня, выскочила на заднее крыльцо. И замерла. На сугробе, который выюга намела возле крыльца, как на пушистой белой перине, лежал младенец, аккуратно запелёнатый во всё чистое. При свете луны было видно, что младенец морщит губы, словно пытается что-то сказать. Видно, подкинули его совсем недавно.

Агафья воткнула головешку в сугроб и осторожно подняла младенчика. Вернувшись в приют, Агафья разбудила инвалида Фаддея Герасимовича, который был тут в приюте смотрителем. Следил за порядком. Не пускал в дом чужих. И розги заготовливал, и порки производил, когда это требовалось. Приютские на него не обижались. Дядька потерял ногу на японской войне. И все в приюте знали, что отрезанная нога у него болит, хотя она и осталась где-то под городом Мукденом.

Дядька поворчал спросонья — вот, мол, ни сна тебе, ни отдыха. Но, отошедши от сна, принял в младенце самое живое участие. Он велел распеленать его. Объявил, что младенец этот мужеского пола. На что Агафья отвечала, что глаза у неё и у самой есть.

— Глаза! Глаза! Ты посмотри, что! Пелёнки-то богатейские, кружевные, а метка нигде не вышита. И в колокольчик не позвонили. Ни записки, ничего. И лицо у младенчика благородное, не иначе какая-нибудь дворянская либо генеральская дочка свой грех на наш задний двор скинула. Небось, к парадному крыльцу не пошла в колокольчик звонить! Ну, начальство завтра явится, решит, что с ним делать — Ага! Надо же! Золотое колечко к ручонке ниткой привязано. Ну, это вроде взятки нам! Начальству не скажем, кольцо сдадим, деньги на двоих поделим. Согласна?

Агафья кивнула. Фаддей Герасимович продолжил речь:

— А ты его с собой положи, да не приспи ненароком...

— Болтай! — сердито отозвалась Агафья. — Я своих пятерых вырастила... Да со здешними сколько вожусь!

Случай был действительно не совсем обычный. Ибо приют сей был создан специально для приёма младенчиков известным купцом-золотодобытчиком Фёдором Харламповичем Пушкиковым. А то ведь бывает как? Согрешит девица, да и кинет плод несчастной любви в речку, либо хуже того — куда-нибудь в мусорную кучу или в выгребную яму. Вот Фёдор Харлампович и удумал такое заведение. Неподалёку от Белого озера на берегу речки Белой, которая неторопливо несла свои струи в глубокий овраг, в берёзовой роще был выстроен дом, искусно и щедро украшенный резьбой. Он не был окружён забором, а

поднявшись по парадному крыльцу, можно было прочитать табличку, что дом этот всегда может приютить младенчиков для заботы и воспитания, и что заведение это носит имя Её Императорского Величества, одоббившего открытие сего дома. Другая табличка просила мамаш, оставив младенца на парадном крыльце, позвонить в колокольчик у двери.

Так многие и делали. Иногда матери, которые были не в силах сами взрастить своего младенца, оставляли записку с указанием: «крещён» или — «не крещён». Но в ту ночь случилось небывалое. Младенчика оставили на заднем крыльце. На снегу. И не постучали, и не позвонили. И если бы Агафье не вздумалось пойти вынести никак не желавшую сгорать до конца головешку, младенец наверняка превратился бы в комочек льда.

Так четырнадцать лет назад в приютском доме на тихой окраине Томска появился новый житель этого города. Нарекли его Николаем Ивановичем Зимним. Николай — имя доброе, а Иванов на Руси не меряно, не считано. Вот и дали Коле такое отчество.

Берёзы, ивняки и боярка, и чистейшая, рыбная речка Белая, по берегам которой летом можно смородину и малину вёдрами брать. А зимой — катание с горок на лыжах, на салазках. И всё же приют есть приют. И побить могут, и лишним сладким куском не побалуют. А горче всего — прозвание сироты.

Мальчик рос — на загляденье. Учился вместе с другими по системе Ушинского. Осваивал письмо и счёт, и рисование «по клеточкам», в воскресные и табельные дни вместе с другими ребятами пел в церкви Богоявления. Известно ведь, что именно мальчишечьи голоса обладают особым «ангельским» тембром. Регенты ценят одарённых мальчишек.

Однажды второвский приказчик отдела обуви Семён Петрович Благов явился к приютскому наставнику учителю Фёдору Ивановичу Голохвастову:

— Желаю взять опеку над Зимним! Как он? Лицом-то смазлив, а сметлив ли?

— Вполне. Хотя и тихоня. В тихом омуте всегда черти сидят...

— Ничего! Воспитаем! Будет мальчиком-грумом. Покупки-то всё больше барыньки-модницы делают, им должны прислуживать эдакие херувимчики. Это тоже, если хотите, коммерческий расчёт. Стульчик подать, покупки до коляски поднести. Пакеты в хрустящей бумаге, по которой сплошь печатано: «Второвъ! Второвъ! Второвъ!». Шёлковой ленточкой всё перевязано. Даме приятно, что такое миленькое существо с её покупками трепыхается. Она в следующий раз только в наш магазин пойдёт! Запомнит это: «Второвъ! Второвъ! Второвъ!». У нас мальчишки имеют домашнюю и служебную форму, бесплатное питание и общежитие с электричеством и душем. И специальность получают. Счастливая судьба для сироты!

— Что ж, оформляй бумаги в суде и забирай. Да мне бутылочку не забудь поставить, всё-таки я начал учить сие существо жизни с самых аздов!

— Ладно! Спору нет! Должен!

Вскоре в суде была оформлена опекунская бумага. И Коле объявили, что очень скоро он переселится из приютских стен в общежитие мальчиков универсального магазина Второва. Он сначала подумал, что над ним подшучивают. Ещё недавно, проходя мимо второвского пассажа, Коля заглядывался на это

громадное здание, поражавшее воображение. Он не смел и мечтать, что когда-нибудь сможет войти внутрь этого здания. Это был совсем иной, сказочный мир.

2. Владелец чуда

Коля Зимний не знал, что отец его тёзки, Александр Второв, свою карьеру тоже начинал мальчиком на побегушках. Вышел в приказчики. А потом завёл своё дело. Приехал он в Томск из Иркутска, уже опытным купцом. Неподдалёку от табачной фабрики «Самсон» на тихой Большой Подгорной улице построил он себе особняк, с балконами на громадных причудливо выгнутых кронштейнах. К этому дому под номером сорок один то и дело подъезжали пролётки. Второв вёл оптовую торговлю мануфактурой. Его агенты ездили в Москву и Иваново, Кремгольдские мануфактуры, Лодзь. Да и сам он часто бывал в деловых вояжах. В этих поездках он европеизировался, сбрил усы и бороду, стал совершенно не похож на купца. Когда его спрашивали, чем он занимается, Второв обычно говорил кратко:

— Гоню мануфактуру из Европы в Сибирь!

Он вёл дело так счастливо и ловко, что стал крупнейшим коммерсантом не только в Томске, но и во всей России. И захотелось ему, чтобы не было в Томске ни одного более грандиозного здания, чем его, второвское. Второв выкупил два огромных особняка — только для того, чтобы снести их и на освободившемся месте построить свой пассаж. Рядом — центральный базар, великая река Томь.

В 1902 году стали рыть огромный котлован, но он заполнялся водой и оплывающей глиной. Тысячи людей поднимали со дна котлована жидкую глину в рогожных мешках. Гигантские плоты из лиственницы один за другим погружали на дно. И лишь потом приступили к кладке каменного фундамента. И вот тут-то к делу всерьёз приступил его хорошо подросший сын Николай Александрович.

С 1904 по 1905 год Россия воевала с Японией. На фронтах старались и томи-чи. Но это не мешало Второву строить чудо-здание, и к концу войны с Японией здание было отстроено. Не выходя из этого углового здания, можно пройти квартал Почтамтской улицы и значительную часть Благовещенского переулка.

В 1906 году открылись в этом здании универсальный магазин и гранд-отель «Европа». Газеты извещали, что в «Европе» действуют электрические подъёмные машины, в номерах есть электричество, ванны и душ. Рестораны работают круглосуточно, и всю ночь играют там женский и мужской румынские оркестры. И есть электрический театр, показывающий живые картины.

К зданию с двух сторон примкнули строения различных вспомогательных служб, в том числе — электростанция, дома для служащих гостиницы и приказчиков, пекарни, прачечные, мастерские, общежития для приказчиков и мальчиков-грумов.

На банкете по случаю окончания строительства Николай Александрович под аккомпанемент фортепиано пел вальс «На сопках Манчжурии» и «Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг"». Гости плакали в голос. Построившие здание архитекторы Фортунат Фердинандович Гут и Андрей Дмитриевич Крячков тихо беседовали на диване:

— А ведь правда, обидно? Япошки, маленькие, а всыпали россиянам по первое число! — сказал Андрей Дмитриевич.

— Да! Помню карикатуру в журнале «Нива». Узкоглазая жёлтая лягушка в очках указывает на огромного слона, у которого на боку написано «Россия», и спрашивает другую лягуху — мол, смогу ли раздуться и стать ростом с него? Другая отвечает: лопнешь! Так вот смеялись над узкоглазыми маленькими японцами. А получилось по пословице — большая фигура, да дура!

Второв подошёл с бокалом шампанского в руке к просторному окну, чтобы полюбоваться открывавшейся из него панорамой. И как раз напротив окна, возле Ушайки, были заросли вербы, ивняка, черёмухи, где копошились пьяницы, побирушки, воры. Один выпивоха не мог добрести до кустов, и лежал он на откосе заблёванный, грязный и сладко спал.

— Гляньте, господа! Сему индивидууму несомненно сейчас снится рай! Купцы подошли к окну, слышались возгласы, дескать, действительно, сладко спит детина.

— А мы вот сейчас над ним пошутим!

И Второв приказал перенести его в один из гостиничных люксов, обмыть, переодеть во всё дорогое и чистое и уложить на надушенные простыни. Окна в люксе задрапировали, принесли туда горшки с цветами: фикусами, всякими там бегониями, установили во всех углах арфы.

По приказу Второва, как только парень очнётся, арфистки должны были играть самые приятные и нежные мелодии. Хористки и танцовщицы местного театра были одеты в лёгкие муслиновые накидки, распустили по плечам волосы, сквозь муслин проглядывала прекрасная нагота. Едва этот забулдыга проснулся и поразился тихой нежной музыке, дивным видениям, самая обнажённая и самая красивая танцовщица поднесла ему рог с дорогим заморским вином. Выпил он всё, что было в роге, девицы принялись его обнимать и ласкать. Пытается узнать, куда он попал. Не отвечают. Только целуют да подливают вина. Наконец самая красивая и обнажённая мелодичным голоском сказала ему:

— Ты в раю.

Снова поднесли ему вина, а в бокале на этот раз была изрядная доза снотворного. Выпил юноша содержимое бокала и опять уснул. Тогда его положили на откосе в той же самой позе, в какой он и раньше лежал.

Второв с гостями смотрел в окошко, как слуги обливали парня помоями и мазали нечистотами. Парень после не мог понять, то ли ему сон приснился, то ли в самом деле в раю побывал? А в томских салонах ещё долго вспоминали второвскую шутку.

3. Мальчики-грумы

Во дворе второвского пассажа разместилось несколько кирпичных двухэтажных и трёхэтажных зданий. Высокая труба от электростанции, как одинокий перст, указывала в небо. Из пассажа под Протопоповским переулком каменный тоннель вёл к Ушайке. О тоннеле, кроме самого Второва и его управляющего, никто не знал. Идя во двор, вы невольно обращали внимание на термометр Реомюра высотой со взрослого человека. Термометр этот был защищён изящной ковальной решёткой, которая как бы поддерживалась двумя серебристыми ангелочками.

Пансион школы приказчиков в этом дворе смотрел окнами на гостиницу. Во флигеле неподалёку от квартир приказчиков и общежития грумов была небольшая шоколадная фабрика. И все жители этого двора были пропитаны шоколадным запахом.

В грумы набирали мальчиков по конкурсу со всей губернии. Часто это были сироты. Мальчики должны были быть смышлёными, расторопными и обязательно хорошенькими.

Когда Коля Зимний стал грумом, ему было семь лет. Он волновался: что ждёт его на новом месте? Но ничего хорошего, кроме запаха шоколада, в этом общежитском доме он не нашёл. Мальчишки здесь отличались от приютских хитростью и бессердечием. Они не жалели друг друга, и видно было, что переняли многое из взрослой жизни. Особенно Коле не понравился Аркашка Па-пафилов, мальчик с бараньими выпученными жёлтыми глазами и нагло вздёрнутым носом. Он сразу же заявил:

— Ты будешь заправлять мою кровать и чистить мои ботинки.

— Не буду!

Ночью оболью чернилами.

— Попробуй.

Пришлось не спать. Аркашка под утро подкрался-таки с пузырьком. Но Коля вскочил, стал вырывать у Аркашки чернила. Оба перемазались. За это им влетело от дежурного дядьки.

Вечерами Аркашка Папафилов нередко отпирал замок на своём сундучке и доставал оттуда подзорную трубу. За копейку он разрешал посмотреть через свою подзорную трубу на шансонеток, которых было видно в распахнутых окнах соседнего здания. Девушки готовились к выступлению в ресторане гранд-отеля. Ввиду жары румынки гуляли по своим комнатам обнажёнными, щёлкали грецкие орехи, пили чай. Разучивали канкан, который должны были исполнить под музыку, сочинённую французским евреем Жаком Оффенбахом.

Загадочная румынка Бела Гелори, совершенно голая, примеряла красные сапожки с кисточками. Она была дирижёром женского румынского оркестра, искусная скрипачка, и говорили, что, возможно, как и танцовщицы, в конце вечера нередко уходит к какому-нибудь денежному постояльцу на ночь.

Мальчики возбуждённо вскрикивали, когда Бела подходила к распахнутому окну и нарочно вставала на стул и ставила ногу в красном сапожке на подоконник. Тогда Аркашка вырывал у очередного «зрителя» трубу, смотрел сам, а если кто кланчил «чуть-чуть посмотреть», отвечал:

— Теперь это стоит — пятак!

Коля возненавидел Аркашку с его трубой. Ему нравилась Бела Гелори.

Вставали грумы обычно в шесть утра. Одни служили в универсальном магазине, другие при отеле. В магазине всё сверкало лаком, хрусталём и витринами. Каждый мальчик-грум был одет в костюмчик с блестящими позолоченными пуговицами и маленькую круглую шапочку, похожую на чайную баранку. В обязанности грума входило открывание и закрывание дверей магазина перед посетителями, дабы потенциальный покупатель даже не дал себе труда взяться за дверную ручку.

При гостинице грумы разносили по номерам кофе и газеты, сигары, чистили постояльцам обувь, грума можно было послать на базар за покупкой, с запиской к даме. Грумы дежурили при подъёмной машине, нажимая кнопки, останавливая машину на нужном этаже.

Если барыня желала примерить туфли или боты, к её ногам пододвигали бархатную подставку, приказчик приносил коробки с обувью, а мальчик-грум, став на колени, осторожно снимал с ног покупательницы обувь и надевал новую, магазинскую. Барыни были и капризные, и не очень. Иная перебирала до сотни разных туфелек, ботинок, ботиков. И Коля Зимний, примеряя очередные туфли, осторожно касался ноги покупательницы в шёлковом гладком и нежном чулке.

Однажды Коля обратил внимание, что Аркашка Папафилов, становясь на колени перед барыней, кладёт на пол маленькое круглое зеркальце. И решил и сам проделать то же.

То, что он увидел в зеркальце, его поразило. Он тут же схватил зеркальце и спрятал его в карман. А барыня, стоявшая одной ногой на бархатной подставке, сказала:

— Мальчик, что же ты задумался? Снимай туфли, упаковывай, они мне вроде впору пришлись...

Он быстро и ловко обернул коробку с покупкой хрустящей бумагой с напечатанной на ней серебром наискосок фамилией: «Второвъ-Второвъ-Второвъ...». Затем перевязал шёлковой лентой, красивым бантом.

Нередко барыни бывали не только красивыми, но и добрыми, и тогда Коле перепал гривенник, а то и целый рубль. Но деньги эти мальчик не имел права взять себе: после работы нужно было отдать приказчику чаевые до последней копейки. Коля так всегда и поступал. Этому удивлялись и мальчики, и приказчики. Можно же часть денег припрятать!

Все грумы уже давно тайком покуривали. Аркашка Папафилов однажды дал Коле сигару, сказав:

— Мне один барин целую коробку подарил. Одному мне не искурить все, уж очень табак крепкий...

Коля спрятался в сортире, достал спички и стал втягивать в себя дым настоящей гаванской сигары. Коля представил себя важным барином, вот он садится в коляску с красивой, как Бела Гелори, девушкой... вот... В это время вспыхнуло пламя, затрещали волосы. Коля с воплями выскочил из дощатого нужника, а возле него уже стояли мальчики-грумы, и впереди всех Аркашка Папафилов, державшийся за живот и готовый умереть от смеха. Это он искусно нафаршировал сигару порохом. У Коли обгорели брови. Долго не заживали ожоги на лице.

Он стал осторожнее. Взрослее. Оттого, что ежедневно был близок к роскоши, было на сердце ещё тяжелее. Роскошь эта — чужая. Она принадлежит другим людям. Не всегда — по праву трудолюбия и таланта, чаще — по воле случая. Иной мальчик просто рождался в богатой семье, и ему ничего не нужно было делать, только расти и учиться. А Коля? Кто подбросил его в Мариинский приют? Почему? Как мать могла это сделать? Или она умерла при родах? Но — всё равно, всё равно...

Эти думы истерзали его. Вскоре он записался в Валгусовскую библиотеку, где в читальном зале книги выдавали бесплатно, он и читал все книги подряд, без разбора, не слушая советов опытных библиотекарей.

Когда Коле пошёл тринадцатый год, Николай Александрович Второв решил экзаменовать его.

Коле завязали глаза широкой и плотной тёмной лентой, и Николай Александрович дал ему пощупать кусок материи. Грум должен был на ощупь определить, что это за материя, какой фабрикой выпущена.

— Английское сукно от Вилкинсона! — чётко отрапортовал он. Угадал и другие образцы. Николай Александрович сказал:

— На днях из мальчиков будешь переведён в младшие приказчики!

У Коли выступили слёзы. Он отвернулся, чтобы никто не заметил его слёз. Теперь он ждал новой должности, как некоего чуда. Ведь кто он? Безродный! Не зря он прожил годы в запахе шоколада и в отдалённых звуках румынских скрипок. Он недавно побрил свои небольшие усы. И ему вспоминалось стихотворение Пушкина о паже, хотя Коля был до сей поры всего-навсего грумом.

4. Черёмуха шептала

Весна 1914 года в Томске прошла в основном спокойно. По утрам по домам сами печатники разносили газету «Сибирская жизнь». Приработок такой. Всё равно домой идти, почему не занести свежие номера в дома, которые лежат на пути.

Печатники, наборщики на работе дышали свинцовой пылью. Поэтому у них часто болели лёгкие. Учёные люди из университета побывали в типографии, осмотрели цеха, и рабочих через слушательные трубки прослушали. И сказали владельцу типографии, знаменитому просветителю, купцу, торгующему книгами себе в убыток, Петру Ивановичу Макушину, что рабочим надо давать молоко. Пётр Иванович учёным ответил:

— Я сам тут нередко свинцом дышу! Что же делать? У меня есть корова. Никто не мешает каждому рабочему держать в хозяйстве корову. Если кто не держит, только от лени! У нас в городе даже самые бедные люди держат коров, а я своим наборщикам, печатникам плачу большую зарплату.

Некоторые типографские люди держали коров, некоторые обходились самогонными аппаратами. В редкие выходные и праздники дёрнешь пару стаканов самогона, гармонь в руки и — на лавочку. Благодать! Дышишь воздухом. Вообще-то типографские в большинстве люди грамотные, они читали нерусского экономиста Маркса, газетёнку одну запретную под названием «Искра», на папиросной бумаге печатаемую, тоже читали. Знали, что хозяев нужно ненавидеть. Своего хозяина они вообще-то уважали. Норовистый мужик, но справедливый. А всё-таки свинец есть свинец, он оседал не только в лёгких, но и в сердце.

Все большие дома: типография Макушина, литография, магистрат, католическая капелла с её витражами — прислушивались слуховыми окнами, глядели оконными проёмами, переговаривались между собой скрипом половиц и лестниц, лязгом запоров, печных задвижек и конфорок — может, они стремились понять надвигавшееся время?

С великой реки Томи с щемящим запахом таянья летел вешний ветер. Город тянулся вдоль реки, вода в которой была необычайно холодной и прозрачной, так что каждый камушек на дне на самой глубине было видно. Реку эту питали ледники Алтая. И когда она застывала, лёд её был особо чист и звонок. И льдины во время ледохода напоминали глыбы хрусталя, и пахли отчаянной свежестью.

Заливались возле реки на разные голоса балалайки, гитары, гармоники, баяны. Гремели медными голосами на берегу пожарные и военные оркестры, с высокого обрыва Лагерного сада по льдинам палили тяжёлые гаубицы.

Некоторые льдины подплывали близко к берегу. Тогда на льдине разводили костёр и отталкивали багром: «плыви дальше!». Иные смельчаки вспрыгивали на плывущие льдины, удивляя народ. Потом их приходилось вызволять из воды при помощи плах и верёвок. Почти все жители Томска вышли на берег Томи. Ниже по течению около мельницы Кухтерина пекари водрузили на льдину огромный каравай. И он уплыл в неизвестность. Крики, шум, песни!

Но вот неожиданно взрыв потряс центр города. Господи! Что такое? Опять война? Да какая война в Томске? В таёжной сердцевине России! Опять бунтовщики? Бомбисты? После 1905 года, после всяких бунтов, стрельбы и резни, хотелось покоя, тиши и глади. Выяснилось: прислуга аптекарей Ковнацких спустилась по ступеням в подвал с открытым огнём, со свечой, вот и бабахнуло!

Приехала полиция: «Порох хранили?». Ковнацкие клялись и божились, что — нет. Какой порох? Откуда? Зачем? Что же тогда? Учёные облазили подвал, исследовали. Оказалось, дом Ковнацких поставлен на древнем кладбище. В подвалах скопился трупный газ. Результат гниения. Прошлое взорвалось! Оно взрывается, хотим мы этого или нет. А мы редко заглядываем в прошлое, не думаем о нём.

Люди со страхом раскрывали газеты, в них писалось о странных и нехороших делах, происходивших в Европе, на Балканах. Кажется — а нам-то что за дело? Это так далеко, что дальше уже не бывает.

А в квартире генерала Пепеляева по вечерам долго горел свет, он вчитывался в секретные сообщения, вглядывался в карту, измерял циркулем расстояния между польскими и прусскими городами. Да об этом мало кто знал. Домашние к занятиям генерала привыкли.

Черёмуха и сирень зацвели по обыкновению буйно, дощатые тротуары поскрипывали под ногами молодёжи, щёлкавшей кедровые орехи. А орехи эти, известно, — эликсир любви. И то под одной, то под другой черёмухой слышался звук поцелуя. Не можешь уснуть — закрой окна! Не завидуй чужой весне! На одной лавочке целовались со своими девушками — Ваня, сын знаменитого купца Ивана Васильевича Смирнова, и младший приказчик Коля Зимний.

Ванюша учился на восьмом курсе первого сибирского коммерческого училища. В библиотеке Макушина познакомился он с Колей Зимним. Поговорили, выяснилось, что им нравятся одни и те же книжки. Потом они вместе встретили двух юных белошвеек, и весна подсказала им подходящие слова. Белошвеечки Таня и Надя согласились посидеть на лавочке в укромном месте возле лестницы, ведущей на Воскресенскую гору. Поздно вечером к той лестнице никто не ходил.

И сидели они на скамье, насыпав девушкам в кармашки платьев ядрёных кедровых орехов. И сами щёлкали орехи. И рот был полон терпкой кедровой сладостью, и губы горели от поцелуев.

В полночь гудок прозвучал на фабрике Бронислава. Девчушки засобирались домой.

— Ещё минуточку! — молили Ваня и Коля.

— Нельзя, нам дома попадёт!

— Ты правда любишь Надю? — спросил Ваню Смирнова Коля Зимний. Купеческий сынок помедлил, потом печально сказал:

— Эх, Коля! Я не волен ни в чём. Мне отцово дело продолжать. И жениться я буду должен по совету отца, как это будет важно для дела. А ты свободен, я тебе завидую.

— Хотел бы я быть на твоём месте! — запальчиво воскликнул Коля. — Ты богат, имеешь отца. А я даже не знаю, кто я, и — каких кровей.

— Не грусти — ты уже младший приказчик, может, ещё учиться пойдёшь. И станешь большим человеком.

— На какие шиши учиться-то? Я бы хотел стать доктором или офицером.

— Ну... может, я когда-нибудь приму отцово дело, тогда я тебе помогу в люди выбиться.

— Когда это будет? Я уж и не дождусь.

— А ты, Коля, любишь кого?

— Сам не пойму, одна скрипачка из румынского оркестра уж больно мне нравится.

— Ну, брат, удивил. Музыкантши эти все продажные. Что же за любовь! Заплати, и она — твоя.

— Да нет, это я так. Пошутил... Просто она красивая, как на картине Венера какая-нибудь... Она всё же не девица в доме терпимости, но артистка. Наше общежитие рядом с жильём хористок. Я вижу. Они много репетируют, работают, а если и пристают к ним богачи в ресторане, так что ж? Всякое бывает. На артистке и жениться не зазорно. Да только никогда у меня не будет таких денег, чтобы её содержать...

А город продолжал жить, шуметь, торговать, воровать, умирать и рождаться. Всё шло своим чередом.

5. Бедный Фердинанд

В газетные полосы всё чаще стали вторгаться непонятные вести с Балкан. И однажды грянуло: «Застрелен в Сараево эрцгерцог Франц Фердинанд. Австрия объявила войну Сербии...». Через какое-то время стало известно, что из тяжёлых пушек обстреляли Белград.

Если какие тётушки до этого вздыхали: «Бедный Фердинанд! Такая душка, судя по портретам!..» — то тут уже пошли иные разговоры. Братьев-славян обижают!

Не успело и лето минуть, а в типографии Макушина сосредоточенные наборщики и печатники всю ночь готовили новый экстренный выпуск газеты. И уже рано утром второго августа 1914 года по центральному томскому базару носились мальчишки-газетчики с истошными воплями:

— Экстренно! Касаемо всех! Германия объявила войну России! Усатый кайзер играет с огнём!

С годами дослужился он до больших чинов. Статский советник. Если правда, что после человека остаётся душа, то душа бывшего помощника тюремного инспектора теперь конечно бы порадовалась. Сын Николай — генерал, внук Анатолий тоже военный, другой внук, Виктор, пошёл по учительской стезе, Михаил — художник, но мечтает о военном поприще. Передались по наследству и любовь к военному делу, и к искусству. Недаром все Пепеляевы рыжеваты, видно, это сам бог войны Марс окрасил их своей огненной краской.

В кафедральном соборе был молебен во славу русского оружия. И полки, стоявшие возле собора, сняли фуражки и крестились. Затем под рёв оркестров двинулись пешим маршем к вокзалу Томск-Первый. За полками бежали женщины и голосили, бежали ребяташки и кричали. Генерал Пепеляев с семейством ехал на вокзал в колясках. Потом на вокзале долго грузили в специальные вагоны лошадей и артиллерийские орудия. Усаживались в красные телячьи вагоны нижние чины.

Генерал-майор Николай Михайлович Пепеляев расцеловал супругу, дочерей, крепко пожал руки оставшимся в Томске младшим сыновьям и, взяв под козырёк, на мгновение замер, глядя на Томск. Как много здесь оставалось! Суматошные праздники, с ёлочными огнями, с маскарадами в Общественном Собрании, под стоголосые вздохи оркестра. Кошёвка, уносящая в метель, когда под медвежьей полостью находишь нежную руку. Поцелуи весной в кипении сиреней и черёмух, стихи, расставания и встречи. Умер отец, родились и подросли дети. Так много облетело с листьями, белыми метелями, с тройками, с рождественскими открытками, запахом духов «Шанель», со звоном бубенцов и праздничных колоколов...

Наконец беготня на перроне прекратилась. Важный и толстый начальник вокзала подошёл к большому медному колоколу и с большими паузами трижды ударил железным языком по медной щеке колокола. Тоскливый звук погасил сразу все остальные, посторонние звуки. Начальник вокзала сделал своё дело и приложил руку к фуражке. Тотчас засвистели на вагонных площадках поездные кондукторы, свидетельствуя, что путь к сражениям и победам открыт, а может быть, это и путь к смерти.

И колоколу, свисткам, и всем, всем уезжающим и провожающим пронзительным трубным голосом прокричал паровоз, и задорно ухнул клубами пара, и дёрнулись с места колёса. Они закрутились, сперва как бы нехотя, потом всё быстрее и быстрее. И снова на перроне, как бы опомнившись, взревели медные трубы, и взлетели к небу волны плача и стенаний.

6. Красные сапоги с кисточками

Однажды во второвский универсальный магазин пришла покупать сапоги Бела Гелори, улыбнулась Коле Зимнему заговорщицки:

— Я вас знаю, я часто вас вижу. Ещё недавно вы были нежным, как амурчик с пасхальной открытки, а теперь у вас уже усы пробиваются.

Николай невольно покраснел, у него даже голос перехватило от волнения, спросил:

— Чего изволите?

— Какой серьёзус-формалиозус! Изволю примерить сапоги, но только не нужно грумов! Примерьте мне их лично. Ведь мы же — как это по-русски? — живём по соседству!

— По соседству.

— Вот я и говорю. Снимите с меня сапожки! — поставила она ногу на бархатный пьедестальчик. Николай стал на колени, как перед божеством. Обтянутая французским шёлковым чулком нога явила ему идеальную форму.

— Мне нужны красные сапожки, должно быть легко и прочно. Есть у вас красные сапожки с кисточками?

— Красные, но без кисточек.

— Не важно! Кисточки можно пришить от старых сапог. У них износились только подошвы. Когда каждую ночь танцуешь до утра — за месяц подошва сгорает, как на пожаре! Сгорает, как ваши милые щёчки.

Коле было очень стыдно, что он краснеет, но чем больше он стыдился, тем больше краснел.

Ничего! Если молодой человек стесняется, это — хороший. Наконец Бела выбрала сапоги. «Вот и всё! Кончился чудный сон! — грустно думал Коля. — Сейчас она уйдёт, я не посмею ей ничего сказать, я мямля, рохля, я никчёмное существо, да и что я могу ей сказать? Засмеётся, или ещё хуже — выругает!».

Но она сунула ему в карман бумажку, перехватила его руку, и сказала заговорщицки:

— Хорош сапог! Я довольна! Уйду, потом читай, и решай!

Она ушла. Он зашёл в закуток в подсобном помещении и прочёл: «Венецианская ночь», понедельник, 9 вечера, номер тринадцать! Буду тебя научать!».

И он прошёл вечерующими проулками по Акимовской на Бочановку, где были эти самые номера. Здесь речка Ушайка делала большой извив, образуя нечто вроде озера, заросшего лилиями и осокой. Деревянный дом, в котором размещалась «Венецианская ночь», одной своей стороной нависал над водой, опираясь на витые столбы. Вечером меж этих столбов скользили лодки с девицами и кавалерами. В мансардах были устроены висячие сады. Летом в открытые окна наносило запах цветов и речной свежести.

Всё тут было загадкой, как и встретившая его на пороге номера Бела, в лёгкой кружевной накидке, через которую просвечивала нагота.

После он не раз спрашивал её, зачем она заказывает именно несчастливый тринадцатый номер?

— Вся жизнь есть — несчастье! — однажды ответила Бела. — Два искорка летят во тьме и скоро гаснут...

С тех пор он ждал понедельников, он молился, чтобы время от понедельника до понедельника шло быстрее. Он не опасался, что об этих свиданиях узнают. Обслуга номеров приучена была хозяевами гостиницы держать такие визиты в тайне.

Для него всё происходящее было чудом, колдовством.

Он вспомнил, как однажды Ваня Смирнов взял два билета в ресторан гостиницы «Европа», как они уселись за угловой столик, пили удивительно вкусное вино, и ровно в двенадцать на эстраде вспыхнул свет, появились красавицы в румынской одежде, зазвучала мелодия.

Впереди всех была Бела Гелори. Она играла на скрипке, дирижировала ею, пела, притопывая красным сапожком. Мелодия дойны была просторной, как молдавская степь, а внутри неё капризным чёртиком бился ритм. Если закрыть глаза, можно было представить, как сияет над холмами и виноградниками южное солнце, как дёргается на ухабах молдавская повозка с кучей чумазных ребятишек.

— Правда ли говорят, что ваш румынский оркестр наполовину состоит из цыганок? — спросил Коля.

— Среди моих девушек есть молдаванки, украинки, русские, еврейки, а цыганка — лишь я одна, да и то на треть. Мой папа был чистым румыном, а мама — наполовину цыганкой. Они возили контрабанду, их лодку потопили пограничники на Дунае. Они погибли.

Я воспитывалась у тётки у Кишенеу. Мы не любили друг друга. Однажды я прочла в петербургской газете, что господин Анри Алифер набирает хористов для новой гостиницы, построенной в Томске, собрала смелых девушек, и мы двинулись в путь. У тётки я ходила в обносках. Здесь я в своём хоре — главная. Мне нравится, как загораются глаза у слушателей. Иногда они рыдают от моей музыка, так их понимает. Может, это плачет вино, но мне всё равно приятно.

— Я тоже сирота! — сказал вдруг Коля, — но я даже не знаю, кто мои родители. Меня грудного оставили на крыльце приюта зимой, и я чуть не замёрз.

— Ты — не сирота! — ответила Бела Гелори. — Я твоя мама! — Возьми в рот мою грудь...

Очнувшись после ласк, Коля задумался. Как же будет дальше? Что? В краях Белы Гелори бушует война. Коля — младший приказчик и получает гроши, а она привыкла к роскоши. Но он на ней женится. Он будет много работать, учиться.

Он ходит в Дом физического развития. Там сейчас созданы курсы для юношей, мечтающих о военной службе. Борец Бейнарович учит парней вольной борьбе и поднятию тяжестей. Прапорщик Никитенко, вернувшийся с фронта без ноги, учит их ползать по-пластунски и стрелять из винтовки. Скоро Коля достигнет призывного возраста и попросится на фронт. Вернётся с фронта он обязательно офицером. И женится на Беле. А что? Она всего на двенадцать лет его старше. И выглядит очень молодо.

7. Конопля на Орловском

Там, где Орловский переулок от улицы Алтайской поднимается в гору почти отвесно, всё вокруг заросло ивняками, ягодниками, кустарниками, лопухом и крапивой. В одной из оград, прилегающей к Монастырскому лугу, китаец в синем, расшитом пунцовыми тюльпанами халате, в остроносых золотых туфлях и соломенной шляпе полулежит в гамаке, укрепленном меж двух тополей, посматривает на дюжих, голых и потных мужиков, которые, как оголтелые, бегают

по плантациям конопли. Иногда китаец вынимает изо рта трубку с длинным янтарным чубуком и покрикивает:

— Ваня маленько шибче ходи-ходи! Маленько, маленько шибче!

Мужики уже изнемогают, но продираются сквозь заросли высокой конопли из последних сил. А когда мужики уже совсем обессиливают и валяются на землю, китаец в гамаке делает знак другим китайцам, одетым попроще. Те подходят к мужикам со скребками и берестяными туесами, начинают соскребать с голых спин и животов пропитанную потом коричневую массу, уместя её в туеса.

— Щекотно! Мать вашу за ноги! — кричит длиннопатлый верзила.

— Это тебе, Федька, не в раю с райскими красавицами шампань пить! — кричат ему товарищи. — Небось, больше тебе такого праздника сроду не будет!

Мужики вспомнили Федькины рассказы, как однажды он уснул возле базарного моста пьяный, и Бог перенёс его в рай, и какое там было райское блаженство.

Главный китаец, которого зовут Ли Хань, тайный выборный китайский старшина, говорит грузчику Федьке Салову:

— Маленько курить дам-дам, и маленько будешь в раю! У меня рай тута-тута! — ударяет Ли Хань по карману.

Не всякий прохожий, заглянув в усадьбу, смог бы понять, что тут происходит. А дело было простое. Чтобы снять с конопли опиумную пыльцу, не было лучше способа, чем гонять по конопле какую-нибудь скотину, пока она не вспотеет. Тогда пыльца станет прилипать к потной коже. Потом зеленовато-бурый мёд соскребут со шкуры — и всё! Можно гонять по конопле лошадей. Но это дорого, да лошади чересчур плантации вытаптывают. Ли Хань придумал гонять по конопле базарных грузчиков. Они целыми днями таскают на горбу тяжеленные мешки и бочки из паузков, так чего бы им после тяжёлой работы немножко не развеяться? Побегают час-другой — и получают по стакану разведённой ханжи, китайской самогонки то есть. А если приучить их опиум курить, так целыми днями будут бегать за одну самокрутку.

В стране сухой закон. Его Величество Николай Второй приказал: по случаю войны — никаких крепких напитков. Гимнастикой заниматься, тогда побьём кузена Вилли. Он пожалеет, что тронул Россию!

На большом базаре хитрые поляки в европейских котелках, модных чёрно-белых штиблетах, пёстрых галстуках продают трости со специальным изгибом, чтобы можно было носить, согнув руку в локте. Трости внутри пустотелые. И туда входит как раз бутылка водки или бутылка коньяка. Внизу у трости — медный наконечник-колпачок. Придёшь домой, открутишь его, и — ваше здоровье! Ясно, что цены на трости высоки. Ясно, что, которая с коньяком, — дороже. Хотя могут и обмануть, могут такую трость подсунуть, в которую просто вода налита.

А у Ли Ханя — без обмана. В сухом законе ничего про коноплю не сказано. К тому же китайцы друг друга не выдают, у них есть своя особая конспирация, которую посторонним не разгадать. У них и администрация своя, законы свои, налоги свои, хотя и живут в чужой стране.

Население Томска очень сильно возросло. Понаехали беженцы из Галиции, Польши, и бог знает ещё откуда. Еды с собой они не привезли, а привезли деньги.

Было среди них множество аристократов, которые привезли ещё и золото, и зашитые в одежду бриллианты. Знатные люди, грамотные, но мест в губернском правлении либо ещё где-то для них не было. Не хватало жилья, даже все нежилые подвалы и чердаки были заняты. На базаре шла уже совсем другая торговля: цены утроились, удесятились, и продолжали расти. И случилось так, что старинный сибирский губернский центр вдруг заговорил с сильным акцентом, а то и вообще не по-русски. В толпе мелькали многоугольные шапочки, обозначающие многогранность польской души.

В эти дни торговля во второвском пассаже не прекращалась, но продавали больше за золото, а также и за драгоценные камни. Только безделицу какую-нибудь вроде рожка для обуви можно было купить за деньги.

Николаю Зимнему и ещё нескольким молодым приказчикам поручено было получить в багажном отделении станции Томск-I несколько тюков мануфактуры. Наняли на соседнем базаре дюжих грузчиков, в том числе и Федьку Салова, который всё ещё всем встречным-поперечным рассказывал о своём кратковременном пребывании в раю. Двинулись на двух тарантасах к вокзалу.

Багажное отделение оказалось закрытым на обед. Николай прошёл в буфет, чтобы выпить квасу, и вдруг увидел там Аркашку Папафилова. Бывший сосед Николая по общежитской кровати давно уже исчез из общежития и из магазина. И не было от него никаких вестей, где живёт, чем занимается. Сейчас Николай искренне удивился тому, как переменялся Аркашка. Он возмужал. Теперь это был солидный господин в дорогом костюме и с большой сигарой в зубах. Аркашка отпустил пышные усы, они были густо нафабрены, а кончики их лихо закручены вверх.

— Как ты? Где? — спросил его изумлённый Зимний. — Вижу, что живёшь не бедно, чем кормишься в наши трудные времена?

Аркадий выпустил струю дыма, который странно припахивал горелой тряпкой, и сказал, похлопав ладонью по стоявшему возле ноги ярко-алому чемодану:

— Вот этим и кормлюсь!

— Как? Делаешь чемоданы? — опять удивился Коля. — Чемоданный мастер?

— Можно сказать, что дело обстоит именно так! — смеялся бараньими глазами Аркашка. — Я тебе даже готов продемонстрировать своё мастерство, если у тебя есть время. Сигару хочешь?

— Я бы и не против, но у тебя странный какой-то табак, жжёным пахнет.

— Гм. Я за этот запах плачу китайцу Ли Ханю золотом. Мои сигары скручены с опиём. Лучше нет забавы, если кто понимает.

— Не понимаю. И не хочу понимать.

— Ну, я и не навяливаю, тем более, что вещь это очень уж дорогая. Пойдём, я покажу тебе свою работу... — Кристина! — позвал он кого-то. Тотчас к столу подошла худенькая девочка лет десяти. Одета она была в скромное платье и поношенные ботинки с высокой шнуровкой.

— Айда! — встал из-за стола Аркашка Папафилов, — как раз поезд прибывает.

Они вышли в вестибюль, где уже толпились встречающие. Поезд остановился у вокзала, тяжело отдуваясь и вздыхая белым паром. Пассажиры с перрона хлынули в вокзал. Аркашка сделал Кристине знак глазами, она подошла к красивому пассажиру в удивительном переливающимся плаще и в сверкающем цилиндре, в зубах его была сигара, в руке он держал новенький коричневый чемодан.

— Прошу пана! — сказала Кристина плачущим голосом. — То есть адрес моей тётки, но я прочесть не могу...

Озадаченный господин поставил свой чемодан на пол, взял записку, но, видимо, она была не очень разборчиво написана, так как господин напряжённо вглядывался в неё.

— Прошу пана к свету! — потянула его за локоть Кристина.

В этот момент Аркашка, проходя мимо их обоих, как бы надел свой алый чемодан на коричневый чемодан приезжего. Раздался щелчок, важный господин обернулся и увидел Аркашку с алым чемоданом в руке.

— А где же... где мой чемодан? Он только что стоял здесь.

— Какого цвета у вас был чемодан? — осведомился Аркашка.

— Господи! Коричневый, новый такой.

— Так что же вы стоите? Только что мазурик с вашим чемоданом скрылся в буфете.

— О боже! — воскликнул господин и побежал в буфет. Аркашка подмигнул Николаю Зимнему:

— Ну, понял?

— Да, то есть — нет!

— Ну, какой же у тебя глаз такой, что ничего не видит? Эх, а ещё второвский приказчик! Мой алый чемодан — без дна, это такой футляр, который я надеваю на чужие чемоданы. Я надеваю его, а пружины плотно захватывают чужой чемодан. Ты же слышал щелчок? Чемоданы делают, как правило, стандартных размеров, мой футляр чуть больше стандарта. Объяснять дальше?

— Нет, ты иди, а то тебя схватят! — сказал Коля Зимний, испуганно отодвигаясь от Аркашки: примут ещё за сообщника!

— Не дрейфь! — рассмеялся Аркашка Папафилов, — сейчас я растворюсь, сгину и всё. Ты видишь — Кристина уже растворилась. Ну, адью! — Он зашёл за титан с кипячёной водой и — словно растаял в воздухе. Коля заглянул за титан, там никого не было.

8. Девятка пик в оправе

В самом центре Томска, напротив кафедрального собора, стоит декорированный разноцветным песчаником громадный и романтический дом. Угловая его башня похожа на шлем древнерусского витязя. А ещё дом украшает множество башенок и балкончиков, неожиданных, затейливой формы. Архитектор Константин Лыгин любил эпатировать. Старался, чтобы дом заставлял мечтать, улетать мыслями от восьмимесячных морозов. Дом строился как доходный, по заказу фирмы «Кухтерин и сыновья». В одной половине разместилось казначейство, в

другой — на первом этаже был магазин купца Гадалова, на втором этаже была его квартира.

Магазин был оборудован с западным шиком и вкусом. А во внутреннем дворике хозяин устроил первый в городе частный водопровод. Вода из колодца паровой машиной закачивалась в двухэтажную башню, из которой подавалась в магазин и квартиру хозяина. Был и пожарный рукав. Горожане сходились со всех концов поглазеть на это чудо, а потом шли в магазин, и покупали что-нибудь. Так что водопровод служил ещё и рекламой.

Иннокентий Иванович Гадалов своим интеллигентным волевым лицом, манерой держаться вполне походил на профессора университета, и одевался соответствующим образом. Уж про него не скажешь — «алтынник». Новая порода купцов завелась в Томске в новом, девятнадцатом веке!

Будучи в Москве, в связи с войной этой самой, Иннокентий Иванович Гадалов умолил художника Виктора Васнецова повторить для Сибири знаменитую картину «Три богатыря». Не копию сделать, а именно повторить! Чтоб сибиряки, видя перед собой настоящих васнецовских богатырей, воодушевлялись на отпор врагу.

Иннокентий Иванович Гадалов доставил картину в Томск. Поместил в своей столовой. И так отрадно было сидеть ему с сигарой после обеда перед этим полотном и мечтать. Вот этот, слева, Добрыня Никитич — это, конечно же, верховный главнокомандующий Николай Николаевич, дядя царя. Длинный, что твоя коломенская верста! Такому только и командовать войсками! Молодец.

Царь-то роста невысокого, так не любит рядом с дядей показываться. Ну, вон он на картине, царь-то — Алёша Попович! Молодой, симпатичный, добрый. А Илья Муромец — это премьер-министр Горемыкин? Или же сибирский ведун Распутин?

Разобьём колбасников, как пить дать, расколошматим!

И, надо же, только так подумал — сквозь форточку крик мальчишек-газетчиков долетел:

— Пала неприступная австрийская крепость Перемышль! Наши в венгерской долине. Взято в плен сто семнадцать тысяч пленных. Главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, награждён бриллиантовой шпагой с надписью «За завоевание Червонной Руси», сам царь ездил в город Львов и в Перемышль.

Иннокентий Иванович глянул на календарь: 9 марта 1915 года. Крикнул приказчику, чтобы купил газету. Прекрасно! Гадалов булавку с бриллиантом в галстук поправляет, и приказывает экипаж подать: поедет в Общественное Собрание поговорить с другими денежными людьми о помощи лазарету. Надо в такое время помогать стране! Скоро с Германией покончат, надо спешить помогать русскому воинству — зачтётся.

Общественное Собрание чуть наискосок от Гадаловского магазина, только через улицу перейти. Но всё-таки он поедет туда в экипаже. Надо и форс соблюдать!

Собрание. Огни, зеркала, фонтаны, китайский фарфор, итальянских, голландских мастеров подлинные картины. Тут тебе роскошь, тут тебе отрада для души. После пунша — в бильярдную. Там бильярды знаменитой фирмы «Гоц»,

Фрайберга, с двойными скобками в лузах, и дают серебряный резонанс. Будто не шары забиваешь, а музыку создаёшь.

Бац! — Это кайзеру Вильгельму в глаз!

Играют два томских титана. Гадалов и Смирнов. Другие, тоже не маленькие люди, наблюдают пока. На дно каждой лузы партнёры положили по тысяче рублей — целое состояние! Выигравший отдаст эти деньги — на лазарет. Но кто выиграет? У Гадалова глаз — алмаз, да и у Смирнова тоже. Оба — этакие европейцы, у Смирнова пальцы перстнями украшены, светят рубиновым огнём.

Выиграл Смирнов. Впрочем, выиграло Российское воинство! А Смирнову и без выигрышей живётся широко. Его пассаж в городе знают все. Там можно купить всё, от иголки до паровоза. Всё, всё, хоть луну с небес, и то продадут.

Присели Смирнов с Гадаловым на банкетку, закурили сигары. Иннокентий Иванович спрашивает:

— Ну, как твои итальяшки?

— Ты знаешь, хоть и холодно им в Сибири, но строители они отменные.

— Проект Фёдоровский делал?

— Ну да, он в одном доме с Пепеляевыми живёт, на Ярлыковской двенадцать, напротив университета. Заказать проект посоветовал Мишка Пепеляев. Мишка — художник, и рисунку учится именно у Фёдоровского.

Ну вот. Фёдоровский спроектировал такой дом, что одна стена сплошь стекло — всё внутри видно. А посмотреть там уже теперь есть на что, внутри-то! Французская мебель с накладками бронзовыми, с изображениями королей, дам-любовниц Людовика-14, Короля-Солнца. Зеркальные стёкла, гобелены французские, вазы.

За старшего у итальяшек — офицер, строитель с дипломом. В Австрии немало дворцов построил. Строгий. Итальяшки в раствор сыплют тальк. Чтобы, значит, стены в солнечный день сияли особенным сиянием, холодновато-серым. Такой особый, императорский, королевский шик.

— А зачем, ты же не Людовик какой-нибудь? Не Бурбон и даже не Габсбург.

— Зачем-зачем! У меня Ванюшка подросток, его женить надобно.

— И невеста есть?

— Присмотрели.

— А кто?

— Да потом на свадьбу приглашу, и сам увидишь. А пока говорить не хочу, чтобы не сглазить...

В разговор вмешался Григорий Самуилович Кистлер:

— Богатые люди, а играете в бильярд! Настоящая игра королей — это карты. Я выиграл целое состояние на девятку пик, оправил её в серебряную рамку и держу на комод. И я вас всех призываю распечатать колоды и сесть за зелёное сукно с мелками. Это будет игра!

— Слушай, Григорий Самуилович! Кто тебя пускает в Собрание! — усмехнулся Гадалов. — Полиция жалуется, что твоя квартира превратилась в явку для бунтовщиков. Все твои дети — Василий, Александр, Леонид, Исай, Вениамин и Софья — замешаны в революционных делах. Может, ты и сам немецкий шпион и ходишь в Собрание с особенной целью?

— Ну вы и скажете, Иннокентий Иванович! Какие нынче дети, и как они слушаются отцов? Вспомните Кешку Кухтерина, на него у Кухтериных была надежда — продолжатель дела! Так нет! Надо было ему ухаживать за Ольгой Ковнацкой, надо было ему по пьянке героя японской войны, дворянина Лопухина душисть? Тот и пристрелил его, как собаку. И дело замяли. И вся беда из-за этих баб, поверьте старому еврею. И вас от этой беды никакие дворцы не спасут. Запутаетесь, как мухи в тенётах.

Смирнов погладил свою холёную бородку.

— А ты не каркай попусту! У нас всё идёт ладом. Ванюшка у меня не пьёт, не курит, коммерческую науку грызёт. Женю — и будет мой продолжатель достойный.

Кистлер побрёл к карточным столам. Но его в игру не приняли:

— Иди! Ты девятку пик в серебряной рамочке держишь. Нам с тобой играть резона нет. Ты, поди, с самим чёртом спутался, он тебе помогает!

Григорий Самуилович перебрался в буфетную. Заказал чаю с ромом, и хотел буфетчика на игру соблазнить:

— Сейчас все в зрительную залу уйдут «Бесприданницу» смотреть, слёзы дешёвые проливать. А мы с тобой и с посудомойщиками преферансишку соорудим! Не хочешь? Ну давай вдвоём в простого «дурака» сыграем. Хоть по пятаку, а? А по копеечке? Всё равно не хочешь? Что ты за человек!

Кистлер пошёл в гардероб одеваться, не утерпел, и там предложил партию — в «дурака» швейцару Ивану Ерофеевичу, на что тот отвечал:

— На службе не могу!

Григорий Самуилович оделся, вышел на улицу и там пристал к кучеру Гадалова:

— Всё равно же так сидишь, скучаешь! Давай просто так, без денег, в картишки перекинемся?

Кучер не удостоил его ответом.

9. Знакомство в поезде

В январе 1915 года через всю Россию из Москвы во Владивосток шёл скорый поезд, который тащился медленно, как черепаха. На станциях подолгу ждали смены паровоза, стояли в каких-то тупиках, то дров не было, то воды. В привилегированном синем вагоне было душно. Неподальёку от входной двери сидели и курили папиросы «Дюбек» два молодых человека. Они познакомились здесь, в вагоне. Война отразилась и на транспорте. Даже сей «дворянский» вагон был забит пассажирами до отказа. Центр его занимали пожилые люди, среди которых попадались полковники и генералы. Ближе к дверям размещались вояжеры помоложе, попроще. Один из молодых людей звался Николаем Златомрежевым. Родом он был из Томска, дворянин. Воевал в 42-м полку генерала Пепеляева. Сын этого генерала, капитан Анатолий Пепеляев, командовал разведкой, в которой и служил Николай. Одна из вылазок кончилась для Златомрежева неудачно. Его зацепило немецкой шрапнелью. Четыре месяца пролежал в московском госпитале на излечении. Теперь возвращался на родину. Николай был высок, худ, светловолос, серые глаза его выражали добродушие.

Его собеседником был граф Константин Загорский, брюнет с угольными глазами, с бровями, словно нарисованными на его удивительно белом лице. Молодой граф поведал новому знакомцу свою, тоже не очень весёлую, историю. Пять лет назад граф из своего поместья возле Лодзи отбыл в Вену и поступил в тамошний университет, но проучился только один год: не успев даже окончить курс, попал в больницу с жесточайшим приступом чахотки. Лечился на альпийских курортах. Но полностью восстановить здоровье не удалось.

Хотел возвратиться в поместье. Но узнал, что оно разграблено и сожжено немцами, родители убиты. Многие польские дворяне из своих разорённых поместий и городов сейчас перебираются в Россию, в том числе едут и в Томск, где всегда жило много выходцев из Польши. Он имеет письмо к Ольге Ковнацкой-Нейланд, своей дальней родственнице, которую он вообще-то никогда не видел.

— Не знаю, правильно ли я поступаю, когда еду с моей болезнью в Сибирь.

— Не беспокойтесь, граф, — отвечал Златомрежев, — в наше время чем дальше вы уедете от войны, тем лучше. В Томске — университет, там живут многие медицинские светила. Да и климат у нас прекрасный, хвойные боры. Я вот очень тоскую по Томску. По его быстрым рекам, по холмам, на которых сияют купола церквей, по зарослям черёмухи, волшебным лекарственным травам. Ах, как славно бывает у нас в загородных лесах и зимой и летом! Они не загажены так, как окрестности Москвы или Петербурга. А кедровые орехи — это же бальзам, залечивающий любые раны. Вы станете щёлкать их каждый день, и навсегда забудете про свою чахотку.

— Хорошо, если так! — сказал граф. — Только вот поезд тащится так медленно. Это что там впереди за станция такая?

— О, это Омск, большой губернский город, он правил одно время всей Сибирью, а потом наш Томск сам стал губернским центром. Но Омск — это всё же больше степная столица, а Томск — лесная.

Оба высунули головы в открытое окно, глядя на полосатые будки, шлагбаумы, паровозные горки, маслянистые пятна возле задымлённых зданий депо. Поезд всё медленнее постукивал на стыках, перебегая с одних рельсов на другие. Рельсы двоились, троились. Уже видны были улицы города, где шла своя, непонятная жизнь. Златомрежеву невольно подумалось о том, как велика Россия. И столько в ней городов, и везде живут люди, тоскуют, мучаются, надеются на лучшее. Он сказал:

— Вы знаете, Георгий Адамович, мне кажется, что меня Господь спас для того, чтобы я нёс утешение людям. На войне я видел такие ужасные картины убийств и разрушений, что понял: долг мой — приводить людей к Богу. В Томске я обязательно буду искать своё место в нашей Православной Церкви.

10. Забрить хотели

Тятка и мамка Федьки Салова остались где-то за Обью в деревеньке в три двора, откуда тринадцатилетний Федька сбежал от тоски в Томск. Живы ли они — неизвестно. Доехал до города наш Федул с попутной подводой. С тех пор прошло десять лет. Летом он спал по сараям и складам, зимой обретался при банях, где колол дрова для разогрева котлов. Когда подрос, то нередко работал с грузчицкими

артелями, но только до первой полочки. Получит денежки — и пока всё не пропьёт, куролесит на базаре.

Кумушки ближних к базару домов на лавках судачили, что хорошо бы Федьку оженить. Росту немалого. Да вот кто за него пойдёт? Дело не в том, что русые волосы всегда торчат колтуном, не в том, что после оспы коряв, а в том, что горло широкое, да ещё болтун. Как выпьет, так и починает рассказывать, что он в раю видел, когда там побывал. Будто бы девки ангельского вида там исцеловали его всего, от ног и до маковки. А если ему не верят, начинает злиться, ударить может. Женить! Единственное и верное средство.

Кумушки высватали ему сорокалетнюю Маклакову, вдову, с усадьбой, с хорошим домом и огородом. Такая усадьба — не хуже рая. Это ничё, что вдова на семь лет старше Федьки. От беспорядочной жизни у него на лбу и у рта морщины произошли, так что он даже старше этой вдовицы, Евдокии Никитичны, смотрится. Вдовица с дочерьми вяжет из овечьей шерсти тёплые носки да на базаре с рук продаёт.

Единственно что интересовало Федьку — а как будет насчёт выпивки? Оказалось — хорошо. Вдова гонит самогон да приторговывает им втихаря, и по праздникам будет давать и Федьке отвести душу. Федька пораскинул мозгами: у нас, у православных, праздник почти каждый день, не пропаду, дескать.

Новая Федькина жизнь совпала с войной, он уж привыкать стал к тому, что спать надо ложиться, как все люди, на кровать, на перины пуховые и подушки, обедать — за столом, сидя на стуле напротив супружницы и двоих её дочерей — Катерины и Малаши. Дочки были на выданье, да война всех женихов сгребла в кузовок да высыпала на поля сражений далеко от Сибири. Только листики-конвертики от них приходят по почте иногда.

Привык Федька и к тому, что вдова Евдокия Никитична, когда её благоверный запивал, связывала ему руки-ноги, да так прочно, что сроду не развязать, окатывала его холодной водой, бросала в сарае на пол и порола лошадиным бичом со всей силы. Немножко обидно было, но зато — одёжа справная, еда — вовремя, работа по хозяйству не такая уж и надрывная. Лошадка в хозяйстве есть, не очень старая, сбруя вся имеется, сани имеются, телеги, ходки. Чего не жить?

Федька о том, как он однажды побывал в раю, редко теперь рассказывал. И вдруг — пожалуйста бриться! Пришёл мужик с забритым лбом, да Федьке бумагу:

— Распишись!

Федька грамоты не знает, но прежде чем поставить в бумаге крест вместо росписи, спросил — в чём там дело? Испугался, конечно. Мужик разъяснил: требуют Федьку явиться в медицинскую комиссию при университете, там томичам лбы забривают.

Федька потребовал у Евдокии Никитичны самогону — так-то, на трезвую голову, страшно идти. Евдокия Никитична накрыла на стол, при такой беде и самой надо выпить. Привыкла она к Федьке, полюбила его. Пригласили за стол и того, кто Федьке бумагу принёс. Евстигнеем его звали. Его уже забрили, да пока отправки на фронт нет, послали по адресам ходить.

— Тоска это! — говорит Евстигней. — Придёшь в иной дом, а бабы вопят, на меня с поленьями кидаются, будто я в чём-то виноват. А мне самому не шибко

охота в пекло соваться. А что делать? Придётся идти. Хорошо, если ногу поранят одну или руку, и домой отпустят, а ну как голову оторвёт!

— Да! — подтверждает Федька. — Без головы быть — хорошего совсем мало.

— Можно сказать, что ни капли хорошего нет, — добавляет Евстигней. — Кто от армии скрывается, тех ловят. И тогда уже в самое пекло посылают, прямо на австрийские штыки. Так и так пропадать!

Сидят выпивают, солёными салом и капустой закусывают. Самогон мутный такой, как жизнь наша. Первач-то в продажу ушёл.

— Ой, да на кого же ты нас, голубчик наш, покидаешь! — заголосила Евдокия Никитична. — Ой, да убьют ты ерманцы, и чё же мы будем делать? Ой-е-ёй!

— Не поеду я! — мрачно сказал Федька прожёвывая огромный ломоть сала. — Не пойду на войну, лучше тут сам повешусь.

— Ой, да что же ты такое говоришь-то, кровиночка моя золотиночка?

— А вот то самое...

Наелся Федька сала с капустой — аж пузо трещит, решил пойти облегчиться, сказал: мол, погодите, пока облегчусь, без меня не доедайте, не допивайте.

Вышел Федька в сени, до нужника идти в конец усадьбы, далеко. А, думает, всё равно погибну скоро, чего я тут буду фасоны гнуть! Тут вот из сеней ход в чулан, там с краюшку и сделаю.

Зашёл в чулан. На полках солёное сало созревает. Окорок копчёный на крюке висит. На верёвках — калина пучками, на гвоздях — вожжи, дуги, шлеи. Эх, жить бы да жить! Присел, размечтался над кучкой своей. Быть бы воробышком, улететь бы от армии этой! Не улетишь. И ведь надо же, гадость какая, только жизнь настоящая началась — а тут война эта!

Надел штаны Федька. И думает: а что если повеситься? Не по правде, а по-нарошку? Евстигней увидит его повешенным, да и скажет кому надо: мол, повесился Федька Салов, чего с него взять? Вот они и вычеркнут его из списка. А он станет тут потихоньку жить. Днём из дома показываться не будет.

Снял Федька пиджак, взял старые вожжи, пропустил их подмышками, связал узел, чтобы он был у него за спиной, повыше узла прикрепил петлю, сделанную им из обрывка вожжи. Надел пиджак. С петлей на шее стал на чурку, ждёт.

— Где он там запропастился? — забеспокоилась за столом Евдокия Никитична, — пойти глянуть, что ли?

Вышла в сенцы, видит: дверь в чулан открыта. Заглянула, а Федька в тот самый момент чурку, на которой стоял, ногами отбросил, и повис на подмышках, да ещё для убедительности язык вывалил изо рта.

— Караул! — воскликнула Евдокия Никитична, и упала в обморок прямо лицом в ту коричневую кучу, которую там оставил её молодой супруг.

Ждут-пождут за столом дочери Евдокии Никитичны да Евстигней.

— Теперь и она пропала, — говорит Евстигней, — пойду искать.

Вышел в сени, видит — из чулана нога Евдокии Никитичны торчит. Заглянул в чулан, увидел повешенного, вонь почуял. И подумал: вон оно как бывает! Сам повесился, хотя со страха обвонялся. Жаль мужика. Баба в обмороке. А вон у них

окорок добрый висит на крюке. Это я возьму, пригодится. Возьму, да пойду. Пусть Евдокиины дочки с остальным разбираются.

Только руку он к окороку протянул, покойник как заорёт:

— Не трожь, сволочь, чужое добро!

Выскочил Евстигней из сеней — и бегом по двору, со страху не в калитку побежал, через забор прыгнул, упал, ногу сломал. Лежит — орёт. Встревожились Малаша с Екатериной, вышли в сени и взвыли:

— Ой, с маменькой плохо! Ой, ейный супружник повесился! От их крика Евдокия Никитична очнулась:

— От горяшко! Да как же сама себе на нос сумела? Со страху, не иначе. Ой, умыться мне надо. А вы, девки, скорей его с петли снимите, а может, оживёт ещё, если водой на него побрызгать?

Малаша по полкам повыше полезла, чтобы до шеи Федькиной добраться. И страшно ей, но лезет. А он сквозь ресницы смотрит: хороша девка-то! Пока живой был, так и думать об этом не мог, а повешенному всё можно. Взял да за попу её тихонько ущипнул!

Малаша с визгом на Катерину упала. Мать вернулась, видит — обе девки лежат без чувств, Федька в петле висит, выскочила и дурным матом на всю улицу заблажила:

— Городового сюда! Убили, зарезали! Евстигней за забором басом блажит:

— Ох, нога! Ох, нога!

Прибежал Пётр Петрович Аршаулов-младший, двадцатипятилетний красавец, околоточный надзиратель, видит — плохие дела. У одного мужика нога сломана, другой и вовсе повешен. Спросил он у Евдокии Никитичны нож, и ругается при этом:

— Разве непонятно, что первым делом надо было вожжи перерезать, он свалился бы, ну пусть бы ушибся, да зато живой был бы. А теперь, поди, уж поздно, не откачают врачи.

Только околоточный занёс нож, чтобы вожжу перерезать, а Федька и говорит:

— Вожжи-то ноне знаешь почём?

Аршаулов-младший и нож из рук выронил, побледнел, а потом как заорёт:

— Слезай, сволочь! Напугал до полусмерти. Такого даже в рассказах моего папеньки не было! А уж он — полицмейстер, и всякое повидал. Я тебя в тюрьму упеку! Там ты у меня по правде повесишься!

11. Бункера и салоны

Граф Загорский, поигрывая тросточкой, шёл мимо томского главного почтамта, спускался по широкой деревянной лестнице, и вслед ему невольно смотрели все встречные дамы и барышни из-под своих разноцветных противосолнцевых зонтиков. Они раньше никогда не видели столь красивого мужчины.

Около двери, вывеска над которой извещала, что здесь размещается ювелирная и часовая мастерская и магазин, и что здесь же можно починить и купить очки и другие оптические приборы, Загорский остановился. Поправил булавку в галстук и вошёл внутрь мастерской.

— Это ты будешь Яков Юровский?

Кудрявый и не лишённый некоторой импозантности еврей внимательно взгляделся в посетителя и сказал:

— С вашего позволения, я его брат, и зовут меня Эля, а Яша уехал учиться в Екатеринбург, в школу фельдшеров. Теперь война, родине потребуются лекари. Яша считает долгом облегчать страдания людей. Чем могу служить пану?

— Вот тебе письмо, писанное Яшке из Варшавы. Прочти, и ты всё поймёшь. Эля внимательно прочитал письмо, зачем-то даже посмотрел его на просвет.

Потом сказал:

— Что я могу сделать для вас?

Загорский стал расстёгивать и спускать свои щегольские брюки.

— Что пан себе позволяет? — воскликнул ювелир.

— Не вопи, ты прочитал в письме, что мне доверять можно. Так подай мне бритву или небольшие ножницы!

— Нет, пан! Я бедный еврей. И мне не откупиться от полиции в случае если вы себя покалечите!

— Сдурел? У меня в кальсонах зашиты бриллианты! Я ж несколько стран проехал, как мне было их сохранить? Давай бритву. Я вовсе себе ничего отрезать не собираюсь, всё, что мне дала природа, должно быть при мне. А вот пару брильянтов у меня ты возьмёшь, а мне дашь злотых... У тебя будет маленький навар... Я ж не могу в ресторане либо на базаре рассчитывать бриллиантами. Поспеш! Вдруг сюда кто-нибудь зайдёт!..

Эля, конечно, внимательно осмотрел камушки, и пришёл к выводу, что они самые настоящие.

Выходя из мастерской, граф столкнулся в дверях со странным человеком. Старик с лицом явно еврейского типа был одет в русскую рубашку с пояском, на голове у него был картуз, а на ногах смазные сапоги. Он был усат и бородат, но это не могло скрыть его еврейской внешности.

«Ряженный!» — подумалось Загорскому.

Старик поздоровался с Элией Юровским и сказал: — Вы бы, Эля, повесили бы в переднем углу икону, а то православному человеку не на что перекреститься. Икона и ваше заведение оградит от бед.

— Я понимаю, Савва Игнатьевич, — поклонился ему Эля, — я всем евреям говорю, мол, берите пример с Канцера. Он умный человек, взял и перестал быть евреем. А икона у нас тут была, но Яков велел её убрать. Яков, знаете ли, теперь ни в еврейского Бога не верит, ни в русского. Он в какую-то риси-дирипу ходит! И что я могу сделать? Он всё-таки старший брат!

— У Якова — мякина в голове! — строго сказал Савва Игнатьевич Канцер. — Разве в девятьсот пятом году эта самая рисидирипа кого-нибудь спасла, когда православные патриоты сожгли здание железнодорожной управы? Сколько людей было убито и заживо сгорели? Около тыщи. А потом бандиты... тьфу! — то есть патриоты верующие стали еврейские лавки и аптеки громить. И еврейские доходные дома поджигали. А мои дома они не тронули. Потому что все знают: Савва Игнатьевич Канцер — православный человек. Имя-отчество я при крещении изменил. Теперь бы мне ещё фамилию сменить, но полиция не разрешает.

Но я не первый еврей в Томске, который сменил вероисповедание. Всем известный богач Илья Фуксман по закону, как еврей, не имел права курить вино. И что же? Он сделал лютеранином своего сына Григория и сдал ему свой завод. Таких примеров много. Если выгодно, можно стать хоть буддистом, хоть кем.

Так вот, я православный человек, а вы, проклятые иудеи, мне за квартиру не платите. В наше-то время квартиры стали дороже золота. Толпы людей нынче приискивают себе жильё. А Яшка задолжал и в Екатеринбург сбежал. Вы с вашей мамой, пусть бог даст ей здоровья, уже год не платите. А ведь ты, еврейская твоя морда, при золотом деле состоишь.

— Савва Игнатьевич, вы же знаете, что не я хозяин мастерской и магазина, я только служащий.

— Всё равно! К твоим лапкам прилипают золотинки, уж меня-то ты не обманешь. Или платите за квартиру, или скажу полиции, чтобы вас выселила. Живёте в центре города, в такой-то дом я смогу найти постояльцев побогаче. Нынче столько поляков и евреев от войны в Томск сбежало, что цены на квартиры надо в сто раз поднимать. А вы даже и старую цену не платите.

Эля вздохнул, открыл несгораемый ящик и отмусолил Канцеру долг...

А граф уже стоял на крыльце дома Нейландов. Он постучал висевшим на цепочке деревянным молотком в медную доску, прислуга отворила дверь и доложила аптекарю Петру Яковлевичу Нейланду, что его супруге Ольге какой-то молодой человек привёз письмо из Польши.

Графа пригласили войти. Аптекарь Нейланд годился в отцы своей супруге, но это был брак по расчёту, так как он объединил аптеку Ковнацких и аптеку Нейланда в одно общее дело. Ольга была приятно удивлена письмом от дальних родственников, которые ходатайствовали за графа.

— Что же, граф, — сказала она, — мы с мужем люди не очень влиятельные, но у нас есть свой круг знакомых среди достаточно важных людей. Родственники мне сообщают и о том, что вы перенесли серьёзную болезнь, мы сможем изготовить для вас самые новейшие лекарства, какие только выпишут вам здешние светила медицины. Вводить вас в здешний свет начнём сегодня же. Как раз и погода чудесная! Вот только пообедаем, и поедем. Петя, прикажи заложить коляску. Ты поедешь с нами?

Старик Нейланд отговорился занятостью. Обед был по-сибирски обильным, особо графу понравилась стерляжья уха.

И вскоре граф и Ольга уже сидели в коляске. Причём дворник сказал на ухо кухарке:

— И чего этой Ольге неймётся? Из-за неё герой войны с Японией офицер и дворянин Лопухин Иннокентия Кухтерина пристрелил, теперь вот ещё себе кавалера нашла. — Не говори ерунды! — отвечала кухарка. — Разве она виновата, что старик кроме дома да аптеки ничего знать не хочет? Раньше хоть по ресторанам её возил, а теперь — как отрезало. А красавчик этот уж такой бледный! Больной, что ли?

Коляска миновала мост и подкатила к ювелирной мастерской. Граф увлёк туда Ковнацкую-Нейланд.

— Вот эти серьги как раз будут в гармонии с вашим колье, — говорил Загорский, указывая на Ольгины украшения. Ольга отказывалась принять дар, но довольно шурилась, ей нравилось, что этот Загорский был так галантен. Конечно, она не могла рассчитывать на его любовь, она не так уж молода для этого. Но его внимание ей было приятно. Загорский всё-таки настоял на своём, и Ольга приняла серьги.

Они вышли на улицу оба очень довольные, сели в коляску.

— Куда теперь? — спросил граф.

— Едем в университет! — сказала Ковнацкая-Нейланд. Надо же отработать ваш аванс. Ваши шесть языков пропадают втуне. Конечно, вас возьмут делопроизводителем в губернскую управу. С такими знаниями. Но нужно, чтобы вы пришли туда устраиваться будучи уже известным в городе. Тогда зерно упадёт на удобренную почву.

— Стать известным! — воскликнул граф. — Вы, Оля, шутите. Для этого потребуются годы.

— Отнюдь. Томск не Москва, достаточно вам побывать в двух-трёх салонах, и о вас заговорят везде, в том числе и в управе... Опять забыла, какими именно языками вы владеете?

— Кроме русского — польским, немецким, английским, французским, испанским, итальянским.

— Вот и прекрасно! Сейчас потолкуете с нашими профессорами, и это будет ваш первый шаг к карьере. Как жаль, что вы не хотите продолжить образование в университете!

— Милая Оля! — грустно сказал граф. — Я уже говорил вам, что мне нет смысла продолжать грызть гранит науки. Чахотка сгрызёт меня гораздо раньше.

— Опять эти мрачные мысли! Профессор Курлов вас непременно вылечит! Как? Вы не слыхали про Курлова? Ну, ничего, я вас познакомлю, замолвлю за вас словечко. Он сделает всё возможное и невозможное. Это удивительный специалист и образец просвещённого врача, не эскулап какой-нибудь. Ага! Подъезжаем к университету! Как вам нравятся озеро, речка, роща?

— Да, красиво! — согласился Загорский. Они вышли из коляски. Среди обширной рощи на возвышенном месте как бы воспаряло к небу белокаменное здание, поднятый на шпиле золотой крест сиял на солнце.

Под кронами ухоженных деревьев стояли каменные истуканы.

— Это так называемые каменные бабы, — пояснила Ольга. — Каждая такая баба высечена так, что видно: одной рукой прижимает к груди нечто вроде большой рюмки.

Томские купцы бывают в далёких краях, ездят на Алтай, к хакасам, в Монголию, Китай, Тибет. Первым привёз такую фигуру с Востока купец Гадалов, поставил у себя во дворе, и сразу ему стал сопутствовать успех во всех сделках. Прознали про это другие негоцианты, и тоже стали таких истуканов с собой прихватывать во время вояжей. Говорят, их особенно много в степях Монголии и в Хакасии, где сопки не круглые, как на Дальнем Востоке, а напоминают поставленные на ребро чемоданы.

Короче, каждый купец себе древнюю статую привёз. А когда стало известно о высочайшем повелении строить в Томске университет, то купцы стали жертвовать ему своих истуканов. Свозили их сюда, на берег речки Бланки. Ставили на бережку. Тогда место тут было ещё дикое. Но вот, как в сказке, поднялся в диком лесу белокаменный храм науки, высоко к облакам вскинув золотой крест. Учёный садовник Порфирий Никитич Крылов разбил здесь дивный ландшафтный парк. Древние статуи перенесли в тенистые аллеи, их скоро стало более пяти десятков.

Один из профессоров исследовал сии древности. Он пояснил, что бабы — это не бабы, а фетиши такие. И в руках они держат не рюмки, а ритуальные сосуды. Может, кровью причащались во время молений. Каждому такому истукану не менее девяти тысяч лет! Но местные пьяницы говорят своим жёнам: «Чего шумите — «нализался»! Сходите в рошу, там памятники бабам, жившим девять тыщ лет назад, и у каждой — рюмка в руке!».

— Как подумаешь, что девять тысяч лет назад кого-то приносили в жертву, чтобы причаститься его кровью, то и дурно делается, — сказал граф Загорский.

— Вы чувствительны не по годам, — улыбнулась Ольга. — Идолы эти поставлены здесь на счастье. Нужно только к ним хорошо относиться. Случай со студентом Баранцевичем говорит об этом совершенно ясно.

— Что за случай?

— Однажды в хорошем подпитии этот студияз проходил по роше. И говорит собутыльникам:

— Я уже бывал с двадцатилетними, тридцатилетними и сорокалетними дамами, но с девяти тысячелетней не приходилось заниматься. И подошёл к одному изваянию, приобнял, и начал делать движения, обозначающие сами понимаете что. На следующую ночь товарищи по общежитию проснулись от его страшных криков. Он хрипел и просил не давить на него так сильно, он молил о пощаде. Зажгли свет, позвали врача. Но Гена Баранцевич уже испустил дух. Все лучшие медики города пришли на вскрытие, которое производил Попов. И что же? И сердце, и лёгкие, и все остальные органы у Баранцевича были в порядке. И до сих пор никто так и не знает, от чего он умер.

Компания молодых людей в студенческой форме над чем-то весело смеялась в беседке, под ажурным каменным мостом курлыкала речка Бланка, которую студенты давно прозвали Медичкой, так как университет первоначально имел только медицинский факультет, а река была свежа, чиста, как юная девушка. В отдалении в деревянном доме таякали десятки собак. Ольга пояснила: медицинский факультет покупает у населения собак, кошек и крыс для медицинских опытов. Поставщиками всей этой живности чаще всего бывают томские мальчишки, а иногда и девчонки.

— Так с детства в души закладывается жестокость! — заметил граф.

— Что же делать? — пожала плечами Ковнацкая. — Наука требует жертв. Впрочем, сейчас мы посетим с вами лабораторию, где обходятся без издевательств над животными.

Они вошли в обширный зал, который был весь занят странным сооружением в виде огромного пустотелого кольца.

Их встретил большелобый крепыш, профессор Борис Петрович Вейнберг. Он выслушал Ольгу и сказал:

— Ах, это беженец из порабощенной Европы? Ну так пусть знает, что, перебравшись в Сибирь, он попал не в логово к медведям. Вот, господин Загорский, действующая модель. В вакуумной трубе в экспрессе, мчащемся с помощью электромагнитных сил со скоростью восемьсот километров в час, пассажиры будут дышать кислородом, а поезд будет мчать их без рельсов через горы, степи, болота и кусты. За четыре часа можно будет доехать от Томска до Москвы. Купцы меня уже теперь терзают: мол, почём будешь за билет брать, Борис Петрович. Правда, строительство одной версты такой дороги обойдётся в двести тридцать тысяч рублей, а до Москвы — в один миллиард рублей. Но оно и стоит того.

Борис Петрович похлопотал возле трубы, она легонько взвыла, и снаряд, выполненный в виде поезда, с бешеной скоростью помчался по трубе.

— Пока наш поезд мчится по кольцу без пассажиров, но мы думаем вскоре усовершенствовать установку и пустить в пробный рейс в качестве пассажиров — белых мышей.

— Ну вот! А я только что похвалила вас за то, что никого не мучаете в ходе научных экспериментов! — воскликнула Ольга.

— Знают ли о вашем изобретении за границей? — спросил Загорский.

— Не только знают, но я получил письмо из Америки. Они собираются прислать в Томск съёмочную группу. Будут снимать фильм о летучем поезде под названием «Чудесный безвоздушный электрический путь, или Сибирское чудо». Только вот где нам взять переводчика, чтобы объясняться с американцами?

— О, Георгий Адамович говорит на всех европейских языках! — воскликнула Ольга. — Так что вы, Борис Петрович, ангажируйте его, пока он не вошёл ещё в моду.

— Да-да, конечно! — разулыбался учёный. — Буду рад видеть господина Загорского у себя дома. Приглашаю! Вот вам, пожалуйста, моя визитная карточка.

На другой вечер они были уже в профессорской гостиной. Квартира была с высокими потолками, с изящным камином, с картинами на стенах.

Подали чай. За роялем в четыре руки играли художник Михаил Пепеляев и дочь профессора. Комната наполнялась гостями. Появился молодой, крепкий, с загорелыми лицом и руками, Вячеслав Яковлевич Шишков, он был в мундире горного техника.

— Музыка и литература — вот девиз салона, — шептала Ковнацкая на ухо Загорскому, — а человек в мундире горного техника — это автор очень сильных повестей и рассказов. Говорят, что он скоро от нас уезжает. Вам повезло, вы услышите его чтение.

— А что за маленький такой старичок в очках?

Это наш герой, бунтарь, борец с деспотией, вождь Сибири, этнограф, писатель, путешественник — всё что хотите. Его первая жена в одном из путешествий умерла. Его восьмидесятилетний юбилей был таким праздником, какого в Томске никогда прежде не было. Городская дума сделала Потанина почётным гражданином города. Омск и Красноярск приняли такое же решение ... Вот такой гражданин!..

Компанию пополнили поэты. Ольга продолжала давать пояснения Загорскому, указывая глазами то на одного, то на другого субъекта.

— Вот этот изящный господин и есть знаменитый профессор Михаил Георгиевич Курлов, я вас с ним непременно познакомлю, он вас вылечит. Сидят за нашим столом и местные поэты, каждый надеется, что ему дадут возможность прочесть пару новых стихов. Где им ещё найти такую благодарную аудиторию?

Чаепитие началось. Шишков прочитал отрывок из будущего романа, и в отрывке этом многие узнали родные томские улицы. Восторгам не было предела.

— Михаил Георгиевич! — обратился хозяин квартиры к Курлову. — Расскажите что-нибудь интересенькое из вашей практики.

— Ну что рассказать? Ну разве про аппендикс? Есть такой в организме придаток, который может иногда воспалиться. Так вот. Я учился на последнем курсе, летом меня послали практиковать в одну глухую деревню. Прибыл туда. Открыл в избе у зажиточного крестьянина медицинский пункт. Пошли ко мне больные. Крестьяне вообще-то редко болеют — работают на свежем воздухе, едят здоровую пищу. Поэтому шли с небольшими болячками, кто родинку просил свести, кто чирей вскрыть. И тут приходит крестьянка с четырнадцатилетней дочкой и заявляет:

— У моей Дуськи в кишках червяк воспалился! Ох, мучается!

Начинаю осматривать Дуську, платье снимать не хочет, стесняется. Но как-то всё же осмотрел, понял — на последнем месяце беременности. Ну, что? Дуська мне шепчет:

— У нас тятка строгий, убьёт!

Я матери говорю: мол, да, аппендикс воспалился, надо Дуську в город везти, операцию делать. Дали мне подводу, повёз я Дуську в город, сдал в родильное отделение. Родила она, а домой ехать боится. Пожила у меня дома некоторое время. Мальчик немного подрос, отнесли младенца к фотографу Пейсахову, сфотографировали, а фотокарточку с письмом Дуськиному отцу отправили. Смирился он. Велел дочке с внуком в деревню возвращаться. Такой вот «аппендикс»!

Все рассмеялись. Шишков посоветовал профессору писать рассказы.

— России хватит одного пишущего врача, доктора Чехова, — отвечал Курлов. — Остальные врачи пусть лечат больных, Чехова им всё равно не переплюнуть.

— Сейчас дадут слово поэтам, — шепнула графу Ольга. — Среди них есть и карбонарии. Взгляните-ка на Владимира Матвеевича Бахметьева! Сослан в Сибирь за бунтовские писания. Я чувствую, как колеблется почва под нашими аптекарскими магазинами! Он строг к нам, буржуям. Но не бойтесь!

— Я и не боюсь! — возразил граф. — У меня нет аптеки, нет и магазина. Мне нечего терять, кроме своих цепей.

— Пролетарии людей с графскими титулами не очень-то жалуют.

— Что титул, если нет ни денег, ни родового замка?..

Когда отзвучали поэты, присутствующие стали просить Потанина дать оценку вечеру. Он сказал:

— Наши писатели хороши. Но они станут ещё лучше, когда озаботятся бедами и нуждами родной Сибири. Мы — кладовка, откуда государству удобно брать золото, алмазы, лес, пушнину. И ещё мы — свалка для человеческих отбросов. Сюда веками ссылали преступников, да и теперь ссылают. Мы бились за то, чтобы в Томске был университет. Он есть. Он и стал причиной того, что можно собирать столь блестящее общество. Вы все творцы. И не забывайте в творчестве, что Сибирь до сих пор остаётся колонией. Всякий интеллигент должен возвышать против этого свой голос. Вот и всё.

Все дружно зааплодировали.

В конце концов, Борис Петрович обратился к Загорскому:

— Вы у нас впервые, граф, новички у нас выступают под занавес. Чем порадуете наш салон? Ваша лепта?

Все взоры тотчас обратились к графу. Георгий Адамович прижал руку к сердцу:

— И рад бы, но не пишу ни стихов, ни прозы. Вот разве вспомнить стародавние уроки музыки, которые преподавал мне в Вене один из родственников короля вальсов.

Граф присел за фортепиано и сыграл знаменитый «Последний вальс» Штрауса. Гости были поражены проникновенностью исполнения.

— Но зачем же так грустно, граф! Просто плакать хочется.

— Я только озвучил заложенное композитором...

12. Сатрапы — вниз по трапу

По протекции Ковнацкой-Нейланд граф Загорский поселился во флигеле неподалёку от шоколадной фабрики. И стоило выйти из двора, как он оказывался в центре города. Вот вам музыкальный магазин Ольги Шмидт и фарфоровый магазин Перевалова, второвский пассаж.

В музыкальном отделе магазина Макушина Загорский приглядывал и пробовал рояли Беккера, Шредера, Шлиппенберга. Его пальцам отзывались петербургские фисгармонии, органы, фортепьяно и рояли с коваными бронзовыми подсвечниками с двух сторон фабрики Мюнбаха, фисгармонии американской фирмы «Стори и Кларк» из Чикаго. Графа смешили механические музыкальные приборы: симфонионы, оркестрионы, полифоны, орфениноны... Боже мой! Разве может механизм создавать музыку? Музыка внушаема человеку Богом, а человек соединён с фортепиано душой, посредством собственных пальцев. После он обязательно купит фортепиано. Благо магазин с квартирой рядом, даже лошадей не придётся нанимать, только грузчиков. И работу в губернском правлении Ольга ему устроила. Всё-таки большое дело — протекция!

Первое поручение ему было — съездить в местную психолечебницу. Поступило несколько жалоб от больных. Они, конечно, не совсем в своём уме, но, может, и в их словах есть доля правды. Он выехал в собственной коляске, купленной по случаю почти задаром. Жеребчик в яблоках взят в управе. Граф сам правил лошадей, на нём был форменный мундир, к поясу был прикреплен эспадрон, имевший скорее декоративное, чем боевое значение. Просто полагалась чиновнику-дворянину при мундире ещё и шпага.

Его предупредили, что придётся в лечебницу ехать лесом, что на дороге этой «шалют». Ему сообщили также, что дважды в день до лечебницы отправляется пароконный дилижанс. Ехать в дилижансе будет много безопаснее. Но граф сказал, что надеется на своё умение фехтовать. На всякий случай он захватил с собой ещё и заряженный револьвер фабрики Смита и Вессона. Эта американская штучка приятно оттягивала карман сюртука.

Дорога вскоре действительно свернула в густой кедровый и сосновый лес. Солнце едва пробивалось сквозь сплетения могучих хвойных ветвей. И стука копыт было почти не слышно, так как дорогу устилала хвойные иголки, создавшие пружинистый наст. Граф опустил вожжи, лошадь медленно влекла коляску, дышалось легко. Графу подумалось о том, как целителен хвойный воздух для его больных лёгких. Боже мой, как сложно устроен человеческий организм! В грудной клетке тысячи живых пузырьков, собранные в кроны двух изумительных деревьев, должны ежеминутно, ежесекундно наполняться воздухом — затем, чтобы обновлялась кровь, работало сердце. И какая-то невидимая глазу микроба внедряется в пузырьки, и постепенно начинает пожирать человека. И нужно бороться с ней лекарствами, свежим хвойным воздухом. И не всегда человек выходит победителем в этой борьбе. Кто это придумал, зачем?

Вдруг из кустов выскочил человек в грязной хламиде и широкополой шляпе, с топором в руке. Левую руку он протянул, чтобы ухватиться за узду. Граф оглянулся и увидел ещё двоих, бежавших позади коляски, один из них был тоже с топором, другой держал в руке самодельную пику, это была длинная палка с привязанным к ней огромным ножом. Такими большими ножами в сибирских избах бабы обычно скоблят неокрашенные полы.

Граф картинно простёр руку, щёлкнул пальцами, властно и чётко произнёс:

— Я доктор, я вижу: у тебя ужасно скрутило живот! Открылся понос! У тебя все кишки выворачивает! Чувствуешь? Тебе надо сейчас же облегчиться!

Мужик сбежал к обочине дороги, на бегу расстёгивая штаны. Загорский обернулся назад и так же чётко и внушительно сказал:

— И у вас обоих тоже сильный понос! Ух, как болят кишки! Скорее присесть, облегчиться!

Мужики остановились как бы в раздумье, поглядели на своего сотоварища, и тоже кинулись к обочине, спустили штаны и присели. Было видно, что у них чувствительно расстроились животы.

Загорский перетянул жеребца хлыстиком, и тот понёс его вперёд. «Да, не зря в Вене Франц Бауэр развивал во мне открытые мной ещё в детстве способности к гипнотизму!» — подумал граф. Он был доволен исходом рискованного опыта. Эта проверка многого стоила!

И вот впереди среди леса возникли островерхие деревянные замки со шпильями и величественные корпуса городка лечебницы. Они были причудливо вписаны в местность, воздухоплаватель увидел бы их с высоты как две скрещенные свастики — древние символы огня и света.

Вскоре Загорский уже был в кабинете профессора кафедры систематического и клинического лечения нервных и душевных болезней императорского университета Топоркова Николая Николаевича. Основатель

клиники нового типа был брюнетом с ухоженными усами и бородкой, с остриженной под бобрик головой. Глухо застёгнутый чёрный его сюртук подчёркивал белизну выступавшей у ворота рубашки. Всем своим обликом он напоминал лютеранского пастора. Профессор окончил Казанский университет и после немало практиковался в европейских странах.

Узнав о цели визита Загорского, он сказал, что графу здесь покажут всё, что только он пожелает тут увидеть. Лишь для начала он даст самые краткие сведения о клинике. Поглаживая бородку и поблёскивая моноклем, он рассказывал:

— Наша лечебница — автономный городок со своим центральным отоплением, электричеством и железной дорогой.

— Фантастика! — воскликнул граф.

— Это ещё не всё, дорогой Георгий Адамович! — воскликнул Николай Николаевич. — Добавьте к сказанному водолечебницу, яблоневый сад. Конечно, городок построен в тайге, здесь и без того много зелени, ягодников, но мы выращиваем и культурные плодовые деревья. Зимой больные рисуют картины и лепят скульптуры. Лучшие из картин висят у нас в залах, в приёмных и в кабинетах. Мы имеем здесь даже театр, актёрами которого бывают и медики, и больные.

— Да! — воскликнул граф. — Пожалуй, такого заведения не встретишь и в европейских странах.

Профессор позвонил по телефону, и вскоре в кабинете появился врач-психиатр Владимир Зиновьевич Левицкий.

— Вот вам и ваш чичероне! — улыбнулся профессор. — Ваша цель — проверка жалоб. Поверьте, вам покажут всё, что вы пожелаете, и если вы отметите те или иные недостатки, мы отнесёмся к этому серьёзно и примем все необходимые меры.

Владимир Зиновьевич Левицкий повёл Загорского по коридорам, залам и палатам. В просторном вестибюле на стенах висели увеличенные фотографии. На них была отображена жизнь психиатрической клиники. Пациенты были засняты на отдыхе, на лечении. На одной фотографии были запечатлены нагие мужчины и женщины, глядевшие в разные стороны.

— Что за сюжет? — поинтересовался Загорский.

— Дело в том, что в психолечебницу помещают скорбных умом людей со всей Сибири и Дальнего Востока, — пояснил Левицкий. — Они прибывают поездами, большими партиями. Вот вы и видите одну такую партию. Нужно быстро осмотреть, отделить страдающих заразными болезнями. Затем всех остригут и поведут в баню.

— Одна из жалоб поступила за многими подписями, и пишется в ней о том, что больным не дают кроватей, — сказал граф. — Верно ли это?

— Абсолютно верно. Так заведено в подобных лечебницах и в Европе. Днём больные ходят в пижамах и могут отдыхать, сидя на скамьях и диванах. Перед сном они надевают ночные рубашки и стелят на пол матрасы. А кровать — это металл. Буйные больные могут ранить себя, случалось, что и вешались на спинках кроватей.

А вообще, человеколюбие, доброта — это наш главнейший девиз. Служащие подбираются тщательно, для них построены хорошие дома, им хорошо платят. Грубость по отношению к больным совершенно исключается.

— У меня одно письмо от некого Алексея Криворученко, — сказал граф, — оно полно великого гнева. Ваших врачей он именует не иначе, как врачи-палачи. Он пишет, что его истязают, дают ему какую-то микстуру, от которой у него отнимаются ноги. Я хотел бы поговорить с ним.

— Для этого нам нужно будет спуститься в полуподвал, в тюремное отделение.

— О! Здесь есть и такое отделение? — Есть. На сто человек. Расположено оно в полуподвале. Окна забраны толстенными решётками. Сильная охрана. Как правило, там помещаются люди, совершившие тяжчайшие преступления, но признанные судом невменяемыми.

— Очень любопытно! — сказал Загорский, в самом деле заинтригованный.

— Ваш жалобщик, Алёша Криворученко, имея шестнадцать лет от роду, пристрелил в Чите жандарма. Распространитель листовок, бомбист.

Они спустились этажом ниже. Левицкий постучал в железную дверь. Открылся круглый глазок.

— Чиновник губернского управления господин Загорский желает побеседовать с больным Алексеем Криворученко, — сказал Левицкий.

— Сейчас устроим, Владимир Зиновьевич! — отвечал грубый голос из-за двери. Лязгнули железные запоры, и дверь отворилась. Рослые пожилые охранники попросили подождать и вскоре вернулись с тощим невысоким пареньком с шалыми белыми глазами, вздёрнутым носом. На нём были ручные кандалы. Он весь дрожал от ярости.

Бородачи-охранники посадили его на табурет, стоявший посреди комнаты, а Загорский и Левицкий присели на скамью напротив. Арестант закричал пронзительным голосом:

— Палачи! Кандалы на больного надели! Скоты!

— Не бузи! — примирительно сказал один из бородачей. — Ты ж дерёшься, кусаешься, как же тебя вести к господам без кандалов?

— За всё ответите вместе с вашими господами! Придёт наше время!

Граф смотрел внимательно в глаза Алексею. Хотел воздействовать на него гипнозом, успокоить. Ничего не получалось. Впрочем, Загорский знал, что на душевнобольных воздействовать гипнозом весьма трудно.

— Вы ещё очень молоды, — сказал граф, — у вас вся жизнь впереди, стоит ли усугублять своё положение? Примерным поведением вы могли бы облегчить свою участь. Я хочу выслушать ваши претензии.

— Если ты пришёл защищать палачей-врачей и читать мне проповеди, то катись колбаской по Малой Спасской! — насутился Криворученко.

— С ним не поговоришь! Он лишь вот это понимает! — показал охранник пудовый кулак. — Да и то не всегда!

— Вы пишете, что вас плохо кормят, это действительно так? — спросил граф.

— Иди ты к чёрту! — сказал Криворученко. — Я с тобой и говорить не хочу. Проверяльщик! Я вижу, что ты принадлежишь к чуждому мне классу. Значит, враг! И проваливай!

— Зачем же тогда жалобы в губернское правление писать? Вы что же, думали, что их извозчик придёт проверять? Кстати, я приехал сам, без извозчика. И мне в лесу какие-то ухаи чуть шею не свернули. Но даже с ними я сумел договориться. А с вами — не получается! Почему?

— Ты чуждый элемент! — темнея лицом, закричал Криворученко. — Я с тобой в другом месте поговорил бы, при помощи бомбы или пулемёта! Скоро вас не будет! Я это гарантирую.

— Это вы — зря! — усмехнулся граф. — Я беженец, пострадал от войны, у меня ничего нет, но я устроился, и работаю. Ну, какой же я буржуа? Для вас каждый интеллигент — буржуй? Все должны быть рабочими? Но кто же тогда будет управлять делами страны, двигать науку?

— Сами и будем! По справедливости! Дерьмо ты собачье! Весь мир насилья мы разрушим... Я тебя посажу в этот подвал, и ты тогда узнаешь, каково тут сидеть!

— Но где же логика? Говорите, что весь мир насилья разрушите, и тут же обещаете посадить меня в подвал, то есть совершить надо мной насилие. Получается, что вы разрушите один мир насилия и тут же создадите другой!

— Пошёл ты... знаешь куда? Подставь ухо, шепну на ушко!

— Ни в коем случае не подставляйте ему ухо — откусит! — вскричал охранник. Граф внял совету, и ухо узнику подставлять не стал. — Ну, раз вы ругаетесь, я с вами прощаюсь, — сказал граф с любезной улыбкой. Я выясню, каков ваш рацион, если он недостаточен, приму меры!

В одной из клеток сидел здоровенный парень, он попросил Загорского:

— Барин, сделайте милость! Скажите, чтобы меня на фронт забрали. Меня уже хотели взять, а я сделал вид, что повесился. Суд решил, что я сумасшедший. Какой-то комиссии жду. А мне бы лучше теперь же на войну уехать.

Загорский вопросительно посмотрел на профессора.

— Пока ещё консилиум не решил его судьбу, — пояснил Топорков. — Но, скорее всего, будет освобождён от воинской повинности. Не в себе человек. Повешение имитировал. Но и раньше за ним наблюдались странности: любил рассказывать, что побывал в раю и райские гурии его там ласкали.

— А если его признают больным, он должен будет вечно находиться у вас?

— Переведём в общее отделение, подлечим, может, когда-нибудь и отпустим.

Железная дверь за Загорским и Левицким закрылась. Врач сказал:

— Вы можете пройти на кухню, там вам покажут все нормы, продукты и готовые блюда. Это же традиция любой психолечебницы — кормить пациентов самым лучшим образом. Считается, что они и так обделены судьбой, лишены многого из того, чем обладают нормальные люди, так пусть хоть поедят хорошо. Теперь война, но мы обеспечиваем им хороший рацион...

Посетив почти все корпуса, граф сделал пометки в тетради. Уже вечерело, и профессора в щегольских сюртуках и котелках, с элегантными тросточками,

усаживались каждый в свой экипаж. Граф отвязал свою лошадь, уселся в коляску. Он решил, что ехать вместе с другими экипажами будет безопаснее.

13. Чёрный человек

Коля в очередной раз спешил на свидание с Белой Гелори. В мастерской Элии Юровского он купил для неё браслет матового серебра с жемчугами.

Конечно, Бела стоила более дорогого подарка, но Николай Зимний по-прежнему оставался младшим приказчиком, и все чаевые по-прежнему отдавал старшему приказчику, хотя над ним из-за этого посмеивались товарищи. Да и сам старший приказчик говаривал, что честность и торговля — это два разных полюса. Надо создать видимость честности, а не быть честным.

В Томске рассказывали о случае, когда глава рода Кухтериных вёз зарплату на свою спичечную фабрику, да обронил по дороге кошель. Какой-то возчик этот кошель подобрал, по монограмме догадался, чьи деньги, а было их несколько тысяч. Возчик ничего лучше не придумал, как поехать и отдать кошель хозяину. Рассмеялся Кухтерин и сказал:

— Эх ты, простота! Вот, возьми три рубля, купи себе верёвку и повесься! Коля, найди он такой кошель, поступил бы точно так, как тот возчик. И шёл он в гостиничный номер, и был грустен, потому что не мог купить более дорогой подарок. Дома казались серыми. Снег падал за ворот. Издали было видно, как блестит лёд возле свай, как тщетно пытаются разорвать мрак фонари. А когда Коля подошёл к порогу гостиницы, то увидел в полумраке в снежном мареве человека в чёрном пальто, тащившего на загорбке чёрный гроб. «Куда он с гробом?» — удивился Коля, и увидел, что человек вошёл в подъезд гостиницы.

Коля пошёл следом, спросил у конторщика, скучавшего за самоваром:

— А этот, чёрный, он к кому, с гробом?

— С каким грабом? — удивился конторщик. — Мы заказывали столяру кедровые перила, так он ещё их не отделал, и не принёс. Да и зачем бы он поплёлся сюда на ночь глядя, сейчас всё равно хозяина нет. А из граба разве перила делают?

Да у наших столяров, верно, такого дерева и не бывает. Кедр — дерево мягкое, тёплое, и везти его через три моря не надо, рядом растёт.

«Ошибка, путаница, — подумал Коля, — я ему — про Фому, а он мне про Ерёму». И опять спросил:

— Разве человек в чёрном пальто сейчас не зашёл сюда? Высокий и сутулый?

— Нет. Вашу милость уже ждут, сами знаете — кто. А других посетителей после восьми вечера сегодня не было. Да ведь погода какая!

Коля прошёл в номер, Бела встретила его как всегда радостно. И тотчас заметила, что он — не в настроении:

— Что с мальчиком? Я ему надоела, он нашёл другую симпатию?

Он молча надел браслет на её левую руку. Но горький осадок в душе не проходил, мешал ему восторгаться и радоваться...

Коля, как всегда, ушёл из гостиницы на рассвете, дав сонному конторщику на чай. И шёл по заметленным улицам Томска грустный и одинокий. В домах ещё были закрыты двери и ставни. Нигде ни одного следа на снегу. Почему-то

подумалось: а вдруг город весь в одночасье вымер, все люди на свете вымерли, и он, Коля, остался один на Земле? Какой ужас! Что бы он тогда стал делать?

Придя в общежитие, Коля впервые в жизни не раздеваясь лёг в постель, только ботинки скинул.

Утром его разбудили полицейские. И велели одеваться, хотя он и так был одет. Ему надо было только обуть ботинки.

— А в чём дело? — спросил Коля.

— Сам знаешь! Из гостиницы когда пришёл?

— Не помню, рассвет был. А на часы я не смотрел. А что?

— Сам знаешь, айда, пошевеливайся! Общежитские зашумели:

— Вот так Коля Зимний!

— Тихий! В тихом озере все черти сидят.

— Приютские — они такие, ведь ни отца, ни матери не помнит. Наверняка банк ограбил.

— У кого же точнее узнать?

— А чего узнавать, всё в газетах пропишут.

14. Женщина-главнокомандующий

Никто из пассажиров и представить себе не мог, что весенним утром 1915 года из пульмановского вагона на перрон вокзала Томск-I ступил главнокомандующий всеми пограничными войсками России. Разве можно представить главнокомандующего в меховой шубке и с муфтой под цвет, и с французским ридикулем через плечо? Нет, и ещё раз нет!

Но так было. Начальницу пограничников звали Матильдой Ивановной. Не так давно она была женой премьер-министра России графа Сергея Юльевича Витте.

Вместе с Матильдой Ивановной в Томск прибыл сорокачетырёхлетний выкрещенный еврей Иван Фёдорович Манасевич-Мануйлов. В прошлом — томич, теперь он был личным секретарём Распутина и легендарным автором знаменитых «протоколов сионских мудрецов», над которыми он работал по заданию шефа тайной полиции Павла Рачковского в Базеле. Говорят, что на самом деле «протоколы» были сочинены 1898 году Базельским конгрессом сионистов, или не конгрессом — дело тёмное. Но Рачковский с целью разведки придумал адски хитрый план: он решил сделать автором протоколов своего подручного. Пусть потом разбираются — где правда? А у Рачковского будет в руках нить от всемирного заговора. Матильда Ивановна, как и Мануйлов, входила в круг старца Григория Распутина. Она происходила из семьи богатейших томских золотопромышленников Хотимских, естественно, тоже была выкрестом, иначе какая была бы у неё карьера.

Они приехали проведать родину, а ещё — навестить и допросить государственную преступницу. В июне 1914 года в селении Покровском Хиония Гусева набросилась с кинжалом на бедного старца, пьяного Григория Ефимовича. Направил её на это дело бешеный монах Илиодор, который теперь сбежал за границу, в Швецию, и кропает там про друга царской семьи крамольную книгу под

названием « Святой чёрт ». Теперь преступная Хиония помещалась в Томске, в секретном подвале психиатрической клиники.

Манасевич-Мануйлов и графиня, примчавшие к Хотимским от поезда с целой вереницей колясок, всем вручили подарки. Затем с обеда до ужина подробно расспрашивали Хотимских обо всех томских новостях, и что говорят томичи о Распутине, которому теперь присвоена новая фамилия — Новых.

Поздним вечером с чёрного хода в дом Хотимских входили люди для тайных бесед с высокими гостями. Их усаживали на стулья возле двери кабинета. Главнокомандующая пограничными войсками принимала посетителей по одному.

— Приглашается господин Хотизов! — провозгласил лакей.

Желтолицый человек немедленно юркнул в заветную дверь. Матильда сидела в огромном кожаном кресле и нервно курила пахитоску*. Желтолицый распростёрся у её ног.

— Что это за китайские церемонии, Ли Хань? — недовольно сказала Матильда. — Карта ваших постов вдоль великой российской железной дороги у вас с собой?

— Така-точна, мадама, карта, списки надёжных людей, которых я расселил около очина важная места...

На следующий день под охраной взвода казаков высокопоставленные гости отправилась за город в психолечебницу. Иван Фёдорович Манасевич-Мануйлов шептал спутнице:

— Нащупать нить... Подходы нужны к логову, выявить пути, наметить, раскрыть, развязать. Но как, как?..

И графиня, и Манасевич слышали многое о новой окружной психиатрической лечебнице Томска. Говорили, что это — почти город...

Топорков встретил их на пороге центрального корпуса, поцеловал графине ручку, крепко пожал вялую кисть Манасевича. В своём кабинете он рассказал историю строительства клиники, показал планы, чертежи, привёл цифры.

— Грандиозно! — согласился Манасевич. — Мы восхищены! Поражены и так далее... Но мы господин профессор, хотели бы встретиться с некоторыми вашими больными, если это, разумеется, не отразится отрицательно на их здоровье. Например, мы хотели бы побеседовать с ламой, который, как нам стало известно, прибыл из Бурятского дацана и секретно содержится у вас.

Топорков не выказал удивления перед осведомлённостью гостей. Он мысленно вычленил тех сотрудников клиники, которые могли быть осведомителями. Но эта мыслительная работа никак не отразилась на лице профессора, он с приятной готовностью сказал:

— Считаю за честь лично вас познакомить с этим замечательным человеком. Они вышли в обширный сад, в глубине его укрылся отдельный особняк.

Возле него мелькали жёлтые халаты, бродили бритоголовые монахи, звучал молитвенный гонг. Манасевич попросил разрешения поговорить с ламой, от переводчика отказался. Оглядевшись по сторонам, он спросил ламу:

— Твои бритоголовые по-английски разумеют?

* *Пахитоска* — ароматическая дамская папироса.

— Не ручаюсь, но кажется, что никто английского не знает.

— Тогда давай говорить на эсперанто. Говори кратко всё, что знаешь о Бурятии, внутренней Монголии и Китае.

Манасевич слушал плохой язык эсперанто, чертыхался и записывал донесение ламы невидимыми чернилами на специальной бумаге. Что именно записал Мануйлов, кроме него никто не смог бы прочесть на целом свете. И мы этого тоже не узнаем никогда.

Возле кибитки возникла главнокомандующая пограничными силами России. Спросила:

— О чём толкуете, Иван Фёдорович?

— Да вот, он рассказывает, что после смерти мы можем стать либо кузнечиками, либо жабами, либо львами. Всё зависит от того, как мы ведём себя в нынешней жизни.

— Мы с вами станем змеями! — не без иронии сказала начальница пограничников.

«Ты будешь гадюкой, это точно!» — подумал Манасевич-Мануйлов, и, улыбувшись, сказал:

— Вы, графиня, конечно, станете чудесной жар-птицей!

— А вы бывали когда-нибудь в зоопарке на птичьем дворе? Там вонь стоит изрядная! — отвечала Матильда Ивановна. И добавила: — Я предпочла бы стать крокодилом и пожирать мужчин — за все унижения женщин, которые они терпят на этой земле.

— Ну, зачем же такая кровожадность, графиня? К тому же далеко не все мужчины унижают женщин, есть и те, что их возвышают!

Как бы между прочим, перешли в цокольный этаж, где находилась тюрьма на сто мест. Туда на экспертизу привозили заключённых из различных тюрем. Показали там гостям юного бомбиста Алексея Криворученко, который при виде гостей взвыл и сделал вид, что грызёт свои ржавые цепи.

В соседней клетке сидела Хиония Кузьминична Гусева, бывшая сожительница беглого монаха Илиодора Труфанова. Лицо её было испещрено бубонными язвами. Графиня дала ей конфеты, пирожные и иконку.

Но когда графиня начала её расспрашивать, Хиония возопила:

— Отстаньте, ироды! Заплюю гнилой слюной! Зазорной болезнью заражу! И в самом деле принялась плевать.

Иван Фёдорович Манасевич-Мануйлов и Матильда Ивановна не ожидали такого отпора. Подкупить дуру? Но — как? Стали советоваться с Топорковым — дело, мол, государственной важности. Профессор пояснил, что Хиония не притворяется, лучше её теперь не будоражить вопросами.

Из психолечебницы кавалькада направилась в университет. Манасевич был в чёрном смокинге и лаковых штиблетах, сиял набриолиненной причёской с безукоризненным пробором. Он ловко и элегантно представил свою властительную и загадочную подругу профессорам.

Учёные шептались в искусственном пальмовом саду:

— Надо же! Особа, приближённая к императору!

— А графиня-то! Пограничница! Главнейшая!

— Вот — выкресты! На какие высоты взобрались.

— Наверняка ещё выше метят.

— Да куда уж выше-то?

— Э, батенька...

— Где американцы снимают фильм? — осведомился Манасевич. Высоких гостей тотчас повели на кафедру Вейнберга.

Профессор был возбуждён. Его изобретение получит мировую известность. Но его смущал Потанин, который только что высказал ему свою точку зрения на происходящее. Он сказал профессору, что эта съёмка — по сути дела кража российского приоритета. Вот если бы Сибирь была отдельной страной, как Америка, тогда не потребовалось бы приглашать в Томск иностранцев. Теперь Потанин стоял в сторонке, скрестив на груди руки, и недовольно следил за стараниями американцев.

Высокие и тощие янки в меховых кепи с ушными клапанами, в куртках на меху и в ярко-жёлтых крагах, светили в павильоне магнием и трещали аппаратами. То и дело слышалось:

— О'кей!

— Снимают фильм «Дорогабудущего», — пояснил Манасевичу профессор Вейнберг. — Пришлось согласиться: после показа фильма в Штатах, возможно, какая-нибудь американская фирма профинансирует мои исследования, к сожалению, от российских министерств я не мог этого добиться. Все ссылаются на финансовые трудности в связи с этой проклятой войной. А это вот наш переводчик — граф Загорский.

— Очень рад! — изобразил улыбку Иван Фёдорович Манасевич-Мануйлов. Он безошибочно узнал в переводчике поляка. Эту нацию он интуитивно недолюбливал. Ибо считал, что поляки изворотливостью в некоторых делах превосходят евреев. Загорский смотрел на него доброжелательно и пристально.

Манасевич-Мануйлов прогуливался по павильону, делая вид, что ужасно заинтересован тем, как молниеносно в стеклянной трубе проносится модель поезда будущего. На самом деле его интересовало нечто другое. Он ждал.

Американцев было человек десять, они суетились с проводами, перетаскивали ящики с аппаратами, катали тележку, на которой в рупор покрикивал съёмщик фильма. Один оглянулся на Мануйлова и вышел во двор, Иван Фёдорович последовал за ним.

Американец сунул руку в рот, вытащил вставную челюсть, сжал в руках, челюсть щёлкнула, и у американца в руках оказалось удостоверение личности, отпечатанное на тончайшей бумаге, но украшенное самой настоящей печатью.

— Мой мандат вам не нужен? — спросил Иван Фёдорович Манасевич-Мануйлов по-английски американца, которого, судя по документу, звали Джоном Смитом.

— Почему не нужен? — сказал американец. — Очень даже нужен. Вы же знаете, что при нынешней технике можно подделать внешность любого человека. Можно из волос и грима создать Манасевича-Мануйлова или президента Джорджа Вашингтона, или, наконец, кайзера Вильгельма.

— Хорошо!

Манасевич нажал четырёхугольный рубин на своём перстне и извлёк из тайничка совсем уж малюсенькое удостоверение, но самое настоящее.

— Вот вам, дорогой мистер Смит, моё удостоверение. Вы можете убедиться, что я самый настоящий Иван Фёдорович Манасевич-Мануйлов, друг святого старца Григория Новых, что сегодня в России многое значит. А вот Смитов в Англии и Америке больше, чем звёзд на небе. Бьюсь о заклад, что на самом деле ваше имя совсем иное.

— Может, и так, но для вас это не имеет никакого значения, — отвечал Джон Смит, — из документа вы поняли, что я действительно представляю правительство Соединённых Штатов. Это главное.

— Хорошо! Мы встречаемся с вами в Томске потому, что Петербург теперь наводнён немецкими шпионами. Но у нас есть пословица: бережёного бог бережёт. Вражеские агенты могут быть даже в Томске. Приезжайте сегодня вечером к Хотимским, да заходите через двор сзади, через калиточку со стороны огорода, чтобы с улицы вас никто не видел. Это не обязательно, но желательно.

— Я понимаю, — отвечал американский агент.

Вечером, уединившись в роскошном кабинете хозяина дома, они продолжили беседу.

— Магнитные дороги Вейнберга — дело далёкого будущего, — говорил, попыхивая сигарой, Иван Фёдорович Манасевич-Мануйлов. — Я вот был вчера в томском отделении Союза русского народа. Идёт война, а наши русские юноши измусолили книги Жюль Верна. Библиотеки не успевают их латать. Я поставил перед юнцами ясные цели.

Правительства могучих держав тем более не могут быть бесплодными мечтателями. Сегодня, когда немецкие подводные лодки ползают в Атлантике, мы с Америкой имеем общие интересы. Нужен консорциум. Межконтинентальная железная дорога, которая должна пройти через Берингов пролив и соединить четыре континента: Америку, Азию, Европу и Африку. По сто пятьдесят километров в обе стороны от этой дороги должна быть отчуждена полоса в пользу консорциума. И он с лихвой оправдает расходы. В Сибири есть алмазы, нефть, запасы леса, редкоземельные элементы. Я берусь убедить нашего Государя заключить договор с банками Америки.

— Это очень, очень интересно! — сказал Смит.

— Мы предварительно считали! — кивнул Иван Фёдорович. — Переход через Берингов пролив — девяносто вёрст, глубина там не очень большая. Когда-то континенты были связаны между собой. Индейцы пришли в Америку из Сибири, именно по этому древнему пути пройдёт наша дорога, это будет величайшее событие в жизни землян.

— Да! Это американский размах! — подтвердил Джон Смит. — А скажите, вы часто встречаетесь с Николаем Вторым?

— В любой момент, когда мне это требуется. Для Манасевича двери дворца открыты.

И вы действительно являетесь автором «Протоколов сионских мудрецов» ?

— Да, я написал их. Это было дьявольское наущение. Но потом я отрёкся и стал православным, и достиг дружбы со святейшим человеком державы и с самим Государем.

— Я горжусь нашим знакомством! — заявил Джон Смит. — Очень жаль, что о нём нельзя никому рассказывать до поры.

— Да. Но Штаты должны дать мне письменное обязательство. В случае согласия русского правительства на консорциум американское правительство должно будет выплатить мне гонорар в сто тысяч долларов. Ещё я мог бы переговорить с Владимиром Карловичем Дротом, заведующим евразийской континентальной биодинамической станцией. Возможно, мне удастся убедить его переехать в Америку. Он утверждает, что может создать такое химическое оружие, что и Кайзеру не снилось. Я докладывал Государю, но он говорит так: «Я не кузен Вилли, я не буду воевать запрещёнными газами, я его одолею законными приёмами борьбы...». И царь не дал этому учёному на его исследования ни копейки. В Америке велик интерес ко всему новому, я готов за определённые комиссионные переговорить с нашими учёными. О цене моих услуг договоримся потом.

— О'кей! — кратко ответил мистер Смит.

15. Во «Дворце мёртвых»

Профессор Михаил Фёдорович Попов, создатель кафедры судебной медицины, заказал томским архитекторам строительство здания по образцу Лейпцигского анатомического музея.

Здание в белой берёзовой роще, неподалёку от речки Медички и чуть в стороне от других университетских корпусов, вызывало у томичей жутковатое любопытство. Именно сюда привозили криминалисты трупы на экспертизу. Помимо мертвецкой, в подвальной комнате разместился музей. Там под стеклом лежали отрытые на Воскресенской горе останки. Черепа пробиты, кости переломаны. Учёные изучили черепа, шлемы, кольчуги, копья, сабли, стрелы. Доказали: это — русские ратники, они обороняли крепость Томскую в семнадцатом веке. Не пощадили жизни своей, не отступили, не спрятались. В подвале была ещё небольшая часовня, и был при ней орган. Так что можно было отпевать покойников любого вероисповедания. Сторожем при мертвецкой и одновременно дьяконом и органистом был Иоганн Иоганнович Штрассер. В давние годы он попал в Петербург, убил из ревности одного своего соотечественника, был осуждён в каторгу. Отбыл срок, и местом поселения ему определили Томск. Он уже давно чувствовал себя коренным томичом. Иван Иванович, как теперь его называли, взял за обычай играть на органе всякий раз, когда лифт поднимал из мертвецкой в верхнюю прозекторскую залу какого-либо покойника.

Зала эта сияла кафелем и была ярко освещена электричеством. У стен стояли кадки с фикусами, пальмами и розами из ботанического сада. В тот поздний вечер находились там создатель кафедры судебной медицины и «Дворца мёртвых» Михаил Фёдорович Попов, его помощник приват-доцент Михаил Иванович Райский, санитар Николай Николаевич Бурденко. Был тут и профессор кафедры лечебной диагностики Михаил Георгиевич Курлов, учившийся во многих странах.

Создатель общества по борьбе с чахоткой «Белая ро-матнка», он читал лекции о борьбе с чахоткой прямо на вокзалах и базарах и носил на груди белую шёлковую ромашку. Присутствовал тут и граф Загорский, который живо интересовался всем неординарным и необычным, что имелось в старинном сибирском городе Томске.

— Коля! — обратился Попов к Николаю Николаевичу Бурденко. — Спуститесь, пожалуйста, вниз и подготовьте пассажиру к путешествию.

Бурденко спустился в подвал, и, завидев его, Иван Иванович, седой, с распущенными чёрно-седыми волосами, выпил рюмку перцовки и сел за портативный орган чикагской фирмы «Стори и Кларк».

Внизу Бурденко позвонил. Наверху Попов нажал кнопку электролифта, который тотчас пополз вверх. И сразу же раздались звуки органа.

— Ага! Наш Харон запел! — улыбнулся Попов. Возле ног учёного расползлись жалюзи, и из раскрывшегося прямоугольного отверстия поднялась мраморная столешница, на которой лежало обнажённое тело молодой женщины.

Мужчины все смотрели на него, пытаясь быть равнодушными, но никому из них это не удалось.

— Чёрт возьми! — прервал молчание Михаил Иванович Райский. — Я никак не мог выделить из своих обычных расходов сумму, которая позволила бы мне посетить ресторан гостиницы «Европа» и послушать румынский женский оркестр. Я слышал легенды о красоте этой первой скрипки, и мечтал её видеть. И что же? Я её вижу, и даже обнажённой. Но нет, не радость вызывает это у меня, а сожаление. Печаль, если хотите.

— Мы — медики, и в данном случае должны смотреть на тело с медицинской точки зрения, — сказал Попов. — Подайте мне, пожалуйста, скальпель! — Он обернулся к Загорскому: — Граф, вам, может быть, неприятно будет это видеть?

— Чем больше видишь, тем больше знаешь, — ответил граф, — меня интересуют разные науки, не знаю почему, но мне всегда хотелось видеть все стороны жизни.

Учёный делал надрезы, отворачивал ткани тела, он ковырялся в теле мёртвой женщины спокойно, словно огородник в своей грядке.

— Прежде всего, имел место половой акт, может, не один раз. Судя по ранке на её шее, по обескровлению, умерщвлена путём укуса в шею и высасывания крови, после очередного сеанса любви. Такой смертельный поцелуй. Потеряла много крови. Пыталась сопротивляться, на запястье правой руки синева и ссадины. Вообще имела хорошее здоровье, хорошие сердце и лёгкие, в порядке зубы, пищевод, желудок и печень, и мышцы упругие — могла бы долго жить...

Закончив осмотр, Михаил Фёдорович пошёл к рукомойнику и сказал Райскому:

— Михаил Иванович, занесите всё, что нужно, в протокол и зовите следователя. Вошёл следователь Хаймович, карие глаза и орлиный нос его выглядели зловещими, но заговорил он неожиданно тонким детским голоском:

— И что мы имеем с вашим заключением, господа эксперты? Тэк-с, почти таем. Ваше мнение совпало с моим полностью. Я уже пятнадцать лет следователя, и впервые сталкиваюсь с вампиризмом. Как вы думаете, господа, откуда да это берётся, такая гадость?

— Я где-то читал, что это бывает врождённое. Впрочем, учёные люди, возможно, меня опровергнут, — сказал граф Загорский. — Вообще-то было бы интересно посмотреть на человека-вампира. Надеюсь, что господин следова тель нам такую возможность предоставит.

Попов пояснил:

— Природа этого явления учёными ещё до конца не распознана. Есть пред положения. Скажем, знаете, бывает волк-людоед. С чего начинается его лю доедство? Он каким-то образом отбивается от стаи, от мест, где находил при вычный для себя корм — оленей и прочее. И ему встречается беспомощный ребёнок, которого он загрызает. Он узнаёт вкус человечины. И потом уже от него можно ждать новых нападений на людей. То же и с вампирами. Возмо ж но, в детстве подружка попросила его высосать кровь из ранки на пальце. Вы сосал. Вкус крови понравился. И он уже не может его забыть. Но это только гипотеза. Михаил Иванович, накройте, пожалуйста, тело.

— Нет! — возразил следователь Хаймович. — Не накрывайте! Я сейчас при глашу сюда своего вампирчика, пусть полюбуется на своё художество!

— Дементьев! Введите арестованного! — крикнул Хаймович, приоткрыв дверь в коридор.

Дюжий конвоир ввёл тощего, бледного юношу. Он взглянул на тело, вскричал:

— Бела! Бела!

— Смотри. Смотри, негодяй, что ты с ней сделал! — тряс его за плечо Хаймович. Юноша ничего не ответил, он вдруг рухнул на пол.

Райский наклонился, приподнял веко, сказал:

— Обморок, надо ему дать понюхать нашатырного спирта. Кто он такой? Кто он, загубивший артистку Белу Гелори, будучи хлипким и слабонервным?

— Он — младший приказчик из магазина Второва, Николай Зимний.

— Неужели? Разве может быть преступником такой юный и нежный? — удивился Попов. — Может, вы ошибаетесь?

— Доказательств у нас более чем достаточно, — возразил Хаймович. — И свидетели есть, так что не откроется.

Попов сказал:

— Жаль мальчишку. Ей-богу, есть что-то у него в лице такое... благород ное. Надо сказать Топоркову Николаю Николаевичу, пусть проведёт психиатрическую экспертизу. Если он даже вампир, это — мания, болезнь. Так уж лучше ему в психолечебнице быть, чем в тюрьме.

— Мне тоже почему-то очень жаль этого юношу, — сказал граф Загорский. — И мне тоже не верится в его виновность. В любом случае его надо спасти от тюрьмы, хотя бы с помощью Николая Николаевича.

— Он приютский! — пояснил Осип Хаймович. — Правильно говорят, что из хама не выйдет пана. Его уже никто и ничто не спасёт.

— Ваш брат в каждом человеке видит преступника, и это можно понять: каждый день — одно и то же! — обратился к следователю молчавший до сей поры Курлов. — Дикость, грязь, мерзость.

— Вы тоже каждый день делаете грязную работу. Чтобы ликвидировать за раз, вы прижигаете её спиртом, йодом, или ещё бог знает чем. Если бактерии не ликвидировать вовремя, человечество вымрет. Считайте, что мы — тоже санитары.

Хаймович, конвоир и арестованный удалились. Попов нажал кнопку лифта, раскромсанная Бела Гелори уехала на лифте вниз, и жалюзи закрылись. Казалось, что в этой зале никогда никакой покойницы не было.

Внизу молодой стажёр Николай Бурденко зашивал всё, что вспорол профессор. Закрашивая специальным составом шрамы и синяки, приводил Белу Гелори в такой вид, чтобы её похоронить было не стыдно. Хвативший с полстакана перцовки Штрассер с силой обрушил десять пальцев на клавиши органа, выжимая из них фугу Иоганна Себастьяна Баха. Он играл, и была в этой музыке безмерная грусть о жизни прекрасной, неповторимой, и неумолимо проходящей, как сон. Величие и тщета. Божественная красота и дьявольский смрад и ужас. Они рядом. И ничего нельзя вернуть, воскресить. И гнев но, и торжественно вздыхали аккорды, и сипло хрипели меха, и какая-то звезда в этот миг покатила за окошком с ночного неба.

16. Семейная скорбь

Где-то гремела война, но её грохот докатывался до Томска лишь стуком инвалидных костылей на томских мостовых да возрастанием базарных и магазинных цен. Манасевич-Мануйлов и Матильда Ивановна с первыми морозами отбыли в Петербург — хлопотать на самом вершине пирамиды за тех, кто за хлопоты заплатил. А кто и как платил, и за что — всё это выдохнули паровозы вместе с клубами морозного пара. Вообще в сильные морозы в Томске стоит туман. Как бы в тумане растаяла и эта удивительная пара. Но некоторые следы пребывания всё же оставила.

В Валгусовской библиотеке состоялось собрание местного отделения Союза русского народа. Раздавали новым членам привезённые Манасевичем-Мануйловым специальные значки. Среди членов ячейки было много грузчиков, извозчиков, мелких лавочников. Были хмурые мужики, только что вышедшие из тюрьмы. Были некоторые местные бакланы. Среди них и Аркашка Папафилов, с гордостью нацепивший новый значок. Шли такие разговоры:

— Краснофлажники после 1905 года приутихли, а ноне опять поднимают головы. Всё студенты, всё еврейски проклятые! Сколько их лавок разбили в девятьсот пятом, девятьсот шестом, а они, смотри, новые магазинищи понастроили, больше прежних. Не иначе — немцам нас продают. Ох, креста на них нет! Христопродавцы! Манасевич-то господин — друг самого Григория Ефимовича, к царю-батюшке ходил, тот ему так и сказал:

— Чуть чего — громите!

Саввушка Шкаров в девятьсот пятом году немало побил очкариков, выскакивавших из горящего здания театра Королёва и железнодорожного правления. Савва этот пограбил еврейские аптеки так, что теперь купил скобяную лавку. Он развивал каждый день свою и без того чудовищную силу тасканием ящиков с железом. Подняв большим пальцем двухпудовку, он сказал:

— Чуете? Силёнка есть! Защитим Государя от изменщиков и шпионов. Не только пархатых, но и полячишек будем бить. Они наворовали там, в Польше, золотишка из разбитых банков. А все деньги нашим русским потом заработаны!

Долго, кто как мог и как умел, ругали всяких врагов, внешних и внутренних, пели: «Боже царя храни», собирали деньги в пользу инвалидов войны, а также для помощи вдовам и сиротам.

В то же самое время на Войлочной заимке, за речкой Ушайкой, в доме Бабинцева проходил всероссийский съезд мазуриков. Понятно, что блатяки и знать ничего не знали о Союзе русского народа. Они пытались создать свой союз. И съехались сюда паханы, люди в законе. Съехались и воры разных специальностей, чтобы показать своё искусство.

Как всегда, почётом пользовались опытные карманники. А они подразделялись на множество категорий. Кто-то работал только вдвоём — ширмачи, а кто-то — только в одиночку, — щипачи. Один потрошил карманы, прикрывая лицо жертвы пышным букетом, другой отвлекал внимание клиента другим приёмом. Разных методов можно было насчитать несколько сотен.

Татарин Ромка, например, срезал у барынь ридикюли, одновременно подвешиваяк ремешкам ридикюля «куклу», то есть матерчатый узелок с песком, по весу примерно соответствующий срезанной сумке. Барыня потом ещё некоторое время ходила с этим «подарком». Прохожие начинали смеяться, тогда она и обнаруживала, что ограблена. Случалось, что Ромка ради шутки накладывал в свой подкидной узелок дерьма. И приглашал урок наблюдать, как он прицепит такой узелок вместо сумки самой модной барыне в магазине второвского пассажа.

Томские воры могли многим похвастать перед приезжими.

Здесь, в доме Бабинцева, собирались на сходки воры самых разных специальностей. Такие, как Аркашка, работавшие на бану*. Были поездные воры. Они считали высшим шиком ограбить едущего в поезде офицера. Для этого стягивали со спящего сапоги. Но не совсем, а лишь наполовину. Затем надо было взять чемодан данного офицера, разбудить его и сказать: «До свидания». Он вскакивал и тут же падал. Пока полусонный офицер разбирался со своими сапогами, вор выбегал в тамбур, отпирали тамбурную дверь специальными ключами и спрыгивал с поезда на ходу с чемоданом в руке.

Специальная воровская комиссия выезжала вечерним поездом из Томска, и ехала до станции Тайга, до которой поезд шёл четыре часа. И где-то в пути экзаменуемый вор проделывал вышеописанный трюк. Работу томского поездного вора комиссия признала отличной.

В горнице Бабинцева было поставлено чучело, одетое в пиджак и брюки, с карманами, полными денег, и увешанное колокольчиками. И нужно было обокрасть это чучело так, чтобы не звякнул ни один колокольчик. Придумали это, конечно, не сами. Слямзили из известной картины «Школа воров».

Вместе с другими мазуриками выступил и Аркашка Папафилов со своей подручной девчужкой Кристинкой. Он и сюда успел! Союзнародовский значок Аркашка пока спрятал в карман. Настоящим ворам запрещается носить какую-либо форму и вступать в какие-либо организации. А уж если человек в армии служил, или в пожарниках, такого воры со своей сходки сразу бы на пинках вынесли.

Бандита Цусиму на свой собор воры не пригласили. Настоящие воры бандитов как-то недолюбливают. Вообще воры с Войлочной заимки жили с бандитами в соседстве, общались, устраивали совместные вечеринки и картёжные игры. Но на всероссийский воровской сходняк приглашать бандитов было неуместно.

Аркашка пришёл в воровскую компанию с девчушкой, и показывал не только захват чужих чемоданов, а ещё удивительнейшие картонные фокусы, за что и получил от воровских старейшин поощрительную премию. Выбрать единого пахана на всю Россию не удалось. Выработали такую формулу: «Ростов — папа, Одесса — мама, а Томск — их скрёбанный сынок». На съезде было много поляков-марвихеров, картонных шулеров, они потребовали присоединить к девизу такую фразу: «А Варшава — его родная тётя». Москву и Петербург, несмотря на протесты столичных представителей, решили вообще не считать, потому что они там все «шибко умные». Действительно, чего в столичных городах не воровать. Там всегда можно укрыться от крючков, а фраеров там не мерянное и не считанное число. А вы попробуйте воровать в Томске, где люди все сами — или ссыльные, или беглые, или отбывшие каторгу бывшие кандалники! По всем этим причинам избрали четырёх главных: дядю Костю из

* На бану — на вокзале (*воровской жаргон*).

Ростова, дядю Петру из Одессы, дядю Васю из Томска и дядю Казю из Варшавы. Хотя дядя Казя был вроде как беженец и жил теперь в Томске временно, на птичьих правах, но надо было уважить польский народ.

Конечно, не обошлось без выпивки. Войлочная заимка — место живописное, здесь маленькие домишки теряются в деревьях и кустарниках, речка, овраги и холмы придают округе живописный вид. Воры наслаждались общением, хвастовством, рассказами о разных хитрых делах и случаях. Играли в карты покрупному. С речью ко всем обратился дядя Петра из Одессы, он, между прочим, сказал:

— Каждый, кто ворует, должен устремляться стать честным вором. Ге! Это, как говорят у нас в Одессе, просто, как баклажан! Честный вор никогда мешки грузить у порту не станет, и лопату в руки не возьмёт. Честный вор не променяет нашу воровскую малину ни на какую маруху, не прилипнет к её тыльному месту по гроб жизни. Честный вор, если проиграет в карты, обязательно заплатит, или пусть хоть утопится у Чёрному мори! Да что я вам тут долго буду балакать? На меня гляньте, и вы увидите того честного вора! Всё!

В эту зиму афиши на круглых тумбах и газетные объявления приглашали томичей в Общественное Собрание на концерты знаменитого солиста императорских театров Владимира Касторского. Многие воры тоже пожелали услышать знаменитый «бархатный» бас. Скупиться не стали, купили втридорога места в центре второго и третьего ряда, где обычно сидит местная знать.

Сначала выступил Николай Морозов — писатель, поэт, астроном, народо-волец-бомбист, отсидевший в крепости двадцать лет, большой друг Потанина. О его жизненном и творческом пути рассказал сам великий сибирский просветитель.

Потанин стоял на сцене уверенно, непринуждённо. Костюм самый простой, брюки не глажены, воротник пиджака задрался. На голове — колтун, борода — клинышком, широкий нос, маленькие глаза — за круглыми очёчками в простой оправе. Однако же аудиторией овладел мгновенно. Гадалов, Попов, Смирнов, Голованов, Валгусов и другие богатеи смотрели на него с некоторым недоумением. Странный человек. Из казаков, а по службе далеко не вышел. По степям и горам зачем-то лазил, а золотишка вроде не нашёл. Денег не накопил. Бунтовал. А в городе его многие уважают. За что?

Когда Григорий Николаевич сказал, что недавно Морозова избрали профессором Томского технологического института, сидевшие в зале воры бурно зааплодировали. Дескать, этот человек тоже сидел в тюрьме, значит, он нам сродни!

Григорий Николаевич сошёл со сцены в зал, сел в первом ряду. На сцене появился знаменитый бомбист с женой, которая сразу же села за беккеровский рояль.

Морозов читал «Звёздный» цикл стихов, а жена при этом играла на рояле. Воры мало чего поняли, потому что речь шла о туманностях Андромеды, о глубинах Вселенной. На всякий случай похлопали поэту-бомбисту, когда он принялся кланяться. Уважали за то, что против закона пошёл, дескать, в этом мы схожи.

Морозовы исчезли, а на сцене возник элегантный антрепренёр и рассказал о творческом пути певца Касторского, о его многочисленных заслугах, о том, что сам царь ему пожаловал серебряный сервиз со специальными монограммами. По словам антрепренёра выходило, что Владимир Касторский первый в мире певец после Шаляпина и Карузо.

Наконец появился и сам со своим столичным аккомпаниатором-евреем. Касторский запел, и сразу стало ясно — да, голос! Но ещё было и огромное чувство в его исполнении. Оно приводило сидящих в зале в трепет. Когда Владимир Касторский исполнял «Элегию» Массне, то на глазах у зрителей и у самого певца были слёзы.

Потом свет в зале и на сцене стал меркнуть, и в полутьме зазвучала ария Мефистофеля из оперы Шарля Гуно:

— Люди гибнут за металл... Сатана там правит бал, там правит бал, Сатана там правит бал, там правит бал!... Люди гибнут за металл...

Касторский гневно и страшно рассмеялся, шёлковый просторный плащ взмывал за спиной певца, как чёрные крылья, и казалось, что вместе с дьявольским хохотом изо рта Касторского вырывалось пламя. В зале многие ощутил и ужас.

В антракте томские меломаны — профессора и некоторые купцы — переговаривались удивлённо. Гадалов сказал Второву:

— Я слушал Касторского в Петербурге, в Москве, в Томске он тоже поёт не впервые, но такого чувства, такой подлинной грусти и тоски и гнева в его исполнении я прежде никогда не слышал. Что с ним случилось?

Второв пожал плечами.

Воры слышали этот разговор. Аркашка Папафилов шепнул своим:

— А ведь я у этого певца увёл на бану чемодан, а в том чемодане был и тот самый сервиз, о котором говорил этот кучерявый антрепренёр. Да ещё — фамильное серебро, фотокарточки каких-то женщин в серебряных оправках. Вот почему у него в голосе — настоящая тоска.

Дядя Костя спросил:

— Сервиз-то уже замыл? *

— Да нет, я его себе оставил, больно хорош.

— Отдай! — сказал дядя Костя.

— Потом когда-нибудь! — сказал Аркашка Папафилов. — А то я отдам сервиз, а он петь станет плохо. А я буду ходить на его концерты, пока он не уедет из Томска, наслаждаться буду. А перед отъездом ему в гостиницу этот сервиз подбросим.

— Хорошо придумал! — похвалил Аркашку дядя Костя. — Лакшово!" Я думаю, даже и в Ростове таких толковых воров совсем немного...

17. Сладкого захотелось

Шёл апрель 1916 года. На Почтамтской и на Миллионной улицах все магазины закрылись. В окнах магазинов Гадалова, Голованова, Смирнова и других купцов, помельче, были вывески:

САХАРУ НЕТ, И НЕ ОЖИДАЕТСЯ

Толпы бурлили возле главных магазинов города. Были тут рабочие немногочисленных томских фабрик и заводов, работники типографии Макушина, некоторые служащие, много женщин. Слышались крики:

— Кровопийцы! Наши мужья и сыновья гибнут на фронте, а нам даже сахару к чаю не дают!

— Ломайте двери! У них есть на складе!

— Ломайте! — надрывался Аркашка Папафилов. — Крокодилы! Эксплуататоры! Изверги трудового народа!

Воры всегда появляются в толпе во время подобных заварух: вдруг да и удастся чем-нибудь поживиться.

Тут же был и Саввушка Шкаров, на груди у него висела ладанка, в которой была зашита бумага с таким текстом:

* Замыл — продал. (*Воровской жаргон*).

** Лакшово — прекрасно. (*Воровской жаргон*).

«Настоящим удостоверяется, что Савва Игнатьевич Шкаров является русским патриотом и имеет благославение Григория Ефимовича Новых на уничтожение всех врагов Российского престола и православия. Что и удостоверяется.

Манасевич-Мануйлов ».

Савва по утрам крестился двухпудовкой не менее двадцати раз. Руки у него были такие, что мог лом согнуть. И хоть он и сам был собственником, всегда был не прочь пограбить чужое добро. Он просунул пальцы под железные шторы на

окнах, поднатужился и сорвал их. Тут же булыжниками вышибли толстое бемское стекло. Аркашка одним из первых влез в бакалейный магазин Голованова. Сразу кинулся к кассе. Чёрта с два! Пусто! И никаких товаров в витринах или на полках. Вот проклятые купчишки! Всё предусмотрели. Аркашка схватил с прилавка весы — пригодятся; правда, гири куда-то попрятали. Да некогда тут разбираться, надо ноги уносить, пока конная полиция не подоспела. Аркашка выскочил с весами в проулок, и только его и видели.

Ваня Смирнов в это время ехал в лёгкой коляске по весенней грязи в сторону психолечебницы. В кармане на случай у него лежал револьвер, в большом крокодиловой кожи портфеле были две чёрных бутылки с французским вином, несколько колец колбасы, белый хлеб. Ваня ехал навестить несчастливую дружку своего, Колю Зимнего. Его обвинили в страшном убийстве, потом признали невменяемым и отправили в эту самую лечебницу.

И вот — показались строения больничного городка в сосняках и кедрочах. Кучер осадил коня возле парадного входа. Молодой Смирнов сбросил пальто на руки подбежавшему швейцару и поднялся по лестнице к кабинету профессора Топоркова. Попросил сестру милосердия доложить.

Через минуту профессор Топорков уже встречал Ваню на пороге своего кабинета.

— Иван Иванович! Дорогой! Какими судьбами? Неужто вас заинтересовала медицина?

— Не называйте меня с отчеством, Николай Николаевич, молод ведь ещё. Я приехал к другу. У вас находится Коля Зимний, мы с ним дружны, что с ним, как его здоровье?

— Ну, можно сказать, что он относительно здоров, мы его наблюдаем. Вы хотите с ним встретиться?

— Не только встретиться, но прокатиться по бору на извозчике.

— Покататься вам с ним, к сожалению, не придётся, он ведь у нас находится в арестантском отделении, под охраной, и выпускать его оттуда нельзя. Вас туда я могу проводить, и беседуйте с ним, сколько душе угодно!

— Но, Николай Николаевич, Коля ни в чём не виноват, я ручаюсь, на него возвели напраслину.

— Ну, ручаться ни за кого нельзя. Бывает так, что человек что-то делает в состоянии аффекта, потом сам ничего не помнит. Бывает, на людей затмение находит. Болезнь такая.

— Эх! Николай Николаевич! Болезнь! Вы слышали, что ещё двух жительниц Томска постигла судьба Белы Гелори? Нет? Ну, так я вам скажу. Два дня назад нашли ещё одну девушку из румынского хора с такой же ранкой на шее, обескровленную. И сегодня нашли служанку Ковнацких, умерщвленную всё тем же способом. А между тем Коля Зимний сидит у вас под охраной. Он не отлучался в эти дни из лечебницы? Нет? Так как же всё это объяснить? Вы и теперь будете считать Колю виноватым?

— Обвинять и оправдывать — дело суда и полиции. Моё дело лечить. Коля сюда направлен по решению суда.

— Николай Николаевич! Дайте же вы ему подышать свежим воздухом! Отпустите на прогулку, под мою ответственность, хотите — расписку напишу?

— Но, Иван Иванович, вы меня ставите в затруднительное положение. Если Зимний поедет с вами кататься и сбежит, мне никакой вашей распиской не оправдаться. — Да не сбежит он! Я его успокою, расскажу, что и после его заточения случаи нападений на женщин продолжаются.

— А вот это ему говорить нельзя! Ни в коем случае! От этого его болезнь только обострится.

— Да нет у него никакой болезни! Я же знаю.

— Этого никто не знает, — сказал профессор, — психические отклонения могут быть у совершенно здоровых людей. В сущности, все люди — психи и шизофреники, только в разной степени.

— Эта ваша теория только подтверждает, что Коля — нормальный человек.

— Ладно, уговорили, разрешу я вам с ним покататься по бору, только про новые убийства вы с ним не говорите, дайте честное слово.

— Даю.

Уже через минуту они забрались в коляску. Коля отвык от свежего воздуха, отвык от своей обычной одежды. После больничного халата ему было странно надеть костюм и пальто. Он втягивал голову в плечи, словно ждал удара, согнулся, обвис, словно из прежнего бодрого и стройного юноши вытащили стержень.

— Вот мы и встретились! — сказал Ваня. — Я бы заехал к тебе и раньше, да папаша меня торопил с подготовкой к свадьбе, всех загонял, и мне не давал ни минуты роздыху. Давай-ка там вон на скамье садовой закусим, я прихватил всё, что нужно. Может, вино тебя взбодрит.

Они прихлёбывали вино из чёрных бутылок, жевали колбасу и ситный.

— Ты женишься, и ты будешь счастлив, и я тебя поздравляю! А я конченный человек, псих, дурак! На мне пятно на всю жизнь, да я, может, и сгнию в этих стенах... — заговорил Коля, когда вино произвело некоторое оживляющее действие.

— За поздравления спасибо! — сказал Ваня. — Но эта свадьба совсем некстати, мне и жениться вовсе не хочется, только воля батюшки. И теперь я очень хочу помочь тебе. И есть у меня все основания думать, что скоро тебя отсюда отпустят. Может, я в тот момент буду не в городе, может, меня батюшка по делам за Урал пошлёт... Так вот... возьми этот бумажник... Тут столько денег, что ты сможешь жить достойно.

— Но на мне пятно на всю жизнь, меня нигде не примут в службу!

— Это кажется, поверь мне, я знаю обстоятельства, ты скоро будешь полностью оправдан.

— Как хоронили Белу?

— К чему тебе? Её не вернёшь, ты молод, ты встретишь ещё женщину. Хоронили её хорошо. Два румынских оркестра, мужской и женский, скрипки так и разрывали сердца на части. И провожали весьма достойные люди, в том числе сам арендатор второвской гостиницы господин Алифер!

— Ну, спасибо тебе, Ваня, за то, что навестил, а деньги я не возьму. И дело не только в том, что я не смогу потом отдать долг, но куда же я дену эти деньги в тюремном подвале за решёткой?

— Я отдам бумажник Николаю Николаевичу Топоркову, а в день выписки он тебе его вручит. Ты не веришь, что тебя скоро выпустят? Не сомневайся ни минуты! Я знаю.

— Ты — знаешь. А я своей жизни впереди не вижу. Когда я был мальчиком-грумом, однажды на досуге забрёл я на Вознесенское кладбище. Ты помнишь, какие там роскошные усыпальницы богаческие. Плачут над склепами ангелы, всё сияет позолотой, чудными витражами. Надписи сплошь в стихах: «Прохожий, не топчи мой прах, я — дома, ты — в гостях». И барельефы высечены из белого и чёрного мрамора. Белый ангел и чёрный, а меж ними — душа, она так растерянно смотрит. И маленькая такая, контуром обрисованная, непонятная. Я кладбищенского сторожа спросил — отчего, мол, душа-то такая жалкая. Тот сторож — спившийся священник бывший. Очень затейливо говорит. И он сказал мне: мол, кто видел душу? Никто. Вот она и контурная. Она знает, что ей предстоит предстать перед судом, потому и напугана. Почему она маленькая? Она — душа, ей тело не нужно, она маленькая может вместить в миллионы раз больше, чем тело! Вот! Так сказал!

А я нередко после в пантеон этот приходил. Дивно! Тут богачи. А вдоль ограды древние казачьи захоронения. Простые высоченные кресты. Запомнилась фамилия Волшанинов. Почему? Не знаю. Может, волхвы в ней слышатся. А дальше — еврейское кладбище. Те, чудачки, ветки сосен так подстригли и подвязали, что они стали на пальмы похожи. Ну какие же пальмы в стране сорокаградусных морозов? А ещё дальше — утопленники и удушенники отдельно похоронены. И вот там-то я и услышал эту кукушку. И попросил её прокуковать мой век. Она враз умолкла да и кинулась мне в ноги, так стремительно, что я отскочить не успел. Ударилась о мои колени, вспорхнула и расхохоталась, как женщина. Ну, птицы так не умеют смеяться. Я думал — где-то женщина в кустах притаилась, обшарил всё вокруг — никакой женщины не увидел. Вот и думаю иногда: почему эта кукушка именно в том месте кладбища встретила? Почему мне век куковать не стала, а рассмеялась человеческим голосом и исчезла? Может, и я стану утопленником или удушенником? И, возможно, скоро?

— Брось, Коля! Это — нервное. Ты столько пережил — смерть любимой женщины, ужасное обвинение, тут как в расстройство не прийти? Но теперь-то всё будет хорошо, поверь мне...

Они вернулись в назначенный час в клинику. Конвоир отвёл Колю в подвал, а Ваня прошёл в кабинет к Топоркову. И оставил у него деньги для передачи другу в день выписки.

— Вы так верите в его скорое освобождение? — спросил Топорков.

— Как в то, что солнце завтра обязательно взойдёт на востоке.

— Что ж, я этому тоже буду рад! И солнцу! И выздоровлению Коли Зимнего, и вашей женитьбе, которая, как я слышал, на днях состоится.

— Да, и я знаю, что вы папой тоже приглашены на свадьбу. И буду рад вас там видеть.

Возвратившись в город, Ваня увидел бежавшего по улицам мужика с мешком на горбу, за мужиком гнался городской, размахивая револьвером:

— Стой, кому говорю! Стой, стрелять буду!

Мужик только добавил ходу. Тяжело дышавший городской дважды выстрелил. Мужик продолжал бежать, но из образовавшейся в мешке дырки тонкой струйкой сыпался сахар, и сахарный след вилял в разные стороны, сообразно с бегом мужика. Было видно, что сахарная струйка сперва побурела, затем покраснела. Мужик бежал всё медленнее, потом упал.

— Что происходит? — спросил Ваня, остановив пролётку возле городского.

— Головановский склад подломили, сволочи...

18. По особо важным делам

Поезд, с которым граф Загорский выехал из Москвы, отправлялся ночью. Ехавший в этом же купе господин сразу стал укладываться спать. Поэтому граф счёл за лучшее тоже предаться Морфею. А когда проснулся, в окно заглянуло солнце.

Граф глянул в окно, увидел быстро убегающие в небытие перелески, берёзовые колки, и под монотонный стук колёс в ушах графа зазвучал романс. И чувство радости и грусти охватило его одновременно. Так всегда бывало с ним в дороге.

Увидев, что сосед по купе проснулся, граф сказал:

— Не правда ли, что в таких поездках в человеке оживает атавистическое чувство, смутное воспоминание о тысячелетних поисках, о дальних кочевьях, обретениях и утратах?

Господин в ночной шапочке и атласном халате сказал: — Не задумывался над этим, а вы, кажется, поэт.

— Вы мне льстите, — сказал граф, — я всего лишь чиновник не очень высокого ранга в не очень большом губернском городе. Вы, я вижу, весьма привычны к путешествиям, не забыли даже и шапочку, и халат.

Сероглазый крепыш потянулся так, что кости у него хрустнули, и ответил:

— Да, я езжу часто. И теперь еду довольно далеко, потому и подготовился.

— Я тоже еду не близко, — сказал граф, — может быть, даже дальше вас.

— Куда же именно?

— В Томск!

— По пути! — сказал сероглазый. — Сообразим чайку? Чай помогает скрасить дорогу. Чаепитие — русская забава. Раньше, говорят, самовары в купе подавали.

— Я могу предложить кое-что кроме чая, — похвалился Загорский, — га-ванские сигары, банановая водка из Сингапура, портвейн «Порто».

— Вот так скромный чиновник!

— У меня в Польше было много земель, теперь там немцы, а я переселился в Сибирь. Но имею богатых родичей в Швейцарии и Италии, и в других странах. Я — граф Загорский Георгий Адамович, чиновник губернского правления.

Попутчик пожал ему руку, назвав себя:

— Следователь по особо важным делам Кузичкин Пётр Иванович.

— Могу ли узнать, Пётр Иванович, с какой целью едете в нашу глухомань?

— В вашей глухомани происходят дела, о которых давно не слыхивали в обеих российских столицах. У вас произошло уже шестое загадочное убийство. Кто-то прокусывает горло молодым особам во время любовных ласк, и высасывает кровь. И пока нет никаких концов. Преступника вроде нашли и даже осудили, а убийства продолжают. Следователь Хаймович, видимо, пошёл по ложному пути.

Ваш губернатор обратился за помощью к нам, в Москву. Теперь много людей гибнет на войне, и к этому привыкли. А вот такой случай, в таком далёком от войны городе, волнует и возмущает обывателей. И начальство вынуждено принимать меры.

— Я готов по прибытии в Томск содействовать вам всем, чем только смогу!
— сказал Загорский.

На столике появились портвейн, колбаса, собеседники приступили к завтраку.

— За успех вашей миссии! — поднял свой бокал Георгий Адамович.

— Спасибо! — ответил Пётр Иванович, и спросил:

— А каково вам живётся в холодной Сибири?

— Вы знаете, совсем неплохо! Люди в университете — просто уникамы, редкой величины алмазы. Я со своей лёгочной болезнью немало помотался по европейским курортам. Лечили меня известные во всём мире светила. И — никакого толка. А в Томске живёт профессор Михаил Георгиевич Курлов. Этот человек сотворил волшебство! Моя лёгочная болезнь стала отступать. Профессор создал общество «Белая ромашка». Именно по делам этого общества я нынче и ездил в Москву.

— Почему — «Белая ромашка»?

— Ну, может, символ чистоты помыслов. Весной новым членам общества прикалывают на грудь большую шёлковую ромашку с ярко-жёлтой серединой, снежно-белыми лепестками. Ромашка эта достаётся тем, кто пожертвовал на дело борьбы с чахоткой хорошие деньги, или как-то иначе содействовал борьбе с этой болезнью.

Представьте: всё в цвету — черёмуха, сирень... А тут — оркестр, плакаты, доклады. В садах, на площадях, на базарах. Тут же раздают беднякам таблетки, мыло, дают советы, как лечиться.

Михаил Георгиевич курирует детский санаторий в прямостойном бору за городом, он читает бесплатные лекции сестрам милосердия в обществе Красного Креста. Из дворян. Такой, знаете, типичный русак. Беловолосый, голубоглазый. Изящен. Почти всегда — фрак, галстук-бабочка. Учился в Мюнхене и в Берлине, стажировался во Франции. Я ему буду вечно благодарен, ибо он по сути дела спас мне жизнь. Приедем в Томск, я вас с ним обязательно познакомлю. Да и со многими другими светилами. Кстати, Пётр Иванович, не желаете ли вступить в общество «Белой ромашки»?

— Я не против, но я пока ничем не заслужил такую честь! — улыбнулся Пётр Иванович. — Вот уж поработаю в Томске, тогда видно будет. И вы говорите, в Томске теперь много поляков?

— Много. Но ещё больше их в Новониколаевске. Там теперь как бы сибирская Варшава. Весь город говорит и поёт по-польски. Всюду — конфедератки на проспектах.

— А чем же так привлёк поляков сей город?

— Да он на основной железнодорожной линии, а Томск как бы в тупике, на ветке. Вот и осели в Новониколаевске. Надеялись, что русские удальцы быстро выбьют немцев из Польши, и можно будет ехать обратно.

— Значит, Новониколаевск перенаселён? А как обстоит с этим дело в Томске?

— Да вообще-то все квартиры и гостиницы набиты битком, за исключением разве сверхдорогих гостиниц. Таких, как «Европа». Впрочем, для вас, конечно, всегда найдётся хорошее жильё, я сам берусь всё устроить.

— Я не это имел в виду. Я имел в виду не жильё, а жульё. Жульё у вас много? — Чего доброго, а этого хватает.

— И бандиты есть?

А как же? Место ссылки и поселения каторжников, а тут ещё с Запада понаехали толпы неизвестных лиц. На меня лично напали за городом, еле ноги унёс, хорошо, конёк в коляску запряжён был добрый. Будь лошадка поплоше, не беседовал бы я с вами сейчас. Но, конечно, в город приехало много достойных людей. Знаменитые поэты, музыканты, художники, певцы. Недавно Касторский пел, так полгорода на его концертах рыдало. И театральные труппы приезжают великолепные.

— Меня, Георгий Адамович, теперь интересуют не труппы, а трупы! — опять скаламбурил Пётр Иванович. — Так что я начну с трупов, а если останется время, тогда и с труппами будем знакомиться. А вообще, я вам заранее благодарен за обещание поддержки. Поверьте, если вы пожалуете потом когда-нибудь в Москву, то я в долгу не останусь. Я вам оставлю свой адрес...

Собеседники вышли в тамбур и задымили там ароматнейшими гаванскими сигарами.

19. В доме под кедром

Федька Салов, сидя в подвале за решёткой в арестантском отделении психолечебницы, всё время просился на прогулку. Иногда в подвал приходил профессор Топорков, тогда Федька падал перед ним на колени и говорил:

— Не сумасшедший я, вот вам крест святой! Я больше не рассказываю о том, что в раю был, мне это, может, приснилось. Да и вешался я же понарошку, за что же меня-то сюда определили?

— Ты пойми, — внушал ему Топорков, — лучше тебе сумасшедшим побыть, чем тебя осудят как дезертира. Ты тут просто так сидишь, тебя щами дважды в день кормят. Кашу дают, чай с сахаром. А в каторге будешь ломом мёрзлую землю долбить, и кормить будут редко.

— Да уж лучше в каторге, чем так, в подвале — света белого не видишь...

Однажды потребовалось собрать группу крепких телом больных для заготовки дров. И Николай Николаевич вспомнил о Федьке, тоскующем без свежего

воздуха. Здоровенный же детина, вот где сила-то зря пропадает. Федька смирный, небось, не убежит, да ведь с охраной будет.

И на другой день Федька с десятью психами под охраной двух санитаров и одного вооружённого конвоира отправился в лесок на берегу речушки Керепети. Надо было свалить несколько добрых берёз, раскряжевать и вывезти, пока ещё снег не стаял, а дело уже шло к весне. «Вешние» дрова кололи всем миром, давали подсохнуть в кучах. Затем выкладывали в некотором отдалении от корпусов в аккуратные поленницы, чтобы за лето к новой зиме дрова высохли как следует.

Ехали по лесной дороге на двух розвальнях, лошадки были запряжены сильные — немецкие битюги, такой на любую гору вытащит. Однако быстрого бега от них не жди. То и дело обгоняли их крестьянские подводы, по случаю воскресенья спешившие на базар по последнему санному пути. И психи, пуская сопли и слюни, принимались вопить:

— Копеечку! У-у-у! Как мы без ума, так все — мимо. Убогоньким пирожка охота! Краюшки кус, сальца шмат! Куриное крылышко, коки-яйки. Вам бог на базаре удачу пошлёт! Ну хоть — картошек пару! От вас не убудет, а бог-то, он видит всё!

Федька заругался на дураков, а конвоир ему сказал:

— Пускай! Они дураки, но они не дураки. Небось, ты и сам не прочь будешь пожрать в лесу-то на свежем воздухе!

Федька вник: — Христьяны! — присоединился он к хору просителей. — Нам на психе жрать не дают! Впору собственное дерьмо лопать! Кишка кишке кукиш показывает и хрен собачий сулит! Как послушаешь своё брюхо, словно в нём летает муха! Пожалтесь!

— Ты што орёшь-то! — возмутился конвоир. — Да тебя за такие слова в тюрьму надо!

— Ну вот! Всем можно орать, а мне нельзя?

— Надобно думать, чего ты глаголешь! Али ты и вправду дурак? Федька обиделся, замолчал.

Но как до деляны доехали, то выяснилось: насобирали целый сидор всякой всячины; больше подавали картоху да ржаной хлебушек, но кто-то и творожком угостил, какие-то добрые люди не пожалели бутылъ самогона. Сумасшедших русские люди почитают близкими к богу. Таким не подать — грех.

— Ну что, — сказал конвоир Осип Федосеев, — сначала выпьем, закусим, а тогда уж вы и пилю возьмете в руки.

Всем не терпелось выпить, и все дружно согласились. Выпили, закусили. Закурили. Федосеев сказал:

— Тут заимка рядом, там можно самогону выпросить. Нам, конвоирам, по нашей службе это не положено. Полных дураков туда посылать нельзя. Толку не сладят, да ещё заблудиться могут. А пошлём-ка мы за самогонкой Федьку Салова.

Вот тебе, Федька, денежки, но ты их сразу не вынимай, попробуй за так бутылочку пару выпросить. А уж если там народ неподатливый будет, тогда купи. А вы, мужики, выберите берёзы потолще, да начинайте валить потихоньку. Ты, Степан, догляди, чтобы наши психи... тьфу! — хотел сказать — больные, как нас Топорков Николай Николаевич учит их называть, — клин правильно забили.

Посмотри, чтобы дерево кого не прибило. Ну, начали! А ты, Федька, — одна нога здесь, другая там!

— Да! Может, до той заимки шагать да шагать! Лес густой, а ну как — волки! Да кто живёт на заимке — ещё неизвестно.

— Кто живёт? Известно — крестьяне! Да не засиживайся там!

— Не учи учёного!

Федька зашагал по тропе, вилявшей среди вековых кедров, пихт и елей. Лес был тёмный и мрачный. Но Федьке было весело. Сам он крестьянскую работу и жизнь забывать стал. Работа крестьянская — известно. Гни хребет от зари до зари. Да и живёшь в грязи, в невежестве. Упадёшь на полати, а уж вставать пора. Хватит, поковырялся в назьме вилами. Устроился в городе, хватило ума. Вот, от армии, от фронта и то отвертелся. Дураком признали. И кормят, и работать почти не заставляют.

Тропинка то пропадала, то вновь оказывалась. Федька оглядывался, теперь уж не деревья были вокруг, а сказочные великаны. Кедров упирались ветвями прямо в небеса. Сплошная стена хвои. Где тут заимка? Да и есть ли вообще? Заблудился, что ли?

И вдруг увидел в просвете меж деревьев ручей, а возле него дом, обнесённый высоким забором. Из трубы дым идёт, значит, варят что-то, пекут, ядрёна в корень!

Толкнул калитку — заперто, собака во дворе залаяла, но из дома никто не вышел. А забор-то! Мать твою была бабушка! Федька подпрыгнул, подтянулся на руках, мягко спрыгнул, оглянулся. Собака была здоровенная, но привязанная цепью к будке. Он понял: привязали, чтобы не мешала в нужник пройти. Значит, не одни хозяева дома, а с гостями. Ишь, увлеклись, не слышат даже, что собачонка беспокоится.

Федька смело ступил на крыльцо, слышно было: в доме гармошка наяривает и люди песни орут. Гуляют! Вот и не слышат ни собаки, ничего. Ну что ж, прекрасно! Полицию заботят. Самогоном откупятся. Эх! И сам напьётся, и своим лесоповалыщам принесёт! Федька рывком отворил дверь, из горницы выглянули две кучерявых головы и что-то звонко выкрикнули, оглядываясь в горницу. Тотчас на пороге показался странного вида мужик. Федька хотел было обратно выскочить из избы. Ведь мужик тот был совершенно голый и поросший шерстью, как большая обезьяна, которую Федька однажды видел в зоопарке. На голове у нагого незнакомца была бескозырка. На чёрной ленте было начертано «Варяг». И роста у мужика было много, и руки — как брёвна, как у борца циркового. Только видел Федька и понимал, что никакой это не борец, никакой не матрос. У мужика глаза были наглые, и страшные рубцы-шрамы под глазом и через всю щёку до самого рта. Казалось из-за этих шрамов, что мужик одной половиной лица всегда смеётся.

Но мужик не смеялся, он перехватил руку Федьки со словами:

— Чего задницу чешешь? Видишь, я — голый. Айда в горницу... Смотри — гармонист тоже голый. Да у нас все — голые, чего же ты один будешь одетый?

— Я насчёт самогону, я бы купил бутылку... — заговорил Федька, пытаюсь отступить обратно в прихожую.

— Дам самогону, сперва пальто и штаны, и всё прочее сними. Эй, Васёна! Подай бутылку да стакан, али не слышишь, гость самогону требует!

Подошла Васёна, она была в чём мать родила, только через плечо у неё было закинута полотенце, другим концом которого она прихватила бутылку. Известно, деревенские женщины всегда подают бутылку, прихватывая её полотенцем. В левой руке Васёна держала надетый на вилку ядрёный белый пласт солёной капусты.

Федька вынужден был принять стакан с самогоном, в то время как здоровенный этот «облезьян», как его мысленно окрестил Федька, сдирал с неожиданного гостя пиджак и штаны. Федька чувствовал — вырваться не удастся. Его раздевали, как ребёнка. Этот длинный, сняв с Федьки штаны, ловко обшарил карманы, подержал на ладони несколько монет. Однако же ничего не сказал, деньги положил обратно в Федькин карман, а всю одежду сложил стопкой на комод.

«Будь что будет!» — решил Федька, и выпил стакан самогона. Принял от Васёны вилку с капустой, закуска так и захрустела у него на зубах.

— Меня зовут Цусима! — сказал «облезьян». — Запомнил? Айда теперь в другую горницу!

— Мне только самогону купить! — напомнил Федька.

— Даром дадим. Всё дадим. Вот тут тебе будет игра! — сказал Цусима, указывая на диван, на котором сидело шестеро девок. Четверо были нагие, как Васёна, а на двух были нижние рубахи.

— Вы, это, занавес-то откройте! — приказал им Цусима — «облезьян», — гость играть станет.

Девки тотчас приподняли рубахи.

— Вот, начинай с любого края. На каждой канонерке должен немного покачаться. На которой канонерке твой снаряд взорвётся — твоя навек.

— Но это, но я же... только самогону хотел, — залепетал Федька, подозревая какой-то подвох. Он заметил в боковой комнате ещё трёх мужиков, один из них был почему-то одетым и с бритвой в руке.

— Ты вот что,— крикнул Цусима, — поспеши! Тебя дамы ждут! Они обидятся, что ты отказываешься, а уж что тогда будет, не поручусь!

— Я это... Я воды нынче много пил, и пива! Мне отлить сходить, тогда уж... Терпеть нет никакой возможности.

— Ну, сходи отлей! — согласился Цусима. — Только быстро! Сам понимаешь! Стой! Ты куда штаны хватаешь? А ну брось! Беги, как есть, быстро отливай, небось не замёрзнешь.

Совершенно голый, Федька выскочил во двор, собака дёрнулась на цепи, свирепо рывкнула. Федька махом одолел забор, и помчался, ударяясь о деревья, даже кожу на боку ободрал, потом ему стало не только страшно, но и холодно, и обидно. Он забыл обратную дорогу, но и на заимку возвращаться не мог. И чувствовал, что выбьется из сил и замёрзнет в этом чёртовом лесу. И бежал, и бежал, сам не зная — куда.

20. ВО ТЬМЕ ЭМБРИОНАЛЬНОЙ

Есть у людей деньги, нет денег — всё равно им хочется где-то собраться вместе. Показаться друг другу. Богатые похвалятся своим богатством, бедные — честностью, умом, да мало ли чем. Каждый хочет со стороны казаться лучше, чем он есть на самом деле. Хочет, и всё тут!

Общественное Собрание давно стало в Томске таким зданием, куда люди стремятся. Но не всех принимают, а иных за какую-нибудь бузу, за неприличие выдворяют из этого дома; кого временно, кого совсем.

Иным сюда вообще нет ходу. Было так, что опального писателя Станюковича сюда не пустили, как политически неблагонадёжного. Он давно ссылку отбыл, уехал, но обиду затаил, написал о том, что томичи в Общественном Собрании друг другу откусывают носы. Клевета, конечно! Никто никому ничего не откусывает. Картины по стенам — подлинники, творения великих голландцев, фламандцев, итальянцев и французов. Китайские вазы с живыми розами. Позолоченные стулья, хоть и дворцу царскому подстать.

Игровые кабинеты, буфеты, ресторация. Театральная зала. Всё, как в Европах: зеркала, фонтаны, всё сверкает, искрится и пенится, как шампанское.

Иннокентий Евграфович Кухтерин, царствие ему небесное, на спор выдул подряд семь бутылок шампанского. Выдул, спускаться в подвальный этаж к туалетам ему было недосуг, он выскочил на балкон Общественного Собрания. Стал писать с третьего этажа красивой мощной струёй, но с высоты до земли струя добиралась в виде дождевой капли. Шла внизу по панели дама в мехах, чует — сверху каплет дождь, не по сезону тёплый. Глянула вверх — мать моя родная! Это и не дождь вовсе. Заметалась дама, стараясь из-под капли уйти. Где там! Кеша свой шланг направляет, как хочет. Дама кричит:

— Мерзавец! Нахал! Подличина!

А Иннокентий Евграфович сверху так вальяжно и добродушно:

— Мадам! Не извольте беспокоиться, туча в моих руках, куда захочу, туда дождик и направлю!

Ну, Иннокентий известно чудил. В ресторане «Медведь» однажды закусывать изволил. И по обыкновению своему выпил изрядно. Официант подбегает на цыпочках:

— Чего ещё изволите, ваше степенство?

— Ничего, — говорит, — сыт! Прodelайте мне дверь рядом с моим столиком, да велите к этой двери экипаж подать.

— То есть как? Это же капитальная стена!

— Ну а я капитально за всё заплачу! Прodelайте дверь, да побыстрее! Я не хочу выходить через ту дверь, через которую — все!

И явились каменщики, и скоренько сделали дверной проём, через который Кеша вышел, ни на кого не глядя. В другой раз этот озорник сказал крестьянам, которые ехали с возами сена на базар:

— Поворачивайте все за мной, я покупаю всё ваше сено!

И поехал в пролёточке на гору Каштак, где было пустое, лысое место. Там он сказал:

— Теперь из всех сорока возов смечите мне большой стог! За это я дополнительно заплачу.

И пошла тут невиданная работа. Сметали крестьяне такой огромный стог, какого никогда не видели нигде на свете. А Иннокентий приказывает:

— Вы его хорошенько вилами причешите, а то абы как сделали! Те стараются, а он всё недоволен:

— Правый бок выпирает. Вы мне сделайте стог ровный, как пасхально яичко! Сделали. Взял он у приказчика бидон с керосином, полил на сено, а потом спичку кинул — и запылало во всё небо!

Крестьяне, конечно, обложили Кешу матом. Некоторые даже плакали. Доброто сколько пропало! Трудов-то! Но и сказать нечего — за всё заплачено!

Нет теперь Кеши. Его брат Александр правит фирмой тихо и спокойно. И купцы, которые имеют билеты на вход в Общественное Собрание, такие стали франты, что их не всегда от профессоров отличишь. Правда, в крови что-то от прежних замашек осталось. Пришли вроде вечер музыки и поэзии в себя впитать всеми порами, а всё тянет их в буфет, тянет в игорные кабинеты.

Профессора чинно беседуют в курительной комнате, не всё им в своих квартирах читать стихи и концертировать, надо посмотреть современную молодёжь. Много едет в Томск людей с Запада, обожжены огнём войны, заражены новой европейской модой. И в музыке, и в литературе. Конечно, до Томска докатываются только отголоски.

Гадалов приехал в коляске, запряжённой орловскими рысаками, вышел, оглянулся. Смирнов Иван Васильевич подкатил к крыльцу на «огненной колеснице». Машина «Форд» из самой Америки доставлена! Стоит, как десять табунов лошадей. Спереди к машине музыкальная труба приделана, на мундштук трубы надета резиновая груша. Шофёр грушу три раза нажал, труба трижды на всю улицу крякнула. Машина остановилась, обдав крыльцо сизым дымом.

Гадалов поморщился:

— Фу! Всю улицу провонял! У меня рысаки аж на дыбы встали! Охота тебе, Иван Васильевич, на такой вонючке кататься, лошадей и детишек пугать? Гляди — взорвёшься!

— Машина на ходу шевяки хозяину под нос не мечет, а с лошадьми это случается. Между прочим, у меня от думы билет имеется на право езды по городу, целых двести целковых заплатил. И не взорвусь! В Америке все деловые люди на машинах ездят!

— Это ещё неизвестно! Ты сам там не был. А мы видели фильму, как ихние ковбои скачут на лошадях. Значит и там без лошади не обойтись. А уж если ты любишь форс, то так и скажи.

Они вошли в Общественное Собрание, Гадалов оставил жеребцов на попечение кучеру, а Смирнов машину поручил шофёру, который был похож на марсианина — в кожаном шлеме с огромными очками, в кожаной куртке и штанах, в кожаных же перчатках с раструбами. Около машины тотчас собралась огромная толпа томичей, разглядывая машину со всех сторон. Некоторые ложились на землю и пытались увидеть машинное брюхо.

Войдя в буфет, где в огромном аквариуме не мигая глядели на посетителей красные и жёлтые рыбы, приятели увидели там чёрно-седого арендатора гостиницы Анри Алифера. Он сидел один за столиком, который почти весь был заслонён пальмой.

Друзья прошли за столик поближе к буфетной стойке и стали ругать француза. Ни один человек их не смог бы понять, потому что говорили они по-китайски, причём говорили свободно, бегло. Они выучили этот язык в молодые года во время

коммерческих вояжей в Китай. Нынче же поддерживали в памяти китайскую речь, посещая слободку Ли Ханя. Китайцы хвалили их за чистоту произношения. И вот теперь они воспользовались знанием непонятного для остальных языка.

— Когда человек пьёт один, это сволочь, а не человек! — сказал Смирнов.

— Ещё какая сволочь! — поддержал его Гадалов. — И ты заметь: нос, как у коршуна, глазки чёрные, острые, чёрно-седые волосы длиннее, чем у иной бабы.

Смирнов сказал: — Слушай! А не он ли кровь высасывает из баб, горла им прокусывает? Ты погляди на него — как есть вурдалак!

Гадалов стукнул кулаком по столу и ответил:

— А ведь точно! Там парнишку сопливого поймали для отвода глаз. Этот французский кровосос наверняка следователю на лапу дал! Вот почему он второй месяц нам карточный долг не платит! У него ведь в гостинице хороший доход, а не платит, гад! За пальмой прячется!

— А давай-ка мы его напоим как следует, как говорится, до положения риз, да прикажем поместить в камеру должников! Согласен? — спросил Смирнов приятеля.

— Замётано!

Гадалов подозвал кельнера:

— Три кружки пива с музыкой и вяленого омулька на столик за пальмой! Кельнер умчался выполнять заказ, а Гадалов со Смирновым подошли к держателю гостиницы:

— Пардон, мусье! — как говорится, один в поле не воин, а три — число святое, оно же Троицу обозначает.

— Я не хотел пить! — ответил Алифер, — я и в карты не хотеть. Я думать, смотреть эти приезжие люди, можно ли приглашать в концерты гранд-отеля. Какой тут есть стихи и песни, какой тут резон?

На стол были поставлены три литровые кружки, в них пенилось светлое томское пиво. И стоило взять кружки в руки, они начинали тихо, но точно наигрывать мелодию гимна «Боже, царя храни». Гадалов и Смирнов пили и подпевали гимну. Алифер медлил, устало моргал чёрными глазками.

— Пей, Антанта! За государя императора, мать твою в бабушку! Алифер вынужден был взять кружку. Это была только затравка. Затем на

столике появилась водка, выпили за Пуанкаре, за всех родственников французского президента, за всех братьев русского царя, затем за всех великих княжон. Кончились княжны, стали пить за членов российского и французского правительств. Алифер уже еле ворочал языком:

— Не надо водк! Не надо пив! Не надо тост! Нет резон! Гадалов позвал дюжих лакеев:

— Берите сего господина, тащите, куда покажем, получите на чай с коньяком!

Лакеи быстро потащили Алифера вниз по лестнице. В подвале было много коридоров, разветвлявшихся, заводивших в неожиданные тупички, к откидным столикам и банкеткам, к малым игорным столам, к курительным комнатам. К туалетам. Причём на двери дамского отделения был изображён велосипед, а на

двери мужского — поднявшая одну ногу ушастая собачонка. И человек, впервые попавший сюда, мог бы подумать: а то ли это, что мне теперь нужно?

Алифера приволокли в тёмный тупик, где не было ни одной электрической или керосиновой лампы. Один из лакеев зажёл свечу, и при её свете Гадалов большим ржавым ключом отпер толстую железную дверь. Алифера втолкнули в комнату без окон, похожую на пещеру, закрыли дверь, повернули ключ.

Гадалов и Смирнов поднимались по лестнице наверх к концертной зале, тихо беседуя на китайском языке. Теперь они могли вслух гадать: сойдёт Анри с ума к утру или же нет. Камера, куда посадили господина Алифера, была не простая. В стену, обращенную к великой реке Томи, были вмазаны особенным образом бутылочные горла. Стоило подуть с реки ветру, в тёмной, холодной камере поднимался жуткий стоголосый вой. Уже немало должников сошло в этой камере с ума. А один вообще умер. Но карточные игроки держали это в страшном секрете. Ставки в Общественном Собрании были большие. И к этому месту очень подходила известная пословица о том, что труссы в карты не играют.

Ну и хорошо, если Анри сбесится. Тогда его запрут на психу. Вот тогда-то и выяснится, он ли действительно загрызал бедных красавиц из румынского оркестра и прекрасных томских барышень. Ведь если Алифер будет изолирован, а убийства не прекратятся, то, значит, он был ни при чём.

Жестоко? Может быть. Но купцы считали, что карточные долги надо платить. Если человек долги не платит, его и жалеть нечего. Да и вообще души в этом французики было мало, размаха...

Ни Гадалов, ни Смирнов не обратили никакого внимания, что за ними давно уже наблюдал господин в приличном, но скромном костюме, приятной, но не броской наружности. Господин этот следовал за ними всюду, но глядел на них лишь краем глаза, а если они оборачивались, то господин этот исчезал за пальмой, за колонной. Он видел всё, что они делали, слышал всё, о чём они говорили, оставаясь незамеченным. И в зале он занял место в последних рядах партера, в стороне от настенных светильников — так, чтобы видеть всех, а его самого видели бы немногие. Это был Пётр Иванович Кузичкин. Билет в Общественное Собрание он купил по документам нижегородского купца первой гильдии Фёдора Ивановича Самсонова. И никого это не удивило. Куда деваться богатому деловому человеку вечером в чужом городе? Конечно же, идти в Общественное Собрание! Но Кузичкин был разочарован тем, что эти проклятые купцы говорили на каком-то тарабарском языке. Он только мог догадываться, что это или корейский, или китайский. Кузичкину было грустно, потому что он не знал ни того, ни другого.

А зала уже до отказа заполнилась празднично одетой публикой. Тихий гул прокатывался по рядам. Все ждали чего-то необычайного. Должен был выступить какой-то фронтовой офицер, душка, красавчик, израненный, талантливый, как бог, с дивными стихами.

Сначала оркестр пожарников сыграл вальс «На сопках Манчжурии», это было не ново, но задавало нужный настрой. Публика примолкла. В зале погас свет, где-то в центральном проходе застрекотал аппарат, и по белому полотну экрана забегали тени. Вот механик подкрутил объектив, добиваясь резкости изображения, и стало ясно, что это летят цеппелины, идут страшные, как движущиеся железные

дома, танки. А вот солдаты, куда-то бегут и почему-то хватаются за горло. Ага! Солдаты надевают противогазы и становятся страшными круглоглазыми чудищами. «Газ! Газ!» — идёт гул по рядам, и кажется, что в зале стало душно. Какая-то дама упала в обморок. Но аппарат перестал стрекотать, в зале стало чуть светлее, открылся занавес. На сцене стоял граф Загорский, в смокинге, с галстуком-бабочкой на шее.

— Господа, — сказал граф Загорский, — суровые лапы войны обняли и терзают земли Галиции, польские, югославянские земли. В это время, когда мы тут в безопасности в светлом зале дышим духами, где-то люди вдыхают газ и умирают в страшных муках. Я не поэт, господа, у меня нет слов. Я скажу, что у обоих выходов из зала сейчас установят два вазона. Когда после концерта будете выходить из зала, бросьте в эти вазоны кто сколько может в пользу славного русского воинства. А теперь слово поэту! Подпоручик Геннадий Голещихин!

И тогда в круг света прихрамывая вошёл кучерявый голубоглазый подпоручик в новом мундире, с белым Георгиевским крестом. Он обвёл зал строгим взглядом, чуть запрокинул голову, и стал читать:

— Из этих боёв не выходят живыми.

Одеждою трупов, как скорлупою,

Засеяв поля, и ногами босыми

По лестнице смерти взойдя над землёю,

В астральном пространстве — феерии духа —

В пространство астрала идут батальоны,

Туда, где гуляет железная вьюга,

В которой, сгорая, пылают знамёна.

Вращенье Земли — электричества сила —

Заставит утихнуть смертельные стоны.

И в небо уходят, идут легкокрыло,

Уже неземные идут батальоны.

Подпоручик картинно поклонился, щёлкнул каблуками. Зал взорвался овациями! Жалко было молодого человека, опалённого боями, раненого.

— Россия! Государь император! Православие! Мы победим! — мужские голоса. И женский, звонкий, все эти голоса перекрыл:

— В астральном пространстве — феерии духа! Как это сказано! Ах, как сказано, боже ты мой! Поручик, вы — гений!

На сцене поставили стул, и граф Загорский, взявший на себя роль конференсье, вывел и усадил на этот стул молоденького слепого баяниста.

— Выступает Ваня Маланин!

— Выборный баян! Марковы делали! — шепнул Гадалов Смирнову. Слепец всей пятернёй пробежал по клавишам, и знакомые мелодии народных песен оказались изумительно полными и потрясающими душу.

— Глубоко копает, чёрт! — выдохнул Смирнов. По-нашему, по-русски!

— Ну вот, а ты на американской машине приехал! — укорил его Гадалов.

— А-а! При чём тут машина!

Ведущий тем временем сделал приглашающий жест, и на сцену вышел человек в синем плаще до пят, в кружевном жабо, его рыжее и скуластое лицо контрастировало с нарядом. Загорский объявил:

— Сейчас вас ознакомит с новым движением в литературе поэт Леопольд Калужский.

Детина басом запричитал:

— Вы не заметили, а мы пришли! Мы запредельные, живём вдали. Вы мыши тихие, в глуши, в траве, поэзой трахну вас по голове!

И новый человек стал читать, сильно подвывая:

— Палёной водкой полон серый дом.
И серый дым упал на пол палёный,
Где сочиняет кучер палиндром,
От шала палого шальной и опалённый,
И пенится в бокале шалый пал,
Змейй шипящую скользит по палиндрому,
И кучер занемог, и кучер пал
На серый дым, что стелется по дому.
И возвращенье к памяти его,
К исходу сна, и тьме эмбриональной.
И льётся пал, и больше ничего
В картине этой экзистенциальной.

— Ни хрена не понял! — сказал Смирнов, и оглянулся на сидевших неподалёку профессоров — может, те поняли? Профессора сидели спокойно.

— Чего тут непонятного? — ответил Гадалов. — Палёная водка! Государь император сухой закон ввёл, а эти калужские гады палёную водку тоннами гонят!

— Ну, ты как хочешь, а на меня эти поэзы хандру навевают. Поеду я, пожалуйста. Надо во дворце последние приготовления к свадьбе произвести.

— Да, отхватил ты Ваньке невесту. Анастасия эта — прямо ангел во плоти. Только от одного смотрения дрожь в конечностях идёт.

— А что? И отхватил! — улыбнулся Смирнов, поправляя перстни на пальцах. Она красива, но и наши денежки тоже неплохо выглядят.

— Значит, скоро погуляем?

— Погуляем! Ваньку я за реку послал, чтобы там в нашем дачном летнем дворце порядок навёл. Начнём свадьбу в здешнем дворце, а потом туда, в боры передем, за реку. Весной, брат, там просто как в раю, о котором на базаре болтал грузчик Федька Салов. Будто бы сподобился он в раю побывать. А по мне — без денег в раю не шибко побываешь. Пойду я. — А я уж дослушаю, досмотрю всё. А потом, может, ещё музыкального пивка дёрну. Ну, бывай.

Смирнов сунул в вазон для пожертвований толстую пачку денег, бегом бежал по лестнице, вышел на крыльцо Общественного Собрании. Всею грудью вдохнул медовый весенний воздух. Ранняя весна, лопаются почки. Вербой пахнет прекрасно, тревожно и щемяще.

Автомобиль быстро летел по ночному городу — время позднее, экипажей на Почтамтской было не видно.

— Погоняй! С ветерком! — крикнул Иван Васильевич мотористу. Тот надавил грушу, автомобиль крякнул и понёсся уже с необычайной скоростью.

«Эх, живём!» — пронеслось в отуманенном вином и весной мозгу славного томского негоцианта. Свернули в переулочек и подъехали к дворцу, который в свете луны нефритово светился. Это действовал замазанный в стены тальк.

— Езжай, механик! — приказал Смирнов водителю. — Завтра часов в десять подашь.

Машина развернулась в полутьме переулочка и исчезла. Смирнов вынул тяжёлый позолоченный ключ от парадной двери. Вставил в замок, повернул, замок пропел песенку: «Чижик-пыжик, где ты был?».

— Где надо, там и был, — сказал Иван Васильевич, — не твоё собачье дело! Сквозь стеклянную стену дворца он видел лестничные марши, витражи, колонны, балюстраду. Нигде не видно было ни души.

Смирнов поднимался по лестнице, сняв модные штиблеты и сунув их в вазон с розами на первом этаже, чтобы не разбудить стуком каблуков кого-нибудь из прислуги. Затем он снял душивший его галстук, скинул сюртук. В таком облегчённом виде он прокрался к комнате, которая была отведена Анастасии. Он настоял на том, чтобы будущая сноха ещё до свадьбы переселилась бы во дворец и привыкала к новому жилью, руководя мебелировкой.

Он уже несколько раз шутливо целовал это удивительное создание в яркие сочные губы, когда дарил Настюшке всё новые браслеты и колье. Она смущалась, отказывалась.

— Ты стоишь больше, драгоценная моя! — повторял в таком случае будущий тесть.

Он вошёл в спальню и увидел её при свете луны, она разметалась во сне, одеяло сползло с кровати, и это ему придало решимости...

В это самое время от парома прискакал в коляске Ваня. За рекой в деревянном дачном дворце его всё мучила мысль об Анастасии. Была какая-то странность в том, что за день до свадьбы его, жениха, отправили за реку, в бор. Зачем? Разве слуги не смогли бы сами сделать всё в загородном доме как надо? Уже поздним вечером он не вытерпел, велел заложить коляску.

И вот он — у парадной двери. Вставил ключ в скважину, и замок пропел песенку про чижику, ибо других песен он не знал. Ване было не до песен. Он бегом взбежал на второй этаж. Дверь в комнату Анастасии была открыта. Ваня застыл на месте. Он как бы превратился в библейский соляной столп.

— Не горюй, милая! — слышал он голос отца. — Ванюшка что понимает? Ты познала настоящего мужика, я же чувствую, что тебя проняло. Что случилось? Да ничего, драгоценная! Завтра свадьбу справим. И заживёте вы с Ванькой, как голубок с голубкой. Снизойдёшь когда ещё до меня — восприму тебя, как божество неземное, благодарен буду до конца. Мои года уходят, закатываются. Посвети на мой закат хоть немножко — озолочу, не только тебя, всю родовую твою. Молиться на тебя буду. Что Ваня? Он и не узнает ничего. Парень он добрый, будете жить душа в душу...

Ваня стянул с ног сапоги и на носках пошёл спускаться по лестнице. Только бы не услышал кто! Не услышали. Отвязал жеребчика от столба, сел в коляску, поехал не спеша к реке. До утра придётся ждать перевоза. Тепло, уже и первые комары стали зудеть.

21. Веснянки

Федькина судьба делала зигзаги. В армию хотели взять, а чёрт его дёрнул притвориться повешенным. Попал на психу— сидеть бы смиренно, так напросился ехать по дрова. И что вышло? Послали на заимку за самогоном, а выскочил с той заимки без самогона и нагишом.

Так и бежал голый, неведомо куда, оберегая ладошкой нежное место, думал: замёрзну! Вдруг свалился в овраг, а там из какой-то ямины высунулась лохматая рука и потянула Федьку под землю. «Ладно, в раю я уже был, теперь меня, наверное, в ад помещают!» — подумал тогда дрожавший и от страха, и от холода Федька Салов.

Ад не ад, но в ямине, куда попал Федька, было много теплее, чем на улице. Тот, кто заволок его туда, возжёт тонкую свечку, и Федька разглядел в полумраке медвежьи шкуры на стенах и овчинные тулупы на лежанке. За притолоку были заткнуты связанные вениками душистые травы. На малой печурке стояли кастрюли и жестянки.

Кривоногий и криворукий мужик напоминал мощную корягу. Очень длинные тяжёлые руки, короткие ноги... Сутулый до того, что согнут пополам. И волосат, как первобытный человек. Лицо всё словно из белых и красных заплат состёгано. Однако непонятного цвета глаза его глядели цепко, хитро:

— Далеко ли путешествуешь? — спросил он Федьку. Федька не знал, что и сказать.

— Ладно, после расскажешь! Бери тулуп, стели у печки, отдыхай пока, грейся. Парень ты мускулистый, будешь у меня в услуженье. А то я-то, вишь, немолод, и главную жилу надорвал. А ты наверняка от кого-то бежишь, от чего-то скрываешься. Вот и посиди в моей дыре, отдохни, да и мне подмога. А сейчас спи...

Федька, уже привыкший к частым переменам судьбы, свалился на тулуп и захрапел. Утром он открыл глаза— и не поверил им. Сутулый склонился над горшочком с землёй, в который был посажен человеческий палец. И стал беседовать с отрезанным пальцем, словно с человеком:

— Я тебя поливаю! Настоем тринадцати трав. Я тебя удобряю костяной пылью. Скоро солнышко взъярится, я тебя на грядочку высажу. Буду холить, удабривать. Глядишь, побегии пойдут, вырастет у меня мизинцевое дерево...

Федька кашлянул, мужик, не оглядываясь, сказал:

— Я уж чую, что ты проснулся. А ты не удивляйся. Осенью колья тесал, да мизинец себе скобарём* отсек. Выбрасывать было жалко, свой мизинчик-то,

* Скобарь — самый большой хозяйственный нож-тесак

не купленный. Я его в горшочек с чернозёмом высадил. С наговорами заветными зельями поливал, он и подрос, и боковые побеги наметил. Пускай растут — пригодятся.

— Мне вашу милость стеснять невместно! — с душой сказал Федька. — Я бы одёжку у вас признал, да пошёл бы обратно к себе на психу.

— Спужался! — сказал странный человек. — А пужаться-то и нечего. Мало ли что — мизинец! Я его обратно приращу, да ещё два запасных будет, а потом, может, и головы приращивать научимся. Слышал, ноне война идёт?

— Да как не слышать? — сказал Федька. — Сам было на ту войну загремел, да дураком признали, на психу отправили. Вот что со мной получилось, ваше степенство, не знаю, как вас звать-величать.

— А величать меня каждый месяц по-разному. Сейчас — Василием, пока май месяц не кончится, в июне уже Егором буду, а в июле — Афоней. Ну и так далее.

— Как-то всё интересно очень! — заметил Федька.

— А разве не интересно, что ты голый, на ночь глядя, в мою келью свалился? Что же, вас с психи голыми выпускают?

Федька рассказал дядьке, которого в данное время следовало называть Василием, о дровяной экспедиции, о неудачной попытке купить на заимке бутылку самогона.

— Ну, хорошо, что лишился ты только одёжки, сдаётся мне, что на той заимке ты мог бы и самой жизни лишиться. Там тебя раздели, а я тебя одену. На психе тебе делать боле нечего.

Дуракам и на воле хорошо живётся. Ты погляди, в Томске возле церковей сколько попрошаек толчётся? Один себе на ногах язвы рисует, и сидит, костыли к ограде прислонив, другой талдычит, что у него вся деревня вместе с церковью сгорела, и жена и дети сгорели синим огнём. А я знаю, что хромой уже второй дом строит, а который погорельцем обзывается, уже может хоть купцом первой гильдии стать. У нас народ жалостливый. Но мы с тобой милостыню просить не будем.

— А что же будем есть? — спросил Федька заинтересованно. Хотел спросить и о выпивке, но воздержался пока.

Дядька Василий усмехнулся и сказал:

— А выйдем-ка на вольный воздух!

Они вышли из избы. Вчерашнего холода— как не бывало. На вербах жёлтые, как цыплята, распустились почки, из тополиных почек выглядывали пахнущие весенним зелёным клеём листочки. Солнце пригревало, ветерок высушивал лужи, пуская по ним ребристые волны. От земли поднимался дрожащий парок. За зелёной речушкой, в коей ещё белели остатки льда, в деревушке из труб текли вкусные дымки, и кричали петухи, созывая свои гаремы.

— Что есть будем? — иронически переспросил дядька Василий. — А вот этого, который там горланит, и пустим на уху!

— Что? Кур воровать? Этого я не могу. Я деревенских знаю, они за это стягами все кости переломают. У них городских нет, они сами себе городовые. Да что! С городовым ещё говорить можно, а эти сразу убьют.

— Экий ты какой, парень! Посмотреть на тебя — борец! А трусишь, как заяц! — сердито сказал дядька Василий. — Да кто тебя воровать заставляет? Это грех! Нет, мы грешить не будем. Этот певец сейчас сам к нам придёт! Да как! Кустами будет красться, чтобы хозяева не видели, куда он пошёл.

Василий воззрился в сторону деревни и вполголоса стал приговаривать:

— Петя-петушок, золотой гребешок, шёлкова бородушка, маслена головушка. Беги сюда, а не то беда... И вновь Федька глазам своим не поверил, потому что из кустов выбежал здоровенный петух с алым гребнем, с огненным пером. Он добежал почти до ног Василия, и тут вдруг остановился как вкопанный, словно на него озарение нашло. Он косил глазом, явно намереваясь дать дёру.

— Падай на его! — прохрипел Василий. — Падай, мать твою! Ломай ему шею, пока он не опомнился совсем, уйдёт!

Федьку не надо было долго просить, он распластался в прыжке, упал на петуха, и живо свернул ему голову.

— Поди в избу и там ощирай, да смотри, чтобы ни перышка, ни пушинки никуда не улетело, всё в печку суй, в огонь. Голого петуха хозяева, небось, не признают. Я тут на пригорке постою, а ты ощирай его по-быстрому и — в котёл. Сварится, съедим и кости сожжём. А ты говоришь — кур воровать. Чего их воровать? Только позови — сами бегут.

Минут через двадцать петух уже варился в котле. Вернулся дядька Василий, сутулости у него стало меньше, а росту больше. Федька решил больше ничему не удивляться. Чего себе даром душу мотать?

Петуха они съели с большим аппетитом. Кости дядька засунул в плиту, и подбросил сухих дров, чтобы лучше горело.

— К такой закуске да ещё бы бутылку! — сожалеюще вздохнул Федька. Он подумал: а не сможет ли сей чудила скомандовать четверти самогона, чтобы она от какой-нибудь самогонщицы прилетела сюда по весеннему небу и плавно опустилась возле дядькиного жилища.

Василий как-то прочитал его мысли и сказал:

— Ты это брось! Самогон по небу летать не может, и ходить по земле тоже. Да это и не нужно. Когда будет надо, я тебя и так сделаю пьяным, безо всякого питья. Скажу, чтобы стал ты пьяным, и — станешь. А сейчас возьмём верёвки, пойдём на берег реки искать всякие бревёшки, которые нанесло половодье.

Федька подумал, что можно было приказать бревёшкам приползти к избе, и делу конец. И опять дядька понял его мысли и сказал:

— Не выдумывай, чего не следует, а делай, что тебе говорят. У меня сильно не переработаться, а питаться будешь хорошо. Опять же воздух какой! Простор!

В землянке Василия Федька быстро отъелся, похорошел. Мало ли что хозяин странный, зато еда всегда есть. У Василия то и дело сама собой изменялась внешность. То у него вырастал нос с горбинкой, а наутро тот же самый нос принимал вид картошки. Глаза то синели, то зеленели, а то становились жгуче-чёрными. Всё это Федьку удивляло, но постепенно он к этому привык. Чего не бывает на свете! Однажды разговорились.

— Ты, дядька Василий, давно в этой келье проживаешь?

— Да нет, осенью сам землянку вырыл да зиму здесь перезимовал, а то в Томском жил.

— А чё в Томском-то не пожилось?

— Оно, может, и пожилось бы, если бы одну сволоту чёрт на мою шею не принёс.

— Это какой же чёрт?

— Безрогий. Попом Златомрежевым именуется.

— А чем он досадил тебе?

— Чем-чем!.. Был я псаломщиком. Хороший был настоятель. Сычугов. Водку пил. Раз прямо в храме помочился, и просит сторожей, чтобы обсушили его. Они и обсушили.

Раз младенца крестить принесли, а Сычугов и заявляет: «Годите, выйду в оградку, испражнюсь, тогда и крещение совершу». А родитель был — лавочник со скобяного магазина, пошёл к епископу жаловаться. Ну и выгнали Сычугова, куда-то в далёкий сельский приход загнали. И тут и объявился этот самый новый настоятель. Златомрежев, значит. При прежнем-то попе я как у Христа за пазухой был. И с певчих имел, и с крестиков и свечек. Мне бы образованию какую, я бы и сам попом стал. Златомрежев этот вроде как ранетый, вернулся с фронта. Поди, сам себя подстрелил, паразит! Его в эту церковь и назначили.

Ну, и стал он под меня яму копать. Доходов лишил. То не трогай, это не бери! А сам золотой крест здоровенный на груди носит. Ну что? Не вытерпела моя душа. Ночью я к нему пробрался в фатеру, да крест его золотой и спёр. И чёрт меня дёрнул нести тот крест сдавать к Юровскому. Ну, прихожу в магазиницу, говорю: так и так, память родителей. По случаю крайней нужды дешёво уступаю. А эта еврейская образина и говорит: посидите в кресле, я сейчас из сейфа деньги принесу. Я сижу, отворяется улична дверь, входят городовые и хватают меня за белые руки. У пархатого в магазине в задней комнате телефон был, вот и позвонил гад крючкам.

Да... И тут мне надпись на кресте прочитали. Оказывается, на обороте креста по просьбе купцов ещё полгода назад этот самый Фимка Юровский начертал резцом, дескать, от благодарных прихожан священнику Златомрежеву за усердие и благочестие! А я-то надпись не понял, грамоте не обучен. Думал, молитва какая там написана.

И понял я, что надо вырываться мне, а то в каторгу ушлют. И как шли по улице, я на городских морок напустил. У них подошвы к земле прилипать стали, так что и оторвёшь с трудом. Тут я вырвался и дал стрекача. Теперь вот здесь и живу. Обличил меняю. На всякий случай. Ведь надо такое дело сделать, что я землянку свою построил аккурат напротив деревни, в коей у Златомрежева дача куплена. Весна наступила. Того и гляди, мерзавец явится землю под огород копать. Пусть попытит. Я уж постараюсь, чтобы у него ни одно семечко не возшло. Монах хренов!

— Ваша милость с тёмной силой знается? — спросил Федька.

— А ты испугался? — усмехнулся Василий. — Не бойсь! Я не чёрт, и не дьявол, и даже не ихний слуга. От Господа Бога нашего дано мне по страданиям моим. Жил ведь с малолетства трудно. Бывало, целый день кишка кишке кукиш сулит.

Отец мой каторжник, а и мать каторжанка. Они меня в каторге и прижили. А потом им вышло жить на поселении в маленькой северной деревушке. Там и коренные жители маются. А нам какво пришлось?

Хлеб с мякиной ели, а то травку куколь сушили, мололи да отрубей подмешивали, чтобы мучицы больше было. Ну, поешь лепёшек с куколем— и полдня ни рукой, ни ногой двинуть нельзя— отнимаются. Зато маленько живот набьёшь.

Однажды что вышло? Мать с тятёй за сеном поехали, я — один, на полатах под потолком лежу, лепёшек с куколем наелся — ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу. Лет десять тогда мне было. И уголёк горячий из печки выпал, пол в избе загорелся. Что делать? Сгорю вместе с избой! Как-то покатился на манер бревна, полетел с полатей, да головой попал прямо в котёл, в котором отруби запаривали.

Одно дело, что голову зашиб, второе— что отруби горячие мне рожу ошпарили. Тятёка с мамкой вернулись и не узнали меня. Две недели выл. Глаза ослепли, думал, что уж света божьего никогда не увижу. Но в ту пору стал всё внутренним оком зреть. Бывало, дома на лавке сижу, отец приходит и рассказывает, что кто-то у соседей корову Пеструху свёл. А я вижу эту корову в стайке на краю деревни у Тимохи-бобыля. И вижу, что Тимоха большой ножик точит, Пеструху колоть. Ну, тятёке и рассказываю. Он меня ругает:

— Чего ты можешь видеть, если по избе наощупь передвигаешься? И окна наши все в куржаке*, и пурга на улице.

* Морозный нарост на оконном стекле.

А я говорю, чтобы соседи побыстрее к Тимохе бежали, если свою Пеструху живой застать хотят.

Ну, отец пошёл к соседям, и говорит, что мой Васёк хреновину такую выдумал. Но все же проверить не мешает, мало ли что. Ну, собралось мужиков человек десять, да к Тимохе пошли. По дороге-то толкуют, дескать, и дураки же мы будем, если там никакой Пеструхи нет и не было никогда.

А только пришли они и увидели, что Тимоха Пеструху привязал и за ноги, и за рога сыромятными ремнями, чтобы не брыкалась, и уже заколоть хотел. Тут у них битва произошла при Порт-Артуре. Тимоха вместо коровы чуть мужика одного не запорол, однако же повязали мужики бобыля, да и рожу разукрасили так, что не хуже моей стала. Вот с той поры и вижу всё сквозь стены. И простое зрение ко мне тоже вернулось. Хотя рожа моя с тех пор вся в пятнах пребывает, но я из деревни в город переехал, по духовной линии пошёл. И петь хорошо могу, и молитвы знаю. Так что тебе меня бояться резона нет.

— Да я ничего! Я просто так спросил, — ответил Фёдка.

На улице совсем потеплело, и как-то раз в землянку заглянула красивая девка в цветастом платке. Фёдка обрадовался:

— Пожалуй к нам, красавица-девица!

— Деда Василия видеть желаю! — сказала девица. — Он мне свистульку обещал.

— Заходи, Алёна! Свистульку я и слепил, и обжёг давно, да покрасил, так что будешь женихов высвистывать, — сказал Василий, вставая с лежанки, и глаза его

стали голубыми, волосы кучерявыми, а пятна на лице стали еле заметными. Федька хоть уже и привык к таким переменам, но всё равно удивился: уж больно быстро дед, в одну минуту помолодел.

Василий заметил, как Федька воззрился на девку. И сказал:

— Ты не очень-то! Она мне во внуки годится, а тебе в дочери. Ты её ничему научить не можешь, а я её учу травы полезные брать, наговоры читать. Она уже может лихорадку убирать, килы заговаривать. Со временем дельная знахарка получится. И всегда у неё кусок хлеба будет, и почёт от народа. И петь я её учу. Не горло драть, а по правилам, как в церквах и театриях поют. И ей всё полезно и интересно. Правда, Алёна?

— А то? Ты, дед Василий, как солнце тут взошёл. Я чё тут видела до тебя? Мужики наши да парни только водку пить могут да по матушке разговаривать. А ты мне столько всего показал и рассказал! Дай свистульку-то попробую!

Василий передал ей свистульку, сделанную в виде змейки с зелёными лукавыми глазками. Алёна взяла хвостик «змеи» в свои свежие губки, подула, и «змея» запела, с соловьиным посвистом и клёкотом. И дверь землянки сама собой отворилась, и стая скворцов уселась на рябиновое дерево, что росло недалеко от порога землянки. Федька почувствовал, что воздух стал душистым, как ладан. И глаза Алёны стали больше в два раза, и голубее. И сквозь сарафан Федька вдруг увидел ту девку голую всю. И груди, с сосками яркими, как пенки в топлёном молоке, и лобок, и волоски над ним русые, так мило кудрявившиеся. И Федька вспомнил красоток, которые когда-то целовали его в раю. И он подумал: «Разве то рай был? Вот он, рай-то настоящий!». Федька уже было потянулся руками к Алёне, но почувствовал, что руки у него отнимаются, и услышал голос Василия:

— Я тебя упреждал!

— Мало бы что предупреждал. Я вольный казак! Я, может, на ней женюсь! — сердито воскликнул Федька, но тут и ноги, и руки у него отнялись.

Алёна рассмеялась и убежала со свистулкой. А Василий сказал:

— Последний раз упреждаю: полезешь к Алёне — у тебя женилка напрочь отпадёт!

Федька похолодел. Вот гад-колдун! И сделает! Для себя, видно, девку бережёт старый чёрт, ему ведь никак не меньше шестидесяти. Но лезть к Алёнке нельзя. Нет, лучше потерпеть. Маленько пожить ещё на лёгких хлебах, да смотаться куда-нибудь подальше от Василия.

Дни шли. Становилось всё теплее. Парни и девки всё чаще собирались у околицы. Первыми гулянку начинали гармонисты. Их было трое. У одного была гармонь с жёлтыми мехами, у другого — с красными, у третьего — с голубыми. Играли они сначала по очереди: один устанет, начинает играть другой. У каждого была своя мелодия. Потом, перемигнувшись, рвали меха одновременно, и округу оглашала залихватская мелодия:

Ты Подгорна, ты Подгорна,
Широкая улица,
По тебе никто не ходит,
Ни петух, ни курица.
Если курица пойдёт,

То петух с ума сойдёт!

Девки все были обуты в новые ботинки с высокой шнуровкой, только у одних ботинки были чёрной кожи, у других — коричневой. И танцорки так долго и часто дробили каблуками, что прибрежная ярко-жёлтая глина утаптывалась до плотности камня. Это был «пяточок».

Гармонисты враз оборвали мелодию и стали требовать, чтобы каждая девка их поцеловала, иначе им тяжело играть. Девки целовать их отказывались. Парни сказали, что в таком случае они играть больше не будут.

— Шут с ними! — вскричала Алёна. — Мы и без них обойдёмся.

В это время из землянки выглянул дед Василий и окликнул Алёну. Она подбежала, разрумившаяся, ароматная от помад.

— Возьми вот лагушок! Тут квасок на приманной травке настоян. Пусть каждая девка хоть глоток да испробует. Тогда у вас от парней отбоя не будет! Поняла?

Алёна приняла лагушок, сама отхлебнула, затем передала посудину девкам:

— Пейте, вкусно!

Девушки быстро опустошили лагушок.

— Теперь айда в хоровод! — позвала Алёна. Девчата образовали круг. Каждая девушка была в цветном сарафане, у каждой в косе — лента. Чувствовалось, что заводилой среди девчат была Алёна. Она и выдала первую частушку:

— Наша Керепеть в лесу,
Девоч хвалят за красу,
Все, болыни и малыньки,
Как цветочки аленьки!

— И-и-х! — взвизгнула Алёна, увлекаемая круг за собой. И хоровод закружился, на фоне зелёной травки и прибрежных кустов — как дивный живой веночек из пёстрых цветов.

— Мы не станем брагу пить,
Котора брага пенится,
Мы не станем тех любить,
Которы ерепенятся!

С каждым новым куплетом девчата кружились всё быстрее и подпрыгивали всё выше.

— И-и-их!

С порога землянки впился взглядом в этот хоровод Василий и шевелил губами, словно что-то жевал. Федька тоже смотрел на этот хоровод, и его мучило сожаление, что он этим девкам — не ровня, его года уже ушли. А ведь такие милушки, такие хорошки! Ну ничуть не хуже тех райских девоч, которых он когда-то лобзал.

— Мы девчонки-керпетянки,
— Мы отчаянные в дым!
— Если речка на дороге —
— Через речку полетим!
— И-и-их!

Сильно раскрутившийся хоровод подпрыгнул, и под взорами изумлённых парней перелетел на другую сторону реки Керепети. Вот он дробит каблуками уже на другом берегу.

— Запросватали телегу

За дубовый тарантас,

Слёзы горькие закапали

У лошади из глаз!

— И-и-их!— хоровод закружился так, что уже и лиц девок было не разобрать, и, разом подпрыгнув, перенёсся обратно на тот берег, где стояли, разинув рты, обалдевшие парни. Они кинулись было ухватить девок за руки, остановить — где там! Хоровод снова подпрыгнул и, беспрестанно кружась, перелетел на противоположный берег, причём девки на лету выдали ещё частушку:

— Я сама гулять не буду,

И подругу уведу,

Все ребята — финтиль-винтиль

На резиновом ходу!

В это самое время по тропинке от деревни медленно брёл Николай Златомрежев, размышляя о своей судьбе, о том, что было прежде и стало теперь. Вспомнился ему московский университет, который он окончил по экономическому отделению как раз в четырнадцатом году, словно только для того, чтобы сразу же уйти добровольцем на фронт. А война... Это было подобие ада. Танки, танки, газы... Запах горелого человеческого мяса до сих пор иногда тревожит его.

Выписавшись из госпиталя и вернувшись в родной Томск, он не без робости пришёл к епископу Анатолию Каменскому. Рассказал, что прошёл огонь и воду, смотрел смерти в лицо, и дал Богу обет до конца дней молиться за людей, чтобы стали они добрее. Он знал закон Божий, знал службу, так как в роду его были священники. Это решило дело. Епископ определил его настоятелем в большой каменный красивый Преображенский храм на улице Ярлыковской. Правя службу, исполняя требы, он оттаял душой. Если крестил младенца, то от души желал ему мира и счастья. И жизнь его обрела порядок. Купил маленькую дачку в деревеньке неподалёку от Керепети и старой архиерейской заимки. Можно было вырваться сюда на несколько часов,

погулять среди реликтовых сосен, подышать лесными ароматами. И это было такое блаженство!..

Никто из парней не заметил, что из деревни к месту гулянки тихонько подошёл в простой чёрной рясе Златомрежев и остановился возле двух разлапистых кедров, глядя на всё происходящее. Но Василий как-то почувствовал присутствие священника. Быстро юркнул в дверь, и Федьку позвал:

— Зайди и дверь закрой!

— Зачем? — сказал Федька, — чего в избе делать, когда можно дышать вольным воздухом?

— Сказано тебе, зайди! — свирепо воззрился на него старик.

Федька понял, что дело нешуточное. Зашёл и дверь закрыл. Василий прижал нос к тусклому оконцу и что-то быстро зашептал.

Хоровод всё быстрее перелетал с одного берега на другой.

Златомрежев хотел закричать, потом одумался и стал читать молитву святому кресту:

— Да воскреснет Бог, расточатся врази Его, и побегут от лица Его все ненавидящие Его, яко тает воск от лица огня. Како да бегут беси от любящих Бога и знаменующих себя крестным знамением!..

Хоровод в этот момент перелетал через речку Керепеть. Девки крепко сцепились руками, на лицах их было написано дикое блаженство. Алёна как бы соединяла их всех невидимой прочной нитью. И вдруг она охнула, девки расцепили сплетённые пальцы и с воплями ужаса попадали в зелёную воду Керепети.

Некоторые поплыли, а две из них начали нырять, вопя о том, что плавать они не умеют. Тотчас в Керепеть нырнули парни — как были, в пиджаках и брюках, в сапогах, даже картузы снять у них времени не было. Они быстро вытащили на берег перепуганных и промокших девок.

Один из гармонистов, отряхнув воду с пиджака, схватил гармонь и пропел:

— Девка села в решето, Поехала по озеру, Посерёдке озера Ноги отморозила!

Девушки быстро побежали в деревню — сушиться. Парни никуда не пошли. Они скинули с себя всю одежду, выжали её, развели костерок, и над ним стали сушить исподнее и верхнее. Один ругался больше всех:

— Вот сволота! Из-за них всю махорку промочил и спички. Нынче это денег стоит, да и курить хочется — страсть!..

Златомрежев вышел из своего убежища за деревьями, перекрестил поляну, речку. И потихоньку пошёл вдоль берега реки.

В избе у малого тусклого оконца дядька Василий насыпал в кружку синего порошка и велел Федыке:

— Шагай за попом, да сыпь этот порошок тонкой струйкой в его след! Понял? Иди!

Федька вышел из землянки. Кружка с порошком словно жгла ему руку. Он шёл и шептал:

— Салфет вашей милости. Порошок! Девки летающие! Нет уж, довольно!.. Когда избушка скрылась из вида, Федька кружку с порошком кинул в

Керепеть. Она с бульканьем пошла на дно. Вода в реке посинела, и тотчас бесчисленное количество рыбы всплыло вверх брюхами.

— Ух ты! — сказал Федька. — Вот это рыбалка! Да тут на всю деревню уху можно сварить, и ещё рыба останется. А только от такой ухи, того гляди, рогавырастут! А может, вырастет ещё и длиннющий хвост, и копытца. Бежать надо отсюда, и как можно дальше. Хотя и бежать-то мне, бедолаге, вроде уже некуда.

22. Шпага на память

Когда солнечным утром из города на пароме, прозывавшемся Самолётом, в несколько приёмов через великую реку Томь переправлялся праздничный кортеж, господа и дамы говорили, что сама погода благоприятствует свадьбе.

За рекой кортеж направился в сосновый бор, к замку-даче Смирновых. Был конец мая, и по краям дороги буйно цвели черёмухи, рассыпая над коричневыми озерками свой щемящий аромат. Красавица невеста сидела в автомобиле рядом с

будущим тестем Иваном Васильевичем Смирновым. В её волосы были вплетены живые цветы, и сама она гляделась большим нежным цветком.

Чуть отстав от машины, мчались подрессоренные кареты и коляски с купцами, чиновниками, важнейшими томскими людьми.

— Сейчас заберём жениха, и помчимся обратно к перевозу. Какой подходящий день для свадьбы! Какая красота! И я так завидую этому Ване! — говорил граф Загорский, целуя руку сидевшей рядом с ним в коляске Ольге Ковнацкой.

— Георгий Адамович! Нехорошо завидовать! — отвечала Ольга. — Не зря же говорят в народе: на чужой каравай рот не разевай.

— У этой поговорки есть продолжение, — сказал граф, — полностью поговорка звучит так: на чужой каравай рот не разевай, а лучше свой дома затевай...

— Ну так и затевали бы!

— Ах, Оля, вы же знаете, что и пекарь я никудышный, и дрова сырые. Вы сыплете на мои раны соль...

Парк при деревянном замке Смирновых был полон щебетом птиц. Иван Васильевич вылез из машины вперед водителя, и распахнул дверцу перед невестой. Анастасия осторожно сошла на землю, глядя под ноги, чтобы не запачкать белых туфель. Но от самой калитки до крыльца дачи была положена ковровая дорожка.

— Ну, где же наш жених? — возгласил весёлый Иван Васильевич, взбегая на крыльцо. Высокий лакей доложил:

— Иван Иванович легли спать поздно, и к чаю не выходили. Они, возможно, отдыхают.

— Ну, так я его, засоню, враз разбужу! Разве можно не встретить на пороге своё счастье?

Иван Васильевич кинулся в комнаты сына, но его нигде не было. Он потребовал, чтобы слуги обыскали замок.

— Где его экипаж?

— На месте! — доложил лакей. — И лошади все в стойлах.

У старшего Смирнова засосало где-то под сердцем. Он был в ярости. Кто смеет перечить его планам?

— Ищите его, дармоеды! — закричал он на дворню. — Не видели, не слышали! Человек не иголка.

Гости, недоумевая, стояли возле экипажей.

Ваню Смирнова нашли в бору неподалёку от дачи. Висок у Вани был прострелен, а мёртвая рука его крепко сжимала браунинг. Слуги клялись, что выстрела не слышали. И в ужасе смотрели на разгневанного хозяина. Кто-то позвал с соседней дачи профессора Германа Иоганзена. Он еле смог втолковать взволнованной прислуге, что он хоть и профессор, но не медик, а зоолог, а вообще-то даже и медики ещё не умеют оживлять мёртвых.

Смерть Вани наделала шуму в городе. Но кем-то были распущены слухи, что Ваню убили бандиты, ограбившие дачу. Именно так и объясняли лакеи, горничные и повара. Дескать, их всех связали бандиты, а Ваню утащили в бор, потом раздался выстрел. Что взяли бандиты? Прислуга говорила, что, видимо, бандиты взяли деньги, потому что маленький сейф в кабинете Вани был взломан, и бюро с документами тоже вскрыто отмычкой.

Сыщики записали показания прислуги. И уехали в город. Сыщики были довольны. Теперь у них есть нужные показания. Иван Васильевич хорошо заплатил кому надо, чтобы следствие списало гибель сына на разбойников. Конечно, не преминул он «заклеить» рты прислуге крупными ассигнациями. Но люди есть люди. Недаром же есть пословица: «По секрету — всему свету». И вскоре весь город знал, из-за чего именно застрелился Ваня Смирнов.

На пышных похоронах было полгорода. Кряжистый бородач папаша Смирнов шёл за гробом набычась, исподлобья поглядывая на людей. Несчастной Анастасии даже во дворец войти не позволили, чтобы постоять у гроба, и уж тем более на похороны не пустили, хотя она рвалась изо всех сил.

Рыдала старшая сестра Вани — Клавдия. Горе сжимало ей сердце. Но она чувствовала: что-то ей мешает по-настоящему горевать. Она сама себе не могла признаться, что где-то в потаённых углах её души теперь телепается подлое удовлетворение. Она гнала это чувство, но не могла прогнать. О боже! Даже в такую минуту она не могла не думать о том, что теперь, когда Вани нет, она осталась единственной наследницей всех смирновских богатств. Как отец ни крепок, но всё же он очень пожилой. Всё, всё скоро будет принадлежать ей. Все магазины, товары, склады, дачи. И этот шикарный дворец, который отец выстроил для своей подлой любовницы Анастасии, тоже будет принадлежать только Клавдии! Только ей! Анастасия теперь — никто! Ничтожество! Уж Клава постарается, чтобы отец отписал всё на дочку, единственную и любимую.

Среди провожавших Ваню шёл следователь по особо важным делам Пётр Иванович Кузичкин, хотя все в Томске думали, что он представитель граммофонной фирмы. Ко многим организациям и частным лицам он не раз обращался с рекламными проспектами, и заключал договора на поставки граммофонов. Пётр Иванович успел допросить Колю на психолечебнице, успел составить списки всех томских сластолюбцев, чересчур активных охотников до молодых красавиц.

Шагая среди провожающих, он приглядывался к Ивану Васильевичу Смирнову, а заодно и к Анри Алиферу. Оба они были в следовательском списке. Пётр Иванович знал, что Смирнов не так давно чуть не погубил Алифера, заперев его на ночь в комнату ужасов. Следователь сам побывал в этой комнате. Кузичкин не исключал, что причиной заточения дамского угодника француза могла быть жестокая ревность.

Очень часто Кузичкин бывал в ресторане гостиницы «Европа», в номерах «Венецианской ночи», во многих других, как говорится, злых местах. Перед каждым таким походом он до отвала наедаясь жирного творога и глотал пару особых таблеток. Это позволяло ему пить вино и не пьянеть. Притворяясь пьяным, он расспрашивал своих случайных собутыльников, что они слышали или знают о погибших томских красавицах. Пока ничего полезного для себя в таких застольях он не услышал. Но опытный следователь знал, что иногда совсем неожиданно может показаться кончик ниточки. Но для того, чтобы он показался, его надо день и ночь искать, даже там, где вроде бы искать совсем бесполезно.

Война с Германией, между тем, получалась ничуть не лучше войны с Японией. Только в начале её русские войска одержали несколько побед. Затем всё полетело в тартарары.

Николай Второй давно сместил с должности главнокомандующего своего дядюшку Николая Николаевича, взялся командовать сам, а толку не было никакого. Царь показывал солдатам своего сынка, юного царевича Алексея. Думал— войска воодушевятся. Но всё— напрасно. Солдаты были грязны, оборванны и злы. В Петербурге и Москве толпы женщин и детей громили магазины.

Томские власти не очень-то жаловали газеты, в которых появлялись мрачные сообщения. Но что делать? Не прежние времена! Телеграф все новости доносит до сибирской глухомани в момент! Да разве только в телеграфе дело? Кто-то ночами расклеивал по томским заборам листовки со зловредными стихами:

Пишет, пишет царь германский, Пишет русскому царю: Я приду к тебе, коллега, Всю Россию разорю.

В некоторых листовках писалось и в прозе: «Ужасная война, начатая капиталистами, должна окончиться победой рабочих над капиталом».

Неожиданно вернулся с фронта Николай Михайлович Пепеляев. Соединение, которым он командовал, начинало бои под Варшавой, затем сражалось в Прибалтике, и отступило под Псков. Официально генерал-лейтенант прибыл лечиться после ранения и готовить резервистов. На самом деле он тяжело переживал свои военные неудачи.

Томичи не узнавали своего прежде блистательного генерал-лейтенанта. Из дома Николай Михайлович теперь выходил редко, благородное собрание не посещал. А когда жена и дети спрашивали его о военных действиях, он отмалчивался. Лишь иногда с горечью говорил о том, что кругом — измена, армия предана. Но имена предателей не называл.

Он прожил после возвращения из армии всего несколько месяцев и умер в конце ноября. Отпевали его в церкви Александра Невского при следственном замке, ибо это было рядом с домом. На грудь генералу положили обнажённый меч, гроб был поставлен на лафет пушки. На воинском кладбище прогремел прощальный салют. Стиснув зубы и кулаки, стояли сыновья — Михаил Николаевич, Логин Николаевич. Анатолий был на фронте, а Виктор после учительства в Бийске был избран в Государственную Думу и находился в Петрограде.

И всего через месяц после этих похорон телеграф принёс из столицы удивительную весть: в Петербурге на Мойке во дворце князя Юсупова убит был любимец царицы Григорий Ефимович Новых, бывший Распутин. Но ещё более скандальная весть пришла после похорон старца. На ту самую могилу, к которой в эти дни приходила молиться царская семья, офицеры вылили из ассенизационной бочки чуть не тонну самого свежего дерьма!

Газеты эту новость напечатать не могли, мешала цензура. Зато все томские заборы заклеены соответствующими листовками. И всё чаще в листовках звучали призывы: «Долой самодержавие!».

В заметённом сугробами Томске возле университетской ограды ректор сего заведения Михаил Фёдорович Попов повстречал следователя Петра Ивановича Кузичкина.

— Здравствуйте Пётр Иванович! — приветствовал следователя руководитель кафедры судебной медицины. — Как дела? Не пора ли вам обратно в Москву? Что толку теперь искать бедного вампира, если кровь россиян течёт вёдрами, а судя по всему, вскоре хлынет рекой? Хотя вообще-то я надеялся, что вы всё же разгадаете эту загадку. Вы же — московский специалист. Но, похоже, что не всякая тайна по зубам и московским пинкертонам!

— А вот и ошибаетесь! — рассмеялся Кузичкин, потирая замёрзшие уши. — Я ведь именно к вам и направлялся. Берите с собой Бурденко и прочих ваших студентов, им, думаю, тоже будет интересно посмотреть на этого уникама. Медикам ведь полезно посмотреть на вампира, тем более, что, может, больше никогда в жизни и случая не будет. Сейчас зайдём в полицию, захватим с собой пару полицейских чинов, и двинем прямо к вампиру.

— Значит, тот юноша, который парится теперь на психе, ни в чём не виноват?

— Абсолютно ни в чём!

— Я так и знал! Его глаза мне ясно сказали, что он тут ни при чём. Но кто же — злодей?

— Наберитесь терпения.

Вскоре толпа студентов шагала за Кузичкиным, Поповым и двумя полицейскими чинами по Почтамтской улице. Вот они уже спустились по лестнице и подошли к Дворцу Второва.

— Понятно! — сказал Попов. — Алифер! Про него уже давно идут тёмные слухи.

Но Кузичкин прошёл мимо входа в гостиницу.

— Да куда же вы нас ведёте, в конце-то концов! — воскликнул Попов.

— Тут — рядом! — отозвался Кузичкин, достав из кармана пальто револьвер и проверив патроны в барабане.

Вот они миновали здание с термометром Реомюра, книжный магазин Макушина. Вошли во двор, пахнувший шоколадом.

— Сюда, пожалуйста! — сказал Кузичкин, направляясь к флигелю возле шоколадной фабрики. — Господа студенты и медики, следите за всеми окнами, а я с полицейскими войду внутрь!

— Но это же квартира графа Загорского! — удивился Попов. Кузичкин приложил палец к губам, затем быстро и легко взбежал на

крыльцо, рывком отворил дверь, полицейские ринулись за ним. Прихожая и две комнаты были пусты. Повсюду были видны следы поспешных сборов. Кузичкин тотчас крикнул полицейским, чтобы срочно позвонили полицмейстеру, дабы было установлено наблюдение на вокзале и на всех выездах из города. Сам же он схватил кочергу и принялся ковырять ею в топке печи-голландки.

— Вот чёрт! Дотла сжёг все бумаги. И что за нюх? Я ведь не дал ему ни малейшего повода для подозрений. Был уверен, что застаю его врасплох. Ага! Он бросил свою дворянскую шпагу. И костюмы все свои оставил. А это что? Парики! Усы и бороды! Всех сортов! Ну, ясно! Оделся попом или простолудином, загримировался. Одного не пойму — как он опасность учуял? Был бы суеверным, подумал бы, что это — сам дьявол. Но я, увы, не верующий, вульгарный атеист, и

нет мне прощения ни на том, ни на этом свете. И чашу позора мне придётся испить до дна. Не зря же говорят, что и на старуху бывает проруха. Я, конечно, постараюсь, чтобы и в нынешней неразберихе его хорошо поискали по всей стране. Но что-то мне говорит, что шансов почти нет.

23. Садиза, садиза!

Федька Салов на окраине Томска нашёл китайского старшину Ли Ханя. Глинобитные и приземистые избушки тут образовывали такие ходы и лабиринты, что посторонний человек обязательно заблудился бы, рискни онзайти в эти китайские кварталы. Но Федька уже бывал здесь раньше, и, хоть и не сразу, но нашёл нужную землянку.

Ли Хань встретил его в маленькой устеленной коврами комнатухе. Здесь над порогом висели полосы рисовой бумаги с красными иероглифами, а над тёплой лежанкой, под которой был пущен дымоход, висел узорчатый китайский фонарь.

Ли Хань не удивился Федькиному приходу, приказал слуге, чтобы подал зелёного китайского чаю, усадил Федьку в плетёное кресло и спросил:

— Твоя дизертира с фронта?

— Что ты? Какая дизертира?

— Такая грузчика начальника шлёт туда, туда, фронта-фронта. Война конца нету, рука-нога целый, почему — Томска?

— Меня в армию не взяли. Меня на психу сдали, а я оттуда ушёл, надоело.

— Писиха-писиха, голова больная, гулять Томска нету. Ли Хань тебя прятать нету. Ли Хань начальника уважай! Ли Хань закона — уважай!

— Як тебе пришёл, как к отцу родному! Куда мне ещё идти? Спрячь, помоги, я за тебя век бога молить буду, я отслужу! Отработаю!

Ли Хань внимательно глядел ему прямо в глаза своими раскосыми непонятными глазами. В них было темно, как в чёрном колодце, только чувствовалась тайная сила, и мрачная угроза. Федька совсем заробел. Ли Хань сказал:

— Китаиса тебя прячет, твоя клянись головой. Давай рука!

Он надрезал бритвой кожу на Федькином пальце, достал толстый лист бумаги с синими иероглифами и прижал к этому листу Федькин большой палец, оставив на листе кровавый оттиск. Ли Хань помахал этим листом:

— Документа-документа! Твоя ходи, обезьянка корми, клетка убирай. Там печка есть! Зима будет — дрова много. Совсем не замерзай. Обезьянка тепло надо! Шибко хорошо есть!

— А выпивка-то будет?

— Хороша работай, травка кури. Ханьпин, выпивка — нету. Обезьянка запах не любит.

Когда стемнело, здоровенный молчаливый китаец увёз Федьку в фаэтоне в Заисточье. Там неподалёку от озера стоял китайский обезьяний питомник. В этом странном заведении содержали и обучали обезьянок для всей Сибири и Дальнего Востока. Обученная обезьянка продавалась своим же, китайцам, по дорогой цене. И потом китайцы выступали с этими обезьянками на всех больших станциях великой сибирской железной дороги. Зарабатывали они немалые деньги.

Обучение, впрочем, было не очень сложное. На обезьянку надевали красную соломенную шляпу. В землю втыкали кол, к верху которого была прибита небольшая круглая фанерка. Обезьянка была в ошейнике, от которого железная цепочка тянулась к колу, и была закреплена там с помощью вертлюга.

Китаец давал команду:

— Ходи! Ходи!

Обезьяна бегала вокруг кола. В нужный момент китаец кричал:

— Садиза-садиза!

Обезьянка вспрыгивала на площадку на колышке. Снимала шляпу и протягивала её к зрителям — дескать, кидайте деньги.

Одни обезьянки обучались быстрее, другие дольше. От их способностей зависела их цена.

В обезьяннике кроме того держали собак, которых китайцы отлавливали по всему Томску. Собак частью продавали, а тех, которых никто не покупал, обдирали, и шили из их шкур сапоги, шапки, тулупы и одеяла. Если вы никогда не спали в морозный день завернувшись в одеяло из собачьих шкур, то вам бесполезно объяснять, как это приятно и полезно.

Ловили китайцы и кошек, и крыс. Всю эту живность продавали в университетские лаборатории для опытов. Ничего тут даром не пропадало.

Федьке быстро надоела работа в этом заведении. Выходить за территорию обезьянника ему запрещалось. В основном он был занят чисткой и мытьём клеток, развозкой корма, и ещё строительством и ремонтом бараков и вольер.

«Эх, — думал Федька, — у Василия было куда веселее, хотя и страшновато! Там кормили хорошо, да хоть издали на девок удавалось посмотреть».

Китайцы были здесь как бы на временных заработках. Утешение они находили у русских «марусек» в бардаках на Бочановской улице. Некоторые из них привели себе жён именно из этих бардаков. Но абсолютное большинство их предпочитали жить холостыми. Как понял Федька, их цель была скопить побольше денег, вернуться в Китай, и уже там жениться. Они очень ценили эту свою родину, где было много народа и мало денег. И если какой-либо китаец умирал в Томске, они везли его за тысячи вёрст хоронить в Китай.

Все китайцы помаленьку покуривали травку. Предложили попробовать и Федьке. Он выкурил здоровенную самокрутку. Но ничего особенного не произошло. Правда, когда пристально смотрел на угостившего его травкой китайца Ван Ху Сина, то казалось, что голова у того была размером с двухэтажный дом. Рот был, как пещера. Китаец скалил зубы, смеялся, и казалось, что эти зубы — размером с человека. Но стоило моргнуть — всё становилось как всегда, только в висках шумело.

— Лучше стакан самогона, чем мешок твоей травы! — сердился Федька.

— Твоя не раз кури, твоя шибко много раз кури, тогда будет шибко хорошо! — возражал Ван Ху Син.

Федька копил комочки сахара, которые ему давали к чаю, воровал мятные конфетки из рациона обезьян, и втихаря ставил брагу в своём закутке. Но эта редкая и бедная выпивка только сильнее разжигала его желание хорошенько напиться.

К осени Федька уже проклял тот день и час, когда связался с Ли Ханем. Ах, зачем же было ставить кровавый отпечаток пальца на синюю китайскую бумагу!

Сбежать? Страшно! Федька уже знал, как китайцы казнят своих собственных предателей и послушников. Китайский старшина своей волей назначает им смертную казнь. Осуждённый сам себе роет яму в рост человека, садится там на корточки, его живого забрасывают землёй. Ещё и попляшут по этой земле, чтобы утрамбовать её покрепче. Бежать? Но если и набраться смелости, решиться, то куда бежать?

В разгар зимы появился в обезьяннике странный китаец. Держался он не по-китайски прямо, голову гордо откидывал назад. Халат у него был не хуже, чем у самого Ли Ханя, из нового синего шёлка, и расшит красными драконами. Грязной работой он не занимался. С китайцами объяснялся больше жестами, лишь изредка произнося несколько китайских фраз.

Поселился он в одной из крохотных комнатусек, в бараке, примыкавшем к обезьяннику. И в его жилище никто не имел права входить. Этого китайца звали так же, как и знаменитого китайского поэта — Ли Бо. Он занимался с одной из самых способных обезьянок, говорили, что он её купил у Ли Ханя за большие деньги. И говорили ещё, что с наступлением весны он двинется со своей обезьянкой на заработки. И это удивляло Федьку. Такой важный — и будет бегать с обезьянкой по привокзальным площадям?

Была у слугителей обезьянника своя китайская баня. Это была небольшая избушка, где в закопчённом котле кипятили воду, а затем наливали её в большую бочку, добавляя холодную родниковую воду и целебные травы. Первым мылся самый важный китаец, за ним — все другие по очереди. Причём вода в бочке не менялась. И вот однажды в банный день Федька решил идти мыться сразу, как только вылезет из бочки Ли Бо. Федька разделся в предбаннике и нетерпеливо ждал своей очереди. Ли Бо долго не выходил, Федька решил поторопить его: не велик барин, если будет с обезьяной по вокзалам гроши собирать. Помылся — дай другому.

Федька распахнул дверь и замер в удивлении. Китаец Ли Бо — был не весь жёлтый. Жёлтыми у него были лицо и шея и руки до локтей, остальное тело поражало белизной. Он только что вылез из бочки, вздымал свои до локтей жёлтые руки вверх, чтобы вода с них быстрее стекла.

— Ах ты сволочь! — воскликнул Ли Бо на чистейшем русском языке. — Как ты смел врваться в баню, когда я ещё не вышел из неё?

— Я не знал, что ваша милость не совсем китаец, а только частями! — воскликнул ошарашенный Федька. — Знал бы, ни в жисть не посмел бы.

— Хорошо. Я тебе дам денег, и ты будешь молчать о том, что здесь видел, — сказал Ли Бо. Если же проболтаешься, то Ли Хань прикажет тебя зарыть живьём. И заруют. И не думай, что сможешь убежать, найдут. Молчать! — воскликнул Ли Бо и прищёлкнул пальцами, уставясь Федьке в глаза.

— Молчу, молчу! — залепетал Федька. Он словно в туман окунулся. Шатаясь на ватных ногах, кое-как нашёл дверь, которая вела в предбанник. В висках у Федьки стучало одно слово:

— Молчи!

Ли Бо вскоре тоже вышел в предбанник, надел халат и обул тёплые войлочные туфли, протянул Федьке сотенную ассигнацию:

— Помни о том, что я тебе сказал, крепко помни!

— Так точно, ваша милость.

— И не разговаривай со мной, я по-русски не понимаю, понял?

— Так точно, ваша милость.

Однажды принесли с базара семечки для обезьянок, завёрнутые в кульки, сделанные из страниц «Сибирской газеты». Федька высыпал из одного пакета семечки обезьянкам, и увидел в газете портрет человека, который был теперь частично китайцем, хотя на газетном портрете он был вовсе не узкоглаз, а вместо короткой стрижки имел пышные кудри. Вот тут Федька сильно огорчился, что в грамоте не силен.

Через неделю в обезьянник весёлый русский бородач привёз в коробе ореховый жмых. Федька кинулся разгружать вкуснейший этот жмых, на ходу отгрызая крепкими зубами то от одной глыбы жмыха, то от другой. Бородач возчик усмехнулся и сказал:

— Я его и сам целый день жую! Пользительно для желудка, да и силу мужскую увеличивает. Па-алезный корм для ваших животин! А в наше время, когда лавки хлебные не работают и муки ни за какие деньги ни на одном базаре не купишь, так этому жмыху будешь рад за милую душу.

Тогда Федька спросил возчика, обучен ли тот грамоте.

Оказалось, что тот окончил три класса церковно-приходской школы.

— И мелкие буквы в газете можешь читать?

— А то как же? — гордо ответил возчик.

Федька вытащил из-за пазухи газету и подал её мужику:

— Вот тут господин изображён, чего про него пишут?

— А, этот-то? Про него мы давно уж читали. Газета-то старая. Сбежал сей господин. Кровь, вишь, из баб высасывал, да так, что до смерти! Как? Обыкновенно! Целует, целует в шейку, возьмёт да и прокусит. И сосёт. Ну и сбежал этот кровосос, когда его арестовать хотели. А ты что? Встречал его, что ли? За него награда большая назначена...

Федька хотел что-то сказать, но слово у него застряло в горле. Он увидел, что с крыльца барака на него пристально смотрит Ли Бо. Лжекитаец вывел во двор погулять свою обезьянку, держа в руке конец цепочки. Он смотрел через Федькино плечо, отлично видел свой-портрет в газете и слышал всё, о чём говорили Федька и возчик.

Федька сник. И хрипло и громко сказал:

— Ерунда всё! Если и был такой господин, так уж давно укатил к чёрту на кулички. Да разве такие вахлаки, как я, с господами встречаются? Наше дело дерьмо топтать, грязь чистить.

— И то правда! — ответил возчик. А Федька изорвал газетину в мелкие клочья. Оглянувшись на крылечко, где только что стоял поддельный китаец, он не увидел там никого.

А на другой день, выйдя утром из барака, Федька услышал какой-то шум на улице. Выглянул в калитку. Увидел толпу народа с красными и бело-зелёными

флагами. Люди кричали, смеялись, у многих на пальто и тужурках были приколоты алые и бело-зелёные банты. Толпа прошла мимо питомника и поднялась в гору к губернскому правлению. Где-то вдалеке слышались звуки оркестра и одинокие выстрелы.

Федька стал думать: какой-токой приходится праздник на четвёртое марта 1917 года? Но ничего не мог придумать. По Московскому тракту со свистом и гиком примчалось несколько троек. В колясках сидели подвыпившие мужики, они держали в руках чёрные флаги и транспарант, на нём было начертано: «Анархия— мать порядка!».

— А ну, ходя! Отпирай ворота! — закричали приехавшие мужики. Китайцы незнакомым людям и не подумали открывать. Тогда один из мужиков сунул под ворота связку гранат и крикнул неизвестно кому:

— Ложись!

Грохнул взрыв, раздробив нижнюю часть ворот. Китайцы поспешили спрятаться кто где. Федька охнул и свалился возле калитки, нога у него стала горячей и занемела, словно он её отсидел.

— Анархия — свобода! Свобода всем, без границ! — кричал мужик в кожаном пальто и в каракулевом «пирожке». — Я— Михаил Кляев, и это я вам говорю! Свобода животным! Ломай клетки! Долой тюрьмы! Долой оковы! Смерть тюремщикам!

Пьяные анархисты принялись ломать клетки ломami, рубили саблями. Некоторые бросали в клетки гранаты. Одного из анархистов чуть не загрызли выпущенные им же на волю собаки. Тогда анархисты открыли стрельбу по собакам. С истошными воплями учёные обезьянки вырвались из клеток и поскакали по деревьям вверх к университетской роще.

Китайцы поспешили покинуть обезьяний питомник, проделав дыры в заборах. Они скакали по холмам среди кустов не хуже обезьян, но только молча.

Анархисты остались в пустом разгромленном помещении. Пошарили по каморкам. — Ни хрена у них тут хорошего нет! — сказал вожак. — Известно — ходи!

Он заметил лежавшего возле калитки в луже крови Федьку Салова. Склонился над ним:

— Ты кто такой? Ты ведь русский? Чего ты тут делал?

— Батрак был ихний, — хрипло отозвался Салов, — мне ногу, кажись, оторвало.

— Ничего не оторвало, — опроверг его анархист. Сейчас — свобода, товарищ. Мы поскачем в университет. Пусть сделает тебе операцию наилучший профессор! Долой эксплуатацию! Да здравствует революционный, анархический порядок!

Минут через двадцать Федька Салов уже лежал на операционном столе в факультетской клинике. Анархисты с маузерами в руках хотели наблюдать за ходом операции, но профессор выгнал их, сказав:

— Мои сестры милосердия вас боятся. Для вашей анархии будет лучше, если вы подождёте конца операции в коридоре. На лицо Федьке водрузили маску с хлороформом, профессор начал медленно и монотонно считать:

— Один, два три...

Он досчитал до пятнадцати, и Федька увидел огромную голову китайца, во рту у него были зубы размером с человека. Китаец пугал Федьку: «Я тебя съем!». Федька ему отвечал: «Садиза-садиза!». И китаец исчезал.

24. Адью, господин губернатор!

В тот самый день, когда Федька Салов лежал на операционном столе в университетской клинике, действительный статский советник Михаил Николаевич Дудинский, начальник громадной Томской губернии, в своём особняке, расположенном в соседстве с губернским правлением, предавался горьким раздумьям.

Уж как он старался, чтобы крамола из центральной России не могла перекинуться в далёкий Томск! На телеграфе и на почтамте жандармы проверяли все частные телеграммы и письма. Доставлялись адресатам только самые невинные послания, вроде поздравления с днём ангела. Со всеми приезжавшими из Петербурга и Москвы беседовали полицейские чины и предупреждали, что о тамошних волнениях в Томске говорить никому не полагается.

А как он заботился о поддержании патриотического духа томичей! Жена покойного генерала Пепеляева вместе с младшим отпрыском своим Логином Николаевичем съездила на фронт, отвезла целый вагон подарков офицерам и младшим чинам, призванным на войну из Томска. Были собраны немалые средства в помощь госпиталям.

Между прочим, война добавила много других небывалых забот. Мало того, что шайки бандитов и воров плодились, как собачьи блохи, преступления стали совершать даже дворяне! Ещё с неделю назад Михаил Николаевич был озабочен бегством графа Загорского. Чиновник губернского правления оказался вампиром, и Михаил Николаевич был ошеломлён, переживал, мучился сознанием, что на его правление поставлено некое несмыслимое пятно. Но сегодня это кажется таким пустяком! Сам Государь император отрёкся от престола. И что же теперь такое будет? И какие возмутительные стихи напечатала в местной газете поэтесса Мария Потанина!

Дудинский взял газету со стола и ещё раз перечитал стихи:

Сибирь! Свободная Сибирь! Гремит победный клич: «Свобода!», И раздаётся вдаль и вширь, И ввысь летит до небосвода. Сибирь, огромная страна, Ещё вчера — страна изгнанья, Всю боль извела она, Все бездны мрачные страданья... Кошмарные былые сны Сменились чудом возрожденья... В лучах сияющей весны Горит заря освобожденья.

Ах, чёрт возьми! Вышла замуж за старика, за смутьяна, поваландалась с ним по Алтаю, и вроде бы им не пожилось. Да и как бы пожилось-то? Потанин — Мафусаил, реликт, древность, антик. И смутьян, каких мало! Был в каторжных работах. И трогать его не могли — заслуг много. За свои исследования Востока получил Константиновскую золотую медаль императорского русского географического общества и пожизненную персональную пенсию. Ему бы сидеть на печи, а он влезает во все дела губернии, по слухам, собирается отделить Сибирь от России, как американские штаты отделились от Англии. Да его в Петропавловку

заточить надо! А он возмутительные речи говорит, женится в таком-то возрасте! И за всё губернатор будет в ответе.

Разумеется, Дудинский дал жандармам указание проследить, чтобы в газетах правильно писали, и чтобы специально в народ были пущены правильные слухи. Дескать, ничего особенного не случилось. Отрёкся император в пользу брата Михаила, и теперь будет царствовать Михаил Второй! Вот и всё! А то ведь разболтались до того, что полицмейстер представил в губернское правление список работников правления, которые должны были платить налог за своих собак. И список был составлен так:

Губернатор — собака, Главный архитектор — собака, Санитарный врач — собака...

Ну и так далее. Вот и гадай теперь: то ли полицмейстер так составил список по глупости, то ли он большевик. Или вот газета «Сибирская жизнь». Взяла вдруг и сообщила: дескать, царя прогнали, министров его упрятали за решётку. Говорят, около редакции в Ямском переулке бушуют толпы. Толкуют про какое-то временное правительство и какой-то там Совет депутатов. Провокация, не иначе. Редактора надо арестовать, и вообще— всю редакцию...

Пока Михаил Николаевич размышлял подобным образом, он услышал доносившиеся из прихожей молодые зычные голоса:

— Мало ли, что никого не принимает! Пойми, бестолочь, нам не нужно, чтобы губернатор нас принял, нам нужно сообщить ему, что он получает большое перо в зад, чтобы лететь на все четыре стороны, ясно? А себя, бестолочь, можешь считать уже уволенным, собирай свои манатки и марш из этого дома на все четыре стороны!

От услышанного Дудинский вскипел гневом, и тотчас в губернаторский кабинет вошли молодые люди в кожанках. Без приглашения расселись в кресла. Без разрешения закурили папиросы. Один даже ему протянул портсигар:

— Закуривайте!

Представились, назвали свои должности. Они из какого-то временного комитета общественного порядка и безопасности. Он даже не понял, кто из них — кто. Тогда один из них, одетый в чёрное пальто и с красной повязкой на рукаве, представился:

— Аркадий Фёдорович Иванов, комиссар временного отдела милиции временного комитета общественного порядка.

И положил на стол предписание— освободить помещение. На предписании — лиловая печать, без орлов, неизвестно что обозначающая.

— Но как же, господа? Где же я должен жить? У меня семья, прислуга. И такая масса вещей, мебели. Быстро собрать всё просто невозможно! Кроме того, я могу подчиниться только предписанию из Петербурга. Меня Петербург назначал.

— Вас назначал не Петербург, а бывший царь, теперь царя нет, и в Томске осуществляем власть мы.

И самый молодой и наглый подошёл к форточке и крикнул:

— Заходите, товарищи мужики, мебель выгружать! До свидания, гражданин Дудинский, адью! Вас ведь выгружать не нужно? Сами из помещения выйдете?

Дудинский хотел попросить у лакея валерьянки, но не успел ничего сказать, как в кабинет вбежали грузчики, от них несло спиртным.

— Граждане начальники! В окна мебель выкинуть можно?

— Можно!

Затрещали оконные рамы, полетели на улицу стулья, столы, диван в окне застрял, и грузчики страшно матерились, не обращая на бывшего губернатора ни малейшего внимания.

Дудинский, полный, статный, сразу будто стал меньше ростом, вышел на улицу. Увидел толпу народа, все над ним смеялись. Он втянул голову в плечи, поспешил спрятаться за горой сундуков. В голове пронеслось: «Ещё и расстреляют, пожалуй. Или только арестуют?».

А пьяная толпа солдат, мещан и непонятно каких людей орала и вопила новую частушку:

— Бога нет, царя не надо! И без них мы проживём, Золотые зубы выбьем, На монеты перельём!

Два молодых человека артистической внешности осторожно несли огромную оранжевую вывеску, на которой алыми буквами было написано:

ДВОРЕЦ СВОБОДЫ

Губернатор из-за своих сундуков краем глаза увидел, как солдаты, без шапок, в расстёгнутых не по уставу шинельках, пьют что-то из огромной бутылки по очереди.

Один из солдат восхищённо сказал:

— Ну, братцы, хороша брага! Настоящий стенолаз!

Пьяные мужики влезли на крышу железнодорожного управления и, поддевая ломami, свергли вниз двуглавого орла. Он упал с грохотом, едва не прибив толстую даму с собачкой. Отчаянный маленький кобелёк с рычанием ринулся на обломки царского герба, попытался откусить кусок, но понял, что жёсть ему не по зубам, задрал ногу и демонстративно пустил жёлтую струйку на обидчика.

В этот момент к груде вещей, возле которой в кресле сидел взъерошенный Дудинский, подошёл крепкий мужик, по виду приказчик, и тихонько сказал:

— Иннокентий Иванович предлагают вам помощь. Вещи ваши мы отвезём сейчас на наш склад, а вы пожалуйста к хозяину, он рад пригласить вас.

— Так вы — от Гадалова?

— Именно! Иннокентий Иванович видел всё это форменное безобразие, и считает за честь помочь вам. Пожалуйста в пролёточку, за вещи не беспокойтесь, я тут — с лошадьми и работниками...

Сердце у Дудинского с бешеных скачков перешло на более умеренный ритм. Он сел в пролётку и прикрыл лицо картузом. Кучер знал дело и свернул ближе к роще, где народу в этот момент было меньше. Ехать было недалеко, сразу за собором открывался вид на дом Гадалова.

Иннокентий Иванович встретил Михаила Николаевича на крыльце.

— Проходите, проходите, Михаил Николаевич! О, времена! О, нравы!

— К чему это всё может привести, как вы думаете? — спросил Дудинский. Ему хотелось узнать, что будет с царскими чиновниками. — Вас-то, деловых людей, кажется, не трогают?

— Из домов пока не гонят, — улыбнулся Иннокентий Иванович. — Дома-то у нас, слава богу, не казённые, как у чиновников, а свои собственные. **Обостальном**— думаем. Как раз ко мне коллеги пришли посоветоваться, как быть. Чай пьём да кумекаем. Почаёвничайте с нами, у нас от вас секретов **нет**.

— С удовольствием поплю чайку! — согласился Дудинский. — А как вы **думаете**, что мне следует теперь предпринять?

— Прямо скажу, Михаил Николаевич, вам следует немедленно, теперь же уехать вместе с близкими вечерним поездом. Я слышал, что могут вас арестовать. Возьмите в багаж самое необходимое и отправляйтесь. Мебель я вам потом постараюсь переслать.

Дудинский прибодрился и пожал Гадалову руку.

В обширной комнате под картиной Васнецова «Три богатыря» за столом сидели давно знакомые Дудинскому томские торговые люди. При виде бывшего губернатора некоторые привстали и поклонились, а некоторые сделали вид, что они с Дудинским никогда не были знакомы. Это его поразило: «Вот сволочи! Прежде дрожали, входя ко мне в кабинет!».

Гадалов занял место в центре стола. Если раньше на картине «Три богатыря» для него Добрыней Никитичем был дядя царя Николай Николаевич, Алёшей Поповичем— сам царь, а Ильёй Муромцем— Распутин, то теперь временное правительство было ни на что не похоже. Видел он уже портрет Керенского. Ну какой же из него богатырь? Глиста в суконном френче! И глаза — сумасшедшие.

Впрочем, посмотрим, посмотрим, лишь бы нас не трогали...

Разговор за чаем шёл о городских делах. Конечно, всякие перемены власти для торговых людей — риск, а может, и разорение.

Сопливый комитет общественного порядка вдруг отменил карточки на хлеб и разрешил его свободную продажу. И что? И цены подскочили, и хлеба не стало. Тогда ихняя молодая милиция стала лазить по купеческим подвалам: где тут у вас зерно спрятано? Нашли шиш да маленько.

Кинулись искать и ломать самогонные аппараты. В городе почти ничего не нашли. Горожане просто не отпирали двери, и грозили, что будут отстреливаться. И называли представителей новой власти бандитами. В окрестных лесах милиционеры нашли избушки с перегонными аппаратами и самогоном, сожгли их. Да что за беда? Кому надо — гонят самогон из свеклы и картошки.

В феврале у Дома Свободы стали собираться митинги в поддержку учредительного собрания. Никто толком ничего не знал, но в народную милицию записывались толпами, в неё записывались и эсеры, и большевики, и уголовники, и представители союза русского народа, и союза сионистов. А вот жандармов, полицейских стали всех поголовно отправлять на фронт: хватит, попили нашей крови, сатрапы!

И вот— опытные полицейские на фронте, а милицейская шантрапа ничего с уголовниками не может поделать. Милиционеры одеты, как простые солдаты, в самое дешёвое хэбэ*, и на рукавах носят белые повязки с личным номером. А раньше личные номера имели только извозчики. И ведь как с пьянством борются?

Всегда много было народа в ресторане «Славянский базар» на берегу реки Томи, где когда-то обедал сам Антон Павлович Чехов. Хозяин заказал восковую

фигуру. Изваяние писателя посадили за специальный столик, перед «Чеховым» всегда стоял стакан с вином, чтобы можно было с ним чокнуться любому посетителю. Некоторые заказывали этот столик, и весь вечер пили с Чеховым, беседовали с ним, фотографировались на память.

В один из вечеров Кляевские анархисты явились в ресторан «Славянский

* Хэбэ — хлопчатобумажная материя защитного цвета, из которой шили форму для солдат.

базар» с милиционерскими повязками на рукавах и реквизировали всю дневную выручку, как они заявили, — в пользу народа. Кроме того, взяли на кухне двух огромных копчёных осетров, корзину лицензионного вина, а из зала прихватили с собой статую Чехова. Ресторан закрылся, хозяин был разорён.

И до чего дошло? Каждый себе армию создаёт. В еврейской слободке по ночам в чёрных твёрдых шляпах, в чёрных пальто, с красными повязками на рукавах вышагивают молодые евреи с подбритыми тонкими усиками. У каждого в кармане — наган, у кого нет нагана, у того — пест или гирыка на цепочке. Патруль. Самооборона. Евреи в карауле! Кошмар! Армянская сотня. А есть ещё тюркско-татарский отряд — идут в чалмах, с кинжалами, палками. Ни хрена себе — полиция!..

Гадалов призвал всех богачей брать пример со Второва. Он прислал из Москвы своим подчинённым тайную инструкцию, как действовать. В его пассаже была объявлена распродажа всех товаров по самой дешёвой цене, но не за деньги, а за золото. Приказчики проверяли его кислотой и взвешивали на малюсеньких весах. В течение недели были распроданы почти все товары громадного магазина. И главный приказчик с набитым золотом тугим кожаным мешком спустился в подвал, отпер там дверь в подземный ход и ушёл в неизвестном направлении. Больше этого приказчика никто никогда в Томске не видел. А подземный ход был сразу же завален камнями и глиной работниками пассажа. Теперь это — почти пустое здание, и там уж невозможно что-либо реквизировать в пользу народа.

— Ну, посмотрим, посмотрим, — сказал Иван Васильевич Смирнов, — не станет же новое правительство рубить сук, на котором сидит! Куда оно без нашего брата купца? Но надо нам пойти навстречу новой жизни. Как? Сейчас стали возвращаться в Томск политссылные из нарымской ссылки. Здесь их встречают, как героев. Устраивают для них концерты и приёмы. А это всё карбонарии! Большевики там, эсеры, меньшевики, и чёрт их там ещё разберёт! Главное в чём? Разве нам надо, чтобы они тут у нас оседали, в городе? Да нет, если мы не совсем дураки. Они тоже, небось, по своей Европе соскучились. Давайте соберём хорошую сумму, пойдём в их комитет. Вот вам денежки. Езжайте в свои Петербурги, Тамбовы, или хоть в Крым, на Кавказ. Поправляйте здоровье!

— Есть примета, — сказал купец Голованов, — подавать нищим деньги — это к слезам, к несчастью. Нищим можно подавать жратву и одежду.

— Ты не прав, — улыбнулся Гадалов, — в данном случае эта примета не подходит. Слезы могут быть, если эти бывшие ссылные накопятся в Томске в большом количестве. Тут у нас и так кого только нет! Вот я сейчас сделаю

подписной лист, давайте все друженько поможем страдальцам. Лишь бы из Томска быстрее умотали. Ветер им в зад!

25. Летние грозы

Грозы грохотали над Томском, и сыпали огромные градины, убивавшие зазевавшихся цыплят во дворах. Летели ужасные шаровые молнии. Дочку вдовицы Евдокии Никитичны Маклаковой, Малашу, гроза стукнула неподалёку от Преображенского храма. Убило молодую женщину насмерть, а ребёночек, которого она несла на руках, жив остался, только ботиночек с левой ноги у него слетел, да чуть-чуть пяточку дитятку обожгло.

Вдова Евдокия Никитична теперь каждый день свечки в этом храме ставит, хоть и не близко живёт. Ведь это, может, знамение божье? Мальчик-то сураз был, неизвестно от кого Малаша его прижила. Вот, мол, бабушка, воспитывай внука! Ну, стала ходить Евдокия Никитична молиться в Преображенский храм. Там и батюшка такой благолепный, хотя и молодой, но мудрый. Он по поводу молоньи целую проповедь сказал. Дескать, десница божья знает, куда метит. Между прочим, сам-то батюшка нынче летом громоотвод на куполе, на самом кресте, установил. Потому, что он ещё и грамотный человек. И опять проповедь сказал: бог не против науки, он против всякого бесовства.

Всё больше прихожан стало в Преображенский храм ходить, батюшку Златомрежева слушать. И голосом, и волосом приятен, и обходителен, всем взял.

Однажды вышла Евдокия Никитична из храма, вся после моления размякшая, благостная, глядь— возле церковной ограды на старой армейской шинели её бывший приёмный муж лежит, Фёдор Салов. Рядом с ним крест-накрест два костыля лежат, а левая нога у него по самое колено отсутствует. Тут же, на траве, у Федьки картуз вверх дном перевёрнутый, и в том картузе пятаки и рубли лежат. Впрочем, рублей-то всего два, а пятаков много.

— Федюшка! Да КЙ.К ЛС6 это? Ты на психу в арестантское отделение как ди-зентир был определён! А ноженька-то, что же такое с ней случилось? Неужто психи отломали?

— Молчи, дура-баба! Не видишь, что ли, перед тобой фронтовик заслуженный находится? — вскричал сердито Федька. — Вон же на груди кресты георгиевского кавалера! Так подай увечному воину Христа ради!

— Феденька! Может, домой пойдём? Ты же видишь, на руках у меня твой внучек! Его Петей зовут. Знамение было, его тоже в ноженьку, как тебя, мо-лоньей ударило!

— С тобой говорить, что со старой лужёной пуговицей! Какой такой внучек, если у нас детей не было? И в ногу меня не молоньей ударило, а германской шрапнелью. Я геройский воин! А вы мне на психу даже передачу ни разу не принесли, хотя в кладовке и окорока были, и сало!

— Феденька! Носили передачу, так ведь нам сказали, что сбежал ты!

— Ну и сбежал! На фронт сбежал, за родину страдать! А ты, старая образина, иди своей дорогой, ты раньше не краше помела была, а теперь тебя и кобель шелудивый не станет!

— Ах ты... — вскипела Евдокия Никитична, — не будь рядом храма, я бы тебе такое сказала! Вор! Фармазон!

— Иди-иди! Не то сейчас костылём между глаз засвечу!

Всю эту картину наблюдал юноша в модном костюме, худой, бледный, больной по виду. Он стоял возле церковной калитки, но внутрь не входил, словно ждал чего-то. Глаза его блуждали. И когда Маклакова с внуком скрылась за углом, юноша поздоровался с Фёдором, сказав:

— Вы меня не узнали? Мы с вами вместе были под стражей на психолечебнице. Я — Коля Зимний.

— А-а! Я тебя сразу не признал. Там ты в халате был, а тут таким франтом ходишь. Тебя выпустили? Сейчас ведь свобода пришла, всех выпускают!

— Да нет, не всех. Уголовные сидят. Просто с меня обвинение сняли. А политических — да, выпустили всех. Этот Криворученко, что пытался цепи грызть, пообещал врачам, что всех их отдаст под суд.

— Лихой, лихой парняга! А ты — что? Куда идёшь?

— Мне нужен священник Златомрежев.

— О! В дьячки решил податься?

— Да нет, просто совета хочу спросить.

— Ладно, иди спрашивай! А как разбогатеешь, так подавай мне не меньше рубля, как израненному воину!

К удивлению Федьки, Коля дал ему целых два рубля. Но Коля и сам был удивлён тем, что бывший сокамерник успел побывать на фронте, и даже заработал Георгиевский крест. Коля Зимний вошёл в церковь, медленно озирал всё вокруг. Смотрел, как колышутся язычки над свечками. Вот горят свечки во здравие, а вон за упокой. Но это чужие огоньки, чужая жизнь, чужая смерть. Кто-то о ком-то заботится, страдает. Только он ни о ком не заботится. Один. Всегда. Везде.

Он вздохнул, отступил к выходу, перекрестился и вышел. На дворе присел на скамью и стал ожидать, когда батюшка выйдет из храма.

Священник появился неожиданно, и разговор начал сам:

— Я вижу, что вы устали, что вы хотите поговорить со мной, что вам нужна помощь.

Коля поднялся со скамьи навстречу ему. Он поведал вкратце предысторию своего определения в психолечебницу. Его освободили только день назад. Он вышел из своего зарешеченного подвала в калошах-опорках, в халате, полы которого мели лестницу. У него до сих пор синие круги под глазами и коротко остриженная голова. Ему было стыдно заходить в кабинет профессора Топоркова, он стеснялся своего вида.

Когда он всё же вошёл в кабинет, профессор извинился, что не мог раньше выпустить Колю. Хотя стало известно, что убийца Белы Гелори совсем иной человек, судебные власти всё никак не могли оформить нужные документы. Топорков извинительно говорил, что режим арестантского отделения, да и всей лечебницы установлен не им, а вышестоящими инстанциями.

Больше всего измучили Колю таблетки, которые изнуляли мозг и всё тело делали свинцовым. Санитары строго следили, чтобы больной не спрятал эти таблетки за щеку, чтобы потом при удобном случае выплюнуть их. Так и жил Коля

долгие месяцы, словно поленом по голове ударенный. Но вот его не только освободили, но Топорков ещё передал Коле деньги, оставленные для него Ваней Смирновым. Профессор сообщил о страшной гибели Вани...

— Ваня был моим единственным на свете другом! — сказал Златомрежеву Коля. — Я в отчаянье. Почему всё так страшно и дико?

— Да, жуткого и дикого на свете — премного. Надо смириться, — сказал Златомрежев. — Господь испытует нас, а мы должны служить смягчению нравов по мере сил наших. Я должен вам сказать, что, когда я возвращался из госпиталя домой, то ехал из Москвы в одном поезде вместе с этим самым графом Загорским, который оказался вампиром. И, знаете, я даже чувствовал доброе расположение к нему. Он очень умело притворялся честным, порядочным человеком. В нём чувствовалась интеллигентность, изысканная аристократичность. Я был поражён, когда узнал, что он скрывал под этой своей великолепной личиной.

— Его поймали?

— Увы! Но божьей кары ему не избежать. Давайте переменяем тему, вы же не о Загорском пришли меня спросить?

— Да, конечно! Я раньше работал младшим приказчиком во Второвском пассаже. Нынче я был там. Должность моя сокращена. И не только моя. Почти все отделы закрыты за неимением товара. Поселился в общежитии, где я прежде жил, там теперь — беспорядки. Проживают разные подозрительные люди. Я ночевал там три ночи, и почти не спал, потому что боюсь за свои деньги. Мне очень неудобно, но я хочу вас просить взять мои деньги на сохранение до того времени, как я обрету более надёжное пристанище. Знаете, что меня мучает более всего? Могу я быть полностью откровенным?

— Как же иначе, если я священник?

— Я покажусь вам глупым и смешным. Меня младенцем подбросили в приют. Я не знаю родителей. Но приютские служители говорили, что я был завернут в очень дорогие пелёнки и одеяльце. Я чувствую в себе что-то такое... Но я не получил образования. Я был грумом, надевал на покупательниц сапожки. Стал младшим приказчиком, а потом заключённым. Вот и всё. Мне во сне снится, что отец мой был офицером... Дворянином... Красавцем... Смешно, правда? Но я за своих родителей даже свечку поставить не могу! Куда её помещать? За здравие? За упокой? Живы ли они, где они? И как жить мне теперь, что делать? Я решил проситься отправить меня на фронт! Пусть лучше погибну. А может, получу чин, если повезёт, и останусь живым.

— Сколько вам лет?

— Увы, мне уже семнадцать! Златомрежев грустно улыбнулся:

— Подумать только — какие лета! Я чувствую — вы добрый юноша, искренний. Я мог бы поговорить с епископом, чтобы он рекомендовал вас в духовное училище.

Ваня сказал:

— Я хотел как-то по-иному повернуть свою жизнь к лучшему.

— Что же! Можно пойти ко мне в храм псаломщиком.

— Я имел в виду не это. Значит, вы стремление моё попроситься на фронт не одобряете?

— Вы такой добрый, нежный юноша. А сейчас идёт такая непонятная война, что и генералы от огорчения умирают. Можно ведь поискать карьеру в другом направлении. Вам ещё не поздно себя искать...

Знаете, есть идея. Был в Томске такой князь, по фамилии Долгоруков. У него остался сынок, с матушкой которого я знаком. Володя по годам близок с вами. Сейчас они на даче в Заварзино. Кедр, ключи целебные... Я дам вам письмо к Долгоруковой. Вас примут на лето. Отдохните в эту летнюю пору, парного молочка попейте. Нужно отойти от страданий, оттаять душой.

Коля сказал:

— Я бы поехал. Но то, что у меня в подкладке пиджака зашито двести тысяч, меня с ума сведёт. Тогда уж я попаду на психу точно по назначению. Я ведь так и спал эти три ночи — не снимая пиджак. Вернее, не спал, а только дремал. У меня никогда не было таких денег. Возьмите, ради бога, их у меня на сохранение. Мне и расписки не надо! — при последних словах Коля покраснел.

Отец Николай улыбнулся:

— За доверие ко мне, божьему слуге, спасибо. Но боюсь, что ваши деньги в одночасье превратятся в бесполезную кучу бумаги. Время такое смутное. Я слышал, что новое правительство собирается выпустить другие, новые деньги. Купцы нынче бумажные деньги и в руки не берут. Только серебро и золото. У вас-то бумажные купюры.

— Что же делать, сдать в банк?

— Не поможет. Чтобы спасти бумажки, надо купить ценную вещь. Кольца золотые или ещё что.

— Но я не сумею. Я и цен не знаю. Не поможете ли вы мне?

— Священнику этим заниматься не полагается. Но отдайте ваши деньги моему прихожанину, купцу Степану Туглакову. Он простой, но честный человек, по моей просьбе сделает всё бескорыстно...

В то время, когда Коля беседовал с настоятелем храма, к церковной ограде со страшным треском и дымом подкатил на двухколёсном самокате «Филь-дебранд» человек в кожаном костюме. На ногах у него были кожаные краги, руки были в чёрных перчатках. Шлем и телескопические очки придавали ему вид неземного существа. Приделать бы ему хвост, ни дать ни взять — сатана, явившийся из ада.

— Ну, — сказал он Федьке, — сколько намолотил?

Федька протянул циклисту завязанные в грязный носовой платок деньги.

— Или половину затырил, или спишь тут целый день на солнцепёке! — сердито сказал самокатчик-циклист. — Смотри! Ты наши законы знаешь!

Адская машина заурчала, задёргалась, громко выстрелила и выпустила при этом из зада вонючую струю дыма. Аспид умчался. — Кто это был? — спросил вышедший из калитки Коля Зимний.

— Да так, чудак один, — нехотя ответил Федька.

26. Ночь абсолютной свободы

Удивительная жизнь началась в Томске. Про такую жизнь в народе обычно говорят: «Хоть есть нечего, зато жить весело». У пристани валялись калеки, бездомные, по ним толпами путешествовали вши. Оравы полуголых ребятишек, по

которым можно было изучать анатомию, объели в скверах всю боярку и стручки акаций. Появились первые тифозные больные. Появился и первый тифозный барак.

Неслыханные вольности позволяли себе газеты, которых становилось всё больше и больше. Они не стеснялись, пользовались такими странными заголовками: «За мои мильёны— снимите панталоны!», «Бандит-привидение на Обрубке», «Пароход! Поцелуй меня в задний проход!».

В книжных магазинах появились романы о похождениях Григория Распутина, а также пикантная книжечка неизвестного автора о кругосветном путешествии балерины Матильды Кшесинской в кортеже наследника престола, переодетой пажом и прозывавшейся Юрием Ордынским. Там было много откровенных сцен. И всем хотелось узнать, как в юности развлекался бывший царь-государь. В тех же магазинах можно было купить и книги немецкого экономиста Карла Маркса, ранее запрещённые цензурой.

В театрах чего только не показывали — и фараонов с обнажёнными наложницами, и даже слона, который влюбился в куртизанку и вступает с ней в связь! Ресторан Альказар на Бульварной оформили в виде Толедской башни замка Карла Пятого. И танцуют там фламенко, гремя кастаньетами, натуральные испанские цыгане. Как они попали в Томск? Вы не знаете?

Приехала в город некая труппа Эрнова. По рекламным тумбам распластались афиши: «Бесстыдница», «Ночь новобрачных», «Тайна спальни хорошенькой женщины», «Не ходи же ты раздетая!».

У каждого были свои заботы. В один душный и прекрасный от запахов цветов и трав поздний вечер, когда в омутах Ушайки тяжело всплёскивали свинцовые таймени, купец третьей гильдии Степан Туглаков бежал по Миллионной улице с огромным рулоном на горбу. Издали казалось, что мужик тащит бревно. Притормозив возле Туглакова на своём моторе, Иван Васильевич Смирнов спросил:

— Ты что же, Стёпка, по ночам брёвна таскаешь?

— Не! — поставив рулон на попа и отирая со лба пот, отвечивал Туглаков. — В общественном собрании был. Там они зачем-то у самого потолка рояль подвесили. Я всё боялся, что роялина эта сорвётся и на голову мне упадёт. И я там картину купил у этого... как его? Из Москвы приехал, новомодный такой мазила. Забыл, как он называется. Выставку в общественном собрании сделал.

— Художник, что ли?

— Художник, но как-то чудно называется. Как? Фу... фу... фуфырист!

— Футурист! — поправил Смирнов. — И зачем тебе его картина? Наверняка гадость какая-нибудь.

— Ничо не гадость. «Прощаль» называется.

— Про-ща-аль? А кто с кем прощается, а ну покажи!

— Так ведь грязно, развернёшь картину да запачкаешь, а ей цены нету.

— А ты на сиденья в моей машине рулон клади, и разворачивай потихоньку.

Туглаков, сопя, положил рулон в машину и стал осторожно отворачивать край картины, Смирнов надел очки и смотрел. В загадочном свете луннопоказался огромный глаз, висевший на зелёной ветке берёзы, из глаза капали крупные хрустальные слёзы. Внизу была птичка, привязанная за ножку то ли проволокой, то

ли верёвкой к фонарному столбу, она рвалась к глазу, очевидно, желая клюнуть его. Всё это было страшно и непонятно.

— Сколько дал?

— Золотой браслет. За деньги он не продаёт, гад! В его картине — тридцать два оттенка.

— Ты, Стёпка, очумел! Дорого дал!

— Он сказал, что через сто лет эта «Прощаль» будет стоить миллионы.

— Так ты ж не доживёшь.

— Так у меня ж дети...

— Ладно, садись, подвезу, а то с такой дорогой картиной, в темноте... Ещё отнимут. Нынче на мосту, говорят, раздевают...

Мотор крякнул грушей и помчал двух купцов и картину за мост... Подвозя малохольного купчишку, Иван Васильевич почувствовал, что ну никак не жить ему без этой «Прощали». Он сказал:

— Тебе, Стёпка, такую большую картину даже и повесить негде. Продай её мне, я тебе дам браслет такого же веса, как был у тебя.

— Не хочу!

— Как это ты не хочешь? Ты с кем разговариваешь, я тебя разорить могу!

— Теперь, Иван Васильевич, — свобода.

— Какая ещё свобода? Да и на хрен тебе эта картина? Ты — что? Я тебе два браслета золотых дам и кольцо в придачу. Молчишь? Ты чего же, сволочь, молчишь? Ну, хорошо, я тебе жёлтой пшенички* половину чайного стакана насыплю!

— Останови машину! — сказал Степан Туглаков. — Я дальше пешком дойду.

Степан вылез из машины, подкинул плечом тяжёлый рулон.

— Ну, ты, Стёпка, попомни! — в гневе вскричал Иван Васильевич. — Купец — без году неделя, третьей гильдии, а туда же! Давно ли лаптем щи хлебал?

— Не твоё собачье дело! — донеслось из тёмного переулка, и Туглаков канул в ночи.

Иван Васильевич вернулся в свой полупрозрачный дворец, сунул в скважину ключ, прослушал всегдашнюю песенку замка. Прислугу будить не стал, тихо поднялся к себе в опочивальню.

Ночь была такая густая! Луна запуталась в ветвях тополей у самого окна, и словно дразнилась, подмигивала. Смирнову стало жаль своей уходящей в неизвестность жизни. Вспомнил Ванюшу, сдуру наложившего на себя руки. И Анастасию пришлось от себя отдалить, чтобы не было лишней болтовни в городе. Боль утраты уже прошла. Но всё же под сердцем что-то ныло. И сына было жалко, и себя.

Кто понимает пожилых людей? И морщины не разгладишь, и печень больную не исправишь. Что ни съешь — колом под ложечкой торчит. Да ещё скребёт там, так противно! И одышка мучить стала. И всё равно хочется сладости так, как никогда здоровому и молодому не хотелось!

Да молодые-то разве понимают— чего хотят? Он, молодой-то, ещё и не ведаёт, что под одежкой у женщины таится, не знает, как толком этим богатством воспользоваться. Напортит только. А пожилой всё знает, ведаёт, какой восторг можно испытать и как его достичь. Оттого так и тянется к молодому телу. Но боишься завидующих глаз и длинных языков. Пословицы ядовитые

* Жёлтая пшеничка — рассыпное золото, более крупной фракции, чем золотой песок.

по лавочкам всё лето вместе с кедровой скорлупой от бабьих языков отскакивают. «Седина— в бороду, бес— в ребро!».

Седина... В тёмное время суток приходится через задний двор к еврею незаметно ходить. Иудей за хорошую плату тайно подкрашивает ему волос. А часы ведь не остановишь! Вон, маятник позолоченный— туда-сюда, туда-сюда! Тик-так! Будто гвозди в гроб вколачивают! И пожаловаться никому нельзя. Скажут: чего ты? Ведь пожил!

А разве пожил? Смолоду бился, как рыба об лёд. Копеечку к копейке, всё — в дело! Недоедал, недосыпал. В Кяхту ездил, во Владивосток, в Монголию, в Китай. Как бы повыгоднее сделку устроить, как бы копейку лишнюю сшибить. Всё думалось: придёт мой черёд! И вроде черёд-то пришёл. И что? Добро приходится прятать в тайники, в подвалы. Соборную площадь назвали площадью Свободы. Митинги идут там почитай каждый день. Ораторы от самых непонятных партий. Чего они хотят, все эти бритые и с усами? О какой свободе толкуют, если у иного за душой и гроша ломаного нет?! Некоторые очень даже ясно высказываются. Отобрать всё у богатых. Общее будет всё! Всё? Значит, и бабы будут общие? И выдадут бывшему купцу Смирнову какую-нибудь старуху — пользуйся! Ты хоть и красишься, а мы твой возраст знаем!..

Куда идём? Что за жизнь такая готовится?.. А тут— Туглаков с картиной этой. Почему-то кажется, что стоит принести эту «Прощаль» в свой дворец, повесить в кабинете, и случится какое-то чудо. Не то прощение грехов, не то ещё какое добро. А Стёпка! Да как он смел перечить?..

Смирнов ворочался, постель казалась горячей, неудобной. Всё— не так. Работал, копил, мечтал...

Но в эту ночь на первое июля не спал не только Иван Васильевич Смирнов, не спали и многие люди в недостроенных казармах неподалёку от станции Томской.

Нынешний руководитель страны, бывший адвокат Керенский, носивший полувоенную форму, придумал, как можно быстро пополнить российскую армию. Из ссылки и тюрем стали забирать людей в армию. Вот и в Томске таких рекрутов разместили в недостроенных казармах. Сразу же им оружие выдали. Чтобы в два-три месяца они его пристреляли на стрельбище, немножко подучились воинской дисциплине, и можно было бы отправить их на фронт. В Томске особо опасных рецидивистов приковывали к тачкам. Куда бы они ни шли, они обязаны были тащить за собой тачку. Ложась спать, они клали тачку под нары. И то-то были рады они неожиданному освобождению! На войну идти? Да хоть к чёрту в зубы!..

Вот к этим-то полууголовным воинам в казармы тайно являлись агенты анархиста Кляева, и объясняли, что на фронт бедолагам ехать совсем не обязательно. Все советы, комитеты и партии — врут! Человек рождается свободным, это потом на него навешивают погоны, надевают мундиры. Заставляют козырять, маршировать. А человек — он должен жить, как ему нравится! Любое государство — инструмент подавления. Так завещали великие анархисты: Кропоткин, Бакунин, и многие другие. Долой муштру! Новобранцы должны восстать вместе с анархистами в ночь на первое июля 1917 года. Надо захватить власть в Томске, и сделать всех людей абсолютно свободными. Сделаем свободным Томск, потом всю Сибирь, потом — весь мир! И Томск будет анархической столицей мира.

Иван Васильевич Смирнов уже стал задрёмывать, когда гроыхнуло в районе Томска-второго. Ударили пушки. Пулемёты принялись строчить не хуже швейных машинок «Зингер».

Услышав все эти звуки, Иван Васильевич вскочил с постели, хотел нажать кнопку звонка, но вспомнил, что золото всё переправлено в надёжные места. Товары спрятаны так, что не вдруг их найдут. Ну, пусть возьмут то, что на виду лежит. Да и вообще — непонятно, кто стреляет. Не иначе как эти разномастные партии перессорились, чёрт бы их всех взял! Иван Васильевич выкурил сигару и снова прилёг — будь что будет.

А возле недостроенных казарм пули посекали кисти черёмухи и ветки акаций. Пахло их ароматом и тёплой человеческой кровью. В панике бежала земская милиция, совместно с милицией советов депутатов, или как их там ещё. Нет милиции. Огромное чёрное знамя всплыло в рассвет, на знамени серебряный череп с перекрещёнными берцовыми костями и золотая надпись: «Анархия — мать порядка!». Знамя укреплено было на броневикуе, который захватили анархисты.

Кляевцы нашли скульптора — австрийца Генриха Бермана, и этой победной ночью привели его во двор на Ефремовской улице. В тот самый двор, где когда-то во флигеле жил сам Бакунин. Михаил Кляев поставил возле Бермана охрану из двух анархистов с кольтами в руках и шестерых анархистов — с мотыгами и штыковыми лопатами. И сказал Михаил пламенную революционную речь:

— Ты скульптор! В данный момент времени надо народу дать символ. Надо спасти народ! За ночь сделай нам памятник Бакунина! Не возражай! Требуй материал, помощников, но не возражай. Откажешься — вон те шестеро моментально выроют тебе могилу на том самом месте, где ты стоишь! А те — с кольтами — расстреляют тебя! Мы засыплем яму, и тут же найдём другого скульптора. Думай! Даю минуту и пять секунд!..

Скульптор-австриец изваял памятник великого анархиста Бакунина из алебаstra ещё до рассвета. Ему светили автомобильными фарами и керосиновыми лампами. Он изобразил Бакунина в рост, с рукой, зовущей на свержение всех мировых правительств. Памятник был тонирован под бронзу. Бакунин был не очень похож, но красив.

И вскоре этот памятник стоял уже перед Домом Свободы, а Михаил Кляев кричал с трибуны:

— При освобождении города погибло немало анархистов! Молодые люди отдали жизни за дело революции и свободы жителей всего земного шара! Мы помним своих героев. Мы нашли могилу Александра Кропоткина около женского монастыря и засыпали её живыми цветами. Мы переименовываем Томск в город Бакунинбург, это теперь — столица мировой анархии!

Граждане, выпускайте канареек и щеглов из клеток! Не должно быть в Бакунинбурге ни одного заключённого! Свобода, граждане! Сейчас наши летучие отряды идут громить тюрьмы, присоединяйтесь, граждане! Вперёд! Темницы рухнут, и падут оковы с наших рук, ну и так далее! Никаких командиров, никаких господ и лакеев! Все равны! В этом и есть счастье! Ура!

Кляев трижды выстрелил вверх из кольта, и толпы кинулись громить тюрьмы и выпускать всех подряд: политических, уголовников. С наступлением ночи армия анархистов пополнилась бандитами всех мастей. И тут же пошли к Лагерному саду громить винную монополию, где в глубоких подвалах хранились здоровенные дубовые бочки со спиртом. Они хранились там много лет, выделяли в спирт дубильные вещества. Получился как бы коньяк. Кляев объявил анархистам, что надо непременно и немедленно уничтожить это огромное социальное зло.

Когда кое-как вскрыли железные кованые двери и ворвались в подвалы, то увидели, что зло это поистине огромно. Почти на два километра тянулись подземные галереи, где на стеллажах уютно прикорнули огромные дубовые бочки.

Кляев прострелил одну из бочек, из дыр ударили тугие струи, мужики подставляли под струи раскрытые рты. Глотали. Отирали рукавами небритые подбородки. Но большая часть спирта проливалась на землю, пропадала даром. — Выкатывай бочки наверх! — прозвучала команда. Кряхтя, катили вверх по крутой лестнице. Наверху бочка застряла в двери. Пришлось ставить её на попа. Толкали дружно, а бочка упала, покатила обратно в подвал по ступеням, подпрыгивая и сшибая полупьяных анархистов.

Кляев матерился. Потом успокоился. Похороним, как героев, борцов за свободу! Пусть томичи видят, кто за их счастье свои молодые жизни отдал.

И были пышные похороны героев. И вино текло рекой. Памятник Бакунину перенесли с площади Свободы ближе к реке Томи, к пристани. Установили в пристанском сквере. Тут — речные ворота города. Тут простор и вольность, и свежий ветер с реки. Тут и стоять великому анархисту.

27. Молитвенный барабан

Григорий Николаевич Потанин быстро дряхлел, он терял зрение, перебеливать рукописи ему помогали добровольцы из томских курсисток. И, конечно, он говорил им о значении Сибири, о том, что живёт здесь народ, в корне отличающийся от людей, живущих в европейской части России.

Говорил и о том, что на свете много красивых городов, но Томск — всех прочих красивее. Смотрите: вот полноводная река Томь, а город стоит на холмах, одетых лесом и кустарниками, с гор текут малые речки и ручьи, много озёр больших и малых, каждый холм венчает церковь, и многие дома этого центра великой губернии смотрятся, как картины, вырезанные из дерева. Здесь свой говор, свои нравы и обычаи, и развлечения свои... В деревнях даже малые дети привычны

влезать на высоченные кедры, сбивая с ветвей шишки, они при этом проявляют чудеса ловкости. Где ещё можно видеть, как во время ледохода люди перебегают с одного берега на другой по льдинам, плывущим по великой реке? И когда застывают реки и озёра, их превращают в катки, и каждый человек умеет скользить на коньках, а уж лучших лыжников, чем сибиряки, во всей России и во всём мире не сыщешь. Ловкость и сила, телесное и духовное здоровье, это всё — сибиряки.

И город влияет на характер людей. Здесь даже ворота имеют своё особенное лицо, отражающее характер Сибири. Взгляните-ка на въездные усадебные, и церковные, кладбищенские ворота! Они необыкновенны! Есть ворота с личинами, похожими на лики степных монгольских истуканов, есть ворота — с имитацией кровли китайских дворцов. Таких ворот вы не увидите в срединной России...

Закончив свои занятия и проводив курсисток, Григорий Николаевич клал в карман блокнот, карандаш, и выходил из дома еврейки Сарры Каруцкой. Он снимал здесь квартиру, потому что из окон открывались чудные виды. Одни окна смотрели на речку Ушайку и на мост, в другие — видна была Воскресенская гора, с костёлом и каланчой на её вершине.

«По крайней мере, если будет пожар, то пожарная команда рядом», — думал Потанин, глядя на каланчу.

Он шёл отнюдь не старческой походкой. Встречавшиеся прохожие все как один с ним здоровались. Он опять удивлялся этому. Его знает весь город? И вспомнился ему девятьсот пятый год. Тогда росло революционное движение. Осень прошла в стачках. Бастовали студенты, рабочие, часть служащих. Власти безумствовали. Губернатор наблюдал с балкона, как черносотенцы подожгли театр Королёва и соседнее здание, и убивали всех, кто пытался спастись из огня.

В конце октября начались погромы. Били евреев, студентов, могли убить всякого, кто имел интеллигентный вид и носил очки. Но митинги не прекращались. В публичной библиотеке заперлись студенты и гимназисты, а в здание ломилась желавшая расправиться с «бунтовщиками» толпа. И тогда он побежал туда, без шапки, от холодного ветра копна его седых волос вздыбилась. И пропустили его казаки, и пьяные грузчики, и извозчики. «Защитники царя и отечества» почувствовали, что он может тут распоряжаться, хотя он не выделялся ни ростом, ни одеждой. И он вывел из здания студентов и гимназистов, как Моисей вывел свой народ из Египта. Он гневно твердил:

— Стыдно! Это же наши дети! Как можно?

Газеты потом писали об этом, как о подвиге. Спасённые им дети давно выросли. Он их не узнает, их ведь было много. А они все его запомнили, вот и здороваются.

И опять в его памяти ярко нарисовалась Мария Григорьевна Васильева, поэтесса. Когда она выпустила свою первую книгу «Песни сибирячки», он написал об её стихах взволнованную статью. Это же так важно, что у Сибири есть свои замечательные поэты! А потом женился на этой поэтессе, когда ей было всего сорок восемь, а ему семьдесят шесть лет.

Они тогда сели в Томске на роскошный пароход и отправились в Барнаул. Горной рекой и хвойным шелестом отшумел, отзвенел медовый месяц. Были

походы, костры, мёд в сотах, стихи. А через пять лет они разошлись. Это был последний пожар сердца в его жизни.

Первая его супруга скончалась давным-давно, когда они вместе были в экспедиции на Алтае. Теперь главная его любовь — Сибирь, куда попал он в давние годы. Уже далёким сном кажется Омский кадетский корпус, куда он, сын казака, прибыл из станицы Ямышевской Семипалатинской области. Он подружился там с Чоканом Валихановым, казаком из знатного правительствующего рода. Этот аристократ, оказывается, мечтал о великой справедливости. Столица, забирающая из далёких сибирских окраин всё, взамен не даёт ничего. И разве можно справедливо и правильно руководить таким далёким краем из Петербурга? Сколько же можно держать богатейший край, Сибирь, в дикости и нищете?

Речи Чокана были опасны, и вселяли в юное сердце тревогу. Его слова были как зёрнышки, лежащие в тёплую рыхлую почву, чтобы после дать обильные всходы. Позднее Потанин учился в университете в Петербурге. На третьем курсе он был одним из застрельщиков студенческих волнений, и попал в Петропавловскую крепость. С тех пор много воды утекло, куда его только судьба не носила. Старость он встречает в Томске. А дети? Все дети Сибири — его дети.

Лучшим отдыхом Потанин считал пешие прогулки по закоулкам великого города Томска. Ведь даже мебель томская несёт на себе черты этого дивного края. И во многих томских домах стоят огромные, до потолка, буфеты, по дверцам которых раскиданы резные цветы, тихие заводы с кувшинками и глухари на кедровых ветвях.

Последнее время он часто отдыхает в роще на берегу Ушайки в маленьком буддистском монастыре. Два прислужника день и ночь крутят молитвенный барабан Хурдэ, в котором — свитки с текстами. Звенят мелодичные колокольчики. Старик монах, одетый в жёлтый плащ, наигрывает заунывные мелодии на тибетской флейте, сделанной из человеческой кости.

Здесь Потанину хорошо вспоминать свои путешествия. Из трубы, монаха выплывают раскалённые пески Средней Азии и Монголии, странные горы Тибета, загадочные пейзажи Китая. Переводчик, фольклорист, натуралист, этнограф, писатель, он давно понял, что у Сибири — особая миссия.

Великий старик спустился к речке, вежливо по-монгольски поздоровался с монахом и прислужниками. Они долго кланялись, пригласили его к своей обеденной трапезе. Потанин знал, что отказ был бы страшной обидой, и согласился отведать самодельной брынзы, которую запивали жирным монгольским чаем. Григорий Николаевич уже собирался прощаться с гостеприимными обитателями монастыря, когда в ограде появились два новых посетителя. Это были симпатичные, хорошо одетые юноши. Одного Григорий Николаевич знал. Это был Володя Долгоруков. Григорий Николаевич вздохнул, глядя на него.

Отец Володи, князь Всеволод Долгоруков, попал в Томск так же, как и многие его нынешние жители. Когда ему было примерно столько же лет, сколько теперь его сыну, он был отдан под суд по делу орудовавшей в Петербурге шайки «Бубновых валетов». Фальшивые ценные бумаги, облигации, миллионные дела.

В Сибири князь не сгинул, не потерялся. Он служил присяжным поверенным в губернском суде. И кроме того был редактором первого в Сибири журнала «Сибирский наблюдатель». Он был поэтом, писателем, публицистом, читатели ждали его новых статей, печатавшихся в газетах «Сибирская жизнь» и «Сибирский вестник». Первое время он подписывался псевдонимом «Северянин», потом подарил этот псевдоним столичному поэту Лотареву. А сам стал издавать статьи и стихи под своей собственной фамилией. Он вообще опекал молодых литераторов. Был в Томске способный молодой прозаик Валентин Курицын. Долгоруков правил его криминальные романы, и печатал в журнале под псевдонимом Некрестовский. У Валентина был несомненный литературный дар, но его свела в могилу известная российская страсть к горячительным напиткам. Когда в 1912-м году на Вознесенском похоронили и Долгорукова, то могилы ученика и учителя оказались рядом.

Потанин смотрел на Володю Долгорукова и узнавал в нём черты покойного князя. Но было и ещё нечто в облике юноши. Многие он взял и от матери — урождённой Аршауловой. Князь в своё время женился на сестре полицмейстера, она окончила Петербургскую консерваторию, великолепно пела и играла на фортепиано. И была красива, как и её брат — полицмейстер.

Пётр Петрович Аршаулов-первый носил на указательном пальце золотой перстень с бриллиантом, подаренный ему Александром Третьим. Аршаулова называли томским Пинкертоном за то, что он изумительно ловко распутывал самые запутанные уголовные дела. Извозчики говорили, что полицмейстер всегда платит честно, но имеет привычку чиркать шпорой по лакированному кожуху, который укрывает колёса от грязи. Поцарапает кожух — и доволен: роспись свою оставил! Короче, это была артистичная натура.

В 1890-м году приезжал Чехов, и в это время полицмейстер выпустил книжку «Воспоминания, от Гельсингфорса до Константинополя». Это — о войне на Балканах, в которой Аршаулов участвовал в чине подпоручика. Принёс он великому писателю ещё и рассказы из жизни городского дна, напечатанные в «Сибирском вестнике». Чехов признал рассказы недурственными. Затем они вместе посетили публичные дома на Бочановке. Что там видел Чехов и воспользовался ли услугами томских вольных дев — истории неизвестно.

— Как поживаете, Владимир Всеволодович? — поинтересовался Потанин. — Занимаетесь музыкой, или же литературой? Или же тем и другим? И то, и другое вам должно передаться по наследству от ваших родителей и родичей.

— Я пока ищу себя, — ответил Володя, — как и мой спутник, Николай Зимний. Ему труднее, у него нет родителей... Увы, он вырос в приюте, но он на удивление деликатный и интеллигентный человек.

— Вот как? — сказал Потанин, внимательно вглядываясь в Колю Зимнего. Вы уроженец Томска?

— Вы угадали.

Да, угадать нетрудно, томичи имеют особенную печать. Может, будет нужна моя помощь?

— Не знаю, не думаю... — смущённо ответил Коля. Он знал, кто такой Потанин. Видел портреты в газетах. Слышал его выступления на митингах.

Было неловко обременять собой такого знаменитого человека, и такого уже немолодого. Григорий Николаевич достал записную книжечку, написал свой адрес, вырвал листок и подал Коле:

— Здесь мой адрес. Да, вы молоды, а я, как видите, совершеннейший мастодонт. Но у меня много знакомых, и молодых, и старых. И мы конечно что-нибудь придумаем. Я знаю, такие, как вы, должны вовремя получать опору в обществе. И помочь вам я считаю своим долгом. Обязательно приходите. Не стесняйтесь...

Буддисты продолжали мерно раскручивать молитвенный барабан, колокольцы звенели. Коле почему-то казалось, что в этом барабане вращается его судьба.

28. Войлочная заимка

Федька Салов жил теперь на Войлочной заимке, удивляясь поворотам судьбы. Почему оно так получается? Только человек нашёл дармовую кормушку, начал вполне самостоятельную жизнь, как сразу является кто-нибудь и заявляет, что за всё в жизни надо платить, и что Федька сам по себе жить не имеет права.

До того, как он попал на постой на Войлочную заимку, Федька просил милостыньку просто: сидел у церкви и ныл:

— Ради Христа, помогите убогому.

За день набиралось на горбушку хлеба да на кружку стенолаза, да на то, чтобы рассчитаться за ночлежку. Он и доволен был.

Но однажды к церковным воротам с треском подкатил на самокате неведомый человек в кожаном шлеме и больших чёрных очках. Притормозил он так, что передним колесом едва не переехал Федьку. Соскочил с сиденья, отряхнул пыль с сапога и сердито сказал:

— Разве же так просят, Федя? У тебя ж ноги нет, это ж золотое дно! А ты сидишь тут, талы-малы, понт раскинул, как последний партач. Айда на хавиру, приборакхлим, тот ещё жох будешь!

Салов ничего не понял, странно было: откуда этот рыжий наглый парень знает его имя?

— Молчишь? По фене не ботаешь? Научим. Я тебе сказал, что зря ты тут губами шлёпаешь, задарма штаны протираешь. Пойдём к нам на Войлочную, мы тебя так переоденем, что ты только успевай деньги хватать! Понял? Я — Аркашка-Папан. Тебе тоже кликуху дадим.

— Не хочу я, — сказал Федька, — отвяжись.

Парень тотчас хлопнул его ладонями по ушам, так что Федька оглох, на миг даже ослеп, потом из глаз потекли слёзы. Аркашка ухватил его за ворот, подтащил к самокату и скомандовал:

— Позади меня садись на сиденье, да костыли крепче держи. Старушки-нищенки запричитали:

— Ой, да куда же его, убогого?

Они причитали просто так, на всякий случай, по привычке, ибо в глубине души были рады тому, что у них теперь не будет конкурента. Но старушки в своём предположении ошиблись.

Всего через час самокатчик привёз Федьку обратно, но теперь Салов был одет в военный мундир, шинель, на груди у него сияли Георгиевские кресты.

Федька постелил шинель, уселся на неё, положил картуз возле себя и принялся озвучивать только что заученные на заимке слова:

— Братья и сестры! Пострадавшему на германской войне герою, ради Христа нашего! Я это... грудью родину закрыл! Шрапнелью ногу оторвало! Я кровь проливал, босиком по трупам бегал! Подошёл Аркашка, сказал:

— Не бегал по трупам, а от врага по горам трупов к своим пробирался, усёк?.. Ну, в общем, так, в таком духе... Возьми вот луковицу, как народ к обедне пойдёт, ты луковицу раздави и соком глаза натри, про фронт им рассказывай, и плачь, и плачь! Как? Да очень просто. Артисты в театрах плачут же? Плачут, потому что жрать хотят. Вот и ты плачь, а то смотри у меня!

Аркашка укатил, а Федьке что было делать? Стал учиться плакать. И стало получаться. Ему понравилось, он артистом себя почувствовал. Ему-то понравилось, а старушкам — не очень! Они стали гундосить:

— Обман, православные! Он и не герой совсем. Ему, может, поездом ногу срезало, это ещё разобраться надо!

Федька вскочил, заревел:

— Ах вы, сикухи! Меня кайзер газом травил, мне снарядом ногу отшибло! Мне от царя-батюшки крест даден! Как сейчас перетяну по дурной башке костылём! — и замахнулся. Старухи увидели, что Федька трясётся весь, слёзы текут, и слюна брызжет. И умолкли нищенки. А шут его знает! Может, и правда, на войне пострадал. Да вот просить-то рядом с ним плохо. Вся крупная деньга Федьке идёт. А им теперь только мелочь перепадает, и то не всегда.

Кормили на заимке Федьку хорошо, и выпить давали. Но иногда ему было там страшновато. В доме Ивана Бабинцева, кряжистого, угрюмого, старого мужика, жили главные томские воры. И жил там не кто иной, как Цусима, от которого Федька еле спасся, когда был вроде как сумасшедшим и забрёл за самогоном на таёжную заимку. Цусима теперь, к счастью, его не узнал. Времени много прошло, да и прежде Федька был на двух ногах.

Воры нередко устраивали сходки, на которых разбирались непонятные Федьке дела. Говорили вроде бы по-русски, но понять что-либо было невозможно. Однажды во время разборки Бабинцев подошёл к одному из воров сзади и вонзил ему финку под лопатку. Тот издал хрюкающий звук и свалился под стол. Никто не кинулся упавшего поднимать, все продолжали курить, пить вино и разговаривать, как ни в чём не бывало. Только один из воров отпихнул мёртвое тело подальше под стол, чтобы его не было видно. Федька тогда подумал, что у колдуна-то было куда безопаснее, чем на этой заимке. Но он понял уже, что отсюда, как от колдуна, не убежишь. Эти — найдут, со дна моря достанут. И зарежут, как пить дать. Вот влип так уж влип!

Рядом с домом Бабинцева жили тоже воры. Детишки в люльках там лежали с перебинтованными левыми ручками. Федька однажды спросил у Аркашки Папафилова, зачем руки младенцам бинтуют, и обязательно левые? Аркашка пояснил:

— Младенцам этим будут левые ладошки бинтовать, пока они не вырастут. У каждого из них будут на левой руке узкие ладони, длинные пальцы. Раза в два длиннее обычных. И парнишки эти, и девчонки станут карманщиками и карманщицами. Никто не ждёт, что к нему в карман полезут левой рукой, а они именно левой и будут работать. Вот затем-то и бинтуют теперь ладошки.

Аркашка не объяснил — чьи это младенцы. Но со временем Федька больше пригляделся к воровской жизни и многое узнал. На заимке всякие воры жили, но больше уважали воров-домушников и карманников. Эти должны были иметь особую ловкость и большие знания. Домушники-потихушники влезали в квартиры через форточки, окна, кладовки. Скокари знали конструкции всех замков, могли вскрывать их не только отмычками, но и специально отращенным длинным ногтем. Были и карманники разных специальностей, работавшие в одиночку или группами, резавшие карманы и сумки остро заточенным пятаком или бритвой. Ворам всех специальностей не полагалось жениться, им дозволялось лишь иметь «марух». А это были такие женщины, с которыми можно только потешиться, пропивая добычу. Так, временные подружки. Но рожать детей «марухи» не могли. А если бы и рожали, то эти дети были бы безнадежно больными. «Марухи» ведь все до единой пили водку, курили табак и нюхали кокаин. Его обычно берут из маленькой вазочки длинными тонкими деревянными щипчиками, подносят к ноздре и вдыхают. Во время пьяных оргий здесь нередко звучал романс:

Перебиты, поломаны крылья,
Дикой злобой мне душу свело,
Кокаином — серебряной пылью —
Все дороги вокруг замело...

Какие уж тут могут быть дети! Поэтому были среди воров и такие, которые воровали не только лошадей, коров, коз и свиней, но и ребятишек. Эти спецы выглядывали зазевавшихся нянек и матерей, иногда крали младенца прямо из зыбки, проникнув в квартиру через окно или дверь. На заимке младенцы получали новые имена, и вырастали, не зная родства своего. И становились классными ворами-специалистами.

Можно спросить, куда же смотрела прежняя полиция и куда смотрит нынешняя милиция? Да. Случалось, что полиция устраивала в слободке облавы. Но о каждой такой облаве воры узнавали заранее, имея своих платных осведомителей и в полиции, и в жандармерии. Всё лишнее в момент пряталось в тайных укрытиях, подвалах, пещерах. У всех были на руках документы, по которым они числились мастерами — войлочниками, пимокатами. В каждом дворе была глухая изба — вальня, где полицейским могли показать станок для сборки пимов, там стояли и бутылки с кислотой, необходимой для валяния шерсти. Была и шерсть.

— Войлочники мы! — и всё тут.

Ну, а когда старых полицейских отправили на фронт и пришли в милицию люди неопытные, слабые телом и духом, кого было воров и бандитам бояться? Не таких за нос водили!

На лавочках в слободке можно было видеть уже подросших пацанов. Вот один, лет десяти, сидит на лавке, положив ладонь на неё и растопырив пальцы. И со страшной быстротой вонзает финку, раз — рядом с ладонью, другой раз — меж пальцев. Прошёл все промежутки меж пальцами в одну сторону, и направляет

удары финки обратно, только треск стоит: тра-та-та-та! Заметил Федькино изумление и говорит:

— Возьми финку — сделай! Сделаешь — червонец плачу. Не получится — ты мне червонец отдашь.

Федька в испуге замахал руками:

— Что ты, что ты! Я и так хромой, да ещё мне пальцев лишиться!

— Ну и кати, фрей, мимо! А не то финачём на пузе расписку поставлю!

Федька поспешно отскочил от пацана. Да тут и восьмилетка зарезать может, а уж десятилетний и подавно! Ох и страхи! Не только взрослых бояться приходится, но и детей. Их жестокости ещё в люльке обучают. Только начнут ходить — дают кошек, чтобы убивали, дают собак, чтобы резали, привыкали к крови.

После, на своём посту возле церкви, он механически повторял свои байки про германскую шрапнель, про горы трупов, а сам думал, как ему спастись. Вот влип так влип! Затащил его Аркашка-Папан, чёрт рыжий, в такую пропасть, что из неё и выхода нет. Выручку всю забирают, и утаить нельзя, убьют! Только кормят, да иногда выпить дают, но ему уже и кусок в горло не лезет! Вот обрядили в мундир!
29. Дети мои!

Томск так и не стал столицей мировой анархии. Новая власть собралась с силами. Солдаты гарнизона совместно с милицией направились арестовывать анархистский штаб, но были встречены огнём. Анархисты забаррикадировались в казармах на втором Томске, отстреливались из пулемётов и даже артиллерийских орудий. Тогда к вместилищу анархии подтянули артиллерию. Поручик Леонид Андреевич Говоров командовал мортирами, с помощью которых прежде всегда весной кололи лёд на реке Томи, чтобы не было заторов и наводнения. Теперь мортиры принялись посыпать шрапнелью казармы, где засели анархисты.

Кляев материл самыми грязными словами Керенского, а также и Говорова, и в страхе смотрел, как разрушаются баррикады и стены. И в конце концов дал команду всем поскорее смываться.

— Мы ещё встретимся! Мы победим! — пообещал он, и на самокате отбыл на вокзал, где его ждала скороходная дрезина. Анархисты стали убегать. Смываться — дело было для многих привычное. Одни бросили оружие и побежали в соседнюю рощу. Бежали, прячась за деревьями, к Ушайке и далее — за город, в лес. Иные с оружием уходили в сторону свечного завода и кухтеринской пасеки. Одни решили спрятаться в охотничьих избушках, а кто-то пробирался в родную деревню.

Милиционеры обыскали казармы и никого не нашли. Так кончилась в Томске анархия.

В разгар осени Коля Зимний перешёл через новый мост, который называли томичи Каменным, хотя на самом деле он железобетонный. Стараниями архитектора, профессора Константина Константиновича Лыгина, и военнопленных австрийцев, которые возводили сей мост, ему был придан такой колер, что его переила и колонны казались сделанными из песчаника.

Лыгин установил четыре обелиска-столба, предназначенных для устройства на них фонарей, и четыре монументальные колонны, поставленные попарно с

каждого берега реки Ушайки. Колонны были украшены корабельными носами и личинами драконов. И это придавало мосту вполне петербургский облик.

Под мостом волны Ушайки несли золотые осенние листья, кружили палую листву в водоворотах, вода была то зелёной, то тёмной, в зависимости от туч или облаков, проплывавших в небесах. Золото роняли деревья к подножью костёла на Воскресенской горе, листва шуршала в канавах, воздух был свеж и настоян на хвое. Пихты, сосны и ели, и кедры показывали свой сибирский характер. Они не облетали, не увядали, жили как бы вне времени.

Коля сразу нашёл дом на спуске от костёла. Постучал молотком в медную пластину. Отпершая дверь горничная спросила Колю, к кому он пришёл. Он протянул ей бумажку, на которой рукой Потанина был начертан адрес:

— Вот, меня Григорий Николаевич приглашал.

— Назовите себя, я хозяина спрошу.

Она вернулась, и пригласила Колю в дом. Когда поднимались по лестнице, немолодая эта рябоватая женщина сказала:

— Он не очень здоров сегодня, так что уж вы долго не задерживайтесь. Он не считается со здоровьем, принимает всех подряд, доктора потом ругаются.

— Я недолго! — успокоил её Коля. Он готов был отказаться от визита — в самом деле, зачем он вторгается в жизнь пожилого больного человека. Пригласил? Мало ли что! Форма вежливости. Кстати, приглашение давнее, Потанин, может, уже и забыл о нём. Ай-ай! Как неловко!

Но горничная уже сказала, отворяя дверь: — Сюда пожалуйте!

На пороге кабинета Колю встретил Потанин. Он был в простой фланелевой блузе, полосатые брюки были заправлены в старые валенки. Потанин поздоровался с Колей и сказал:

— Прошу прощения за непрезентабельный вид. Ревматизм. Сказываются мои давние путешествия в горах. Знаете, какая ледяная вода в них? А ведь не раз приходилось переходить реки вброд. Ледяная вода, но зато изумительно чистая, кристальная! В городах, да и в равнинных сёлах такой воды никогда не бывает. Очевидно, горцы отличаются долголетием потому, что пьют целебную горную воду.

— Вы предлагали зайти и... — Коля смущённо умолк.

— Да, я ждал вас гораздо раньше. Но, очевидно, там так хорошо в Заварзино у Долгоруковых, что вы только теперь собрались зайти. Как здоровье замечательной Володиной матушки и его самого?

— Они здоровы. Но живут трудно. Я хорошо провёл у них лето, а теперь перебрался в общежитие мальчиков-грумов, где жил в детстве. Теперь там нет грумов, а в магазине Второва нет товаров. Я ищу себе какое-нибудь дело.

— Присаживайтесь, — сказал Потанин, — я скажу, чтобы нам принесли чаю, и мы всё с вами решим. У вас хороший почерк?

— Мне трудно судить, но вроде неплохой.

— Возьмите вот эту страницу из моей будущей книги, и перепишите. Вот вам чернила и бумага.

Коля обмакнул перо в чернильницу, снял лишние чернила тряпичной перочисткой и принялся писать. Ещё и чай не принесли, а страница уже была готова.

Потанин взял лупу и стал рассматривать написанное. Наконец он воскликнул:

— Мой друг! Это прекрасно! Ни одной ошибки, и такой почерк! Подождите некоторое время, и место делопроизводителя вам в любом случае будет обеспечено. А пока вот возьмите самоучитель стенографии. Это такой способ записывать двумя-тремя значками целые слова и даже предложения. С помощью стенографии хорошо записывать лекции и речи ораторов. Это пригодится во многих случаях жизни. Не пожалейте усилий, чтобы этим овладеть.

— Обязательно постараюсь! — искренне отвечал Коля.

В этот момент горничная водрузила на стол небольшой медный самовар, повесив на его кран сдобный калач. Затем принесла заварной чайник, вазу с комковым сахаром и сахарные щипцы.

Они разлили чай по чашкам. Коля сказал:

— Я вообще-то мечтаю стать военным. То есть или пропасть на войне, или получить чин. Ибо я ощутил, что жить и далее в унижении, в приживальщиках больше не смогу. Я не окончил никакой школы, ни тем более гимназии. Меня не примут даже в промышленное училище, не говоря уж об университете. И мне так тяжело думать, что до самой смерти я должен буду жить на дне жизни. Правда, мне Ваня Смирнов перед смертью подарил двести тысяч рублей царскими, но вы же знаете, что на них сегодня в городе ничего не купишь. Вот я и передал эти деньги купцу Туглакову, чтобы он их обменял на золото. Но сейчас такое время, что уже перестали золото продавать, так мне сказал Туглаков, но обещал хоть какую-то часть денег всё же сменить.

— Зачем же вы связались с купцом?

— Мне священник Златомрежев посоветовал.

— Он, видимо, сам не очень понимает наше время. Сейчас всё меняется быстро, как погода за окном. Но вы не отчаивайтесь. Пока будете переписывать мои рукописи и изучать стенографию. Возможно, скоро произойдут такие перемены, что я смогу вам предложить хорошую должность. А потом... У меня много знакомых преподавателей, профессоров. Я похлопочу за вас. Вы сдадите экзамены экстерном за гимназию. А на будущий год поступите в университет. Вы, кажется, мне не верите?

— Я себе не верю.

— Верьте и себе, и мне. Я один из тех, кто хлопотал, чтобы в Томске был открыт университет. Вы честный и хороший юноша, как я понимаю. Коренной сибиряк. Метрополия — монополист. Узурпатор. Злодей. И вы хотите погибнуть за её интересы?

— Я хочу стать человеком.

— Вы станете им здесь, в Сибири. Вот, возьмите пока рукопись, вот вам деньги на бумагу и чернила, и аванс. Очень скоро я пришлю посыльного в ваше общежитие. И ваша жизнь переменится... Да, я недавно напечатал статью в газете «Сибирская жизнь». Сейчас сложная политическая обстановка, различные партии рвутся к власти. Вам сложно ориентироваться. Вы, может, вообще о политике не думали. Но зато она думает о вас. И так или иначе касается вашей жизни. Я дам

вам номер газеты со своей статьёй, почитайте на досуге, может, что-нибудь поймёте...

— Да, я о политике не думал. Не понимаю. Я о том, что политику понять трудно. Даже лозунги не всегда ясны.

— Надо любить Сибирь, свой народ, тогда всё станет ясно...

Коля расположил бумаги Потанина на колченогом столе в комнате общежития. Прежде всего он прочитал статью в газете «Сибирская жизнь». Там Григорий Николаевич писал: «Строй, который готовят нам большевики, не на тех ли началах построен, как только что низвергнутый монархический строй? Если бы проекты Ленина осуществились, русская жизнь снова бы очутилась в железных тисках, в ней не нашлось бы места ни самостоятельности отдельных личностей, ни для самостоятельности общественных организаций. Опять бы мы начали строить жизнь своего отечества, а кто-то другой думал за нас, сочинял для нас законы и опекал бы нашу жизнь...».

Коля прежде почти не читал газеты. А если открывал иную, то скучно ему было читать о каких-то партиях, которые борются за то или это. То ли дело — Фенимор Купер! Или, скажем, Жюль Верн. Капитан Немо боролся за свободу своей нации. Но он, кажется, был индийцем. И ещё американцы, смелые и свободолюбивые, летели на воздушном шаре. Но это было где-то далеко, где плещут волнами тёплые океаны, на таинственных островах, полных разных чудес. В его жизни было одно чудо — Бела Гелори, но у него это чудо отняли. И он не мог себе представить дальнейшую жизнь, но хотелось быть свободным, самостоятельным, уважаемым.

Коля тщательно переписывал рукописи Потанина. Упрямо изучал неподатливую стенографию. Просил кого-нибудь из соседей по комнате рассказывать, читать что-нибудь из книги. Ему читали, а он стенографировал. Потом расшифровывал значки и сверял написанное с книгой. Каждый раз получалось всё лучше.

Но жизнь в общежитии теперь была трудной. Многие окна в здании были выбиты, входная дверь оторвана, очевидно, её сломали, чтобы истопить печь. По коридору гулял сквозняк. В комнате, где расположился Коля, жили теперь беженцы из Польши, это были евреи-портные, но заказов они почти не имели. Центральное паровое отопление давно не действовало. В комнатестояла металлическая печка, которую называли буржуйкой, её труба была выведена прямо в окно. Когда темнело, Коля выходил на промысел. Бродил по переулкам и смотрел, где можно отодрать плаху от тротуара или от забора. И заборов, и тротуаров в городе оставалось всё меньше. Если удавалось раздобыть плаху, обитатели комнаты радовались. Хоть на час, на два, да нагреется комната. На дворе с каждым днём становилось всё холоднее.

Однажды Коля услышал шум на улице, вышел во двор, выглянул в калитку. По Благовещенскому переулку бежали мальчишки и вопили, извергая пар из юных глоток:

— В Петрограде — переворот! Красногвардейцы захватили Зимний дворец! Их штаб — в Смольном!

Со стороны Почтамтской послышались крики. Подняв воротник пальто, Коля пошёл туда. Он увидел колонны людей с красными повязками и красными знамёнами. Они несли транспаранты с надписью: «Землю крестьянам, хлеб голодным, мир народам!». Коля узнал нескольких бывших второвских приказчиков. Вдруг его окликнули. Коля увидел Аркашку Папафилова. Он нёс красное знамя. Этот бывший грум, а теперь — «чемоданный мастер» сказал удивлённому Коле:

— Айда с нами!

— Но что это всё значит? — спросил Коля. Ему невольно подумалось о том, а как отнёсся бы к этому Григорий Николаевич? Как жаль, что его нельзя спросить, уж он-то знает!

— Демонстрация! Солидарность трудящихся! — пояснил Аркашка. Кто был ничем, тот станет всем! Да что ты смотришь на меня, как баран на новые ворота?

Разве нас с тобой не эксплуатировал Второв? Разве не пил нашу кровь? Теперь рабочие и крестьяне восстали, и миру эксплуататоров пришёл конец! Не будет больше богатых и бедных, и все будут равны! Понимаю, ты сейчас вспоминаешь тот случай на вокзале! Да, я воровал! Но кто меня довёл до этого? Они, кровососы-буржуи! Я не хотел работать на них! На мерзких, разложившихся негодяев. Ведь что творили? Тот же Смирнов — спал с невестой собственного сына! И загнал его в гроб! С жиру бесились! И если я украл у проклятых буржуев десяток-другой чемоданов, они от этого не обеднели. Я покупал на эти деньги продукты для сирот Бочановки и Войлочной заимки. Ты тоже обездолен, так что — айда с нами! Слезами залит мир безбрежный! Алон занфан де ла патри! — и Аркашка стал размахивать красным флагом.

Коля поднялся в гору вместе с демонстрацией. Было ясно, что она движется к площади Свободы, где произойдёт митинг. Там в этом тысяча девятьсот семнадцатом году прошло множество митингов. А что изменилось? Товары исчезают, а цены поднимаются всё выше и выше. Коля подумал о том, что он должен поскорее закончить переписку рукописи для Потанина. Он потихоньку отстал от колонны, свернул в переулок.

На следующее утро он уже был близок к завершению работы над рукописью. Руки коченели, в комнате было так холодно, что даже чернила застыли. Коля поставил самовар, чтобы развести чернила кипятком и согреться чашкой горячего чая.

В этот момент в комнату вошёл незнакомый усатый мужчина в непонятной форме. На шинели у него были петлицы с изображением кедровых ветвей, на голове тёплая полосатая фуражка, полосы были белыми и зелёными. Человек сказал:

— Меня прислал Григорий Николаевич Потанин. Срочное и важнейшее дело. Одевайтесь! Едем!

— Но я ещё не закончил работу над его рукописью, как же покажусь я ему на глаза. Может, немного позже? До вечера я бы эту работу закончил совершенно. — Милейший! Никакого вечера! Велено доставить вас тотчас же! Идём же! Во дворе незнакомец подошёл к самокату, предложил Коле сесть на заднее

сиденье. Мотор загрохотал, самокат затрясся. Через несколько минут они уже были возле дома Потанина. Коля увидел стоявшие у дома многочисленные экипажи. Из дома вышел Григорий Николаевич, сопровождаемый штатскими и военными людьми. Потанин увидел Колю и сказал:

— Прибыли? Отлично! Освоили стенографию? Сейчас поедем на съезд, вам дадут столик и тетради, будете стенографировать речи. Ошибётесь? Неважно. Там будут две стенографистки, потом вы все записи сведёте в одну, и перебелите. Вы будете нашим делопроизводителем.

Потанин пригласил Колю сесть к себе в коляску.

По дороге он рассказал, что ещё в октябре состоялся первый сибирский съезд, который принял решение о созыве учредительного собрания для рассмотрения Конституции Сибири. С принятием её медлить больше нельзя. В центре власть захватывают силы, которым судьба Сибири безразлична. Они хотят, чтобы сибирские парни умирали за мировую революцию. А сибирякам надо строить свою Сибирь — богатую и просвещённую. Накануне на рекламных тумбах были расклеены плакаты. Огромные красные и чёрные буквы кричали: «Чрезвычайный Сибирский съезд!».

На углу Жандармской и Никитинской улиц высился забор, поверху утыканный большими острыми гвоздями, он спускался по склону оврага вниз. Здания семинарии примыкали к обширному семинарскому саду. Были тут тополя, липы, хвойные деревья, встречались посадки черёмухи, рябины. Коля слышал, что иногда семинаристы, здоровые, крепкие парни, во тьме прокрадываются через сад к забору, с помощью верёвочных лестниц преодолевают непреодолимую преграду, уготовленную для них начальством. И бегут в Бочановку, где расположены дома терпимости. Бес силён!

Темно-зелёные пихты в семинарском дворе повелевали помнить о вечном. Мирно шумела под мостом ещё не замершая речка Игуменка, пересекавшая территорию сада и нырявшая под забор. Вымощенная дорога вела к главному корпусу семинарии.

Вот экипажи — у подъезда. В актовом зале слышен нестройный гул. Ряды кресел быстро заполняются. Коля, волнуясь, прошёл за служителем к столику для стенографии, который был у самой сцены. За двумя такими же столиками уже сидели две белокурые курсистки. Бело-зелёные флаги и множество хвойных ветвей украшали сцену. За столом президиума были посланцы сибирских регионов и горного Алтая. Готические своды огромного зала церкви были украшены фресками. Строго взирал с высоты на собравшихся лик небесного покровителя всей Сибири святителя Иннокентия Иркутского. Впрочем, горожане о происходившем в семинарской церкви ничего не знали. Город жил обыденными делами.

Коля вспотел, записывая фамилии ораторов и тексты речей, боясь ошибиться. Ему некогда было смотреть на сцену, он испещрял бумагу значками, которые должен был потом расшифровать. Зал загремел аплодисментами. Казалось, вот-вот рухнет крыша.

— Свершилось, дети мои! — воскликнул Потанин. — Конституция Сибири принята. Мы свободны! — Григорий Николаевич поправил очки и после длительной паузы добавил:

— Сибирь войдёт составной частью в Российскую федеративную республику, как автономная область, с большими правами в экономическом и культурном самоопределении, это будет новая эпоха сурового края, это будет пора его расцвета. Предлагаю принять текст телеграммы Верховной раде Украины. Читаю текст: «Все народы от Урала до Владивостока приветствуют украинскую раду. Слава вольной Украине, слава великой Федеративной России! Слава автономной свободной Сибири! Чрезвычайный съезд Сибири».

— Кто — за?

— Против?

— Принято!

Затем председательствующий огласил:

— Чрезвычайный съезд принимает постановление: Сибирь объявляется автономной. Советская власть и её декреты не признаются!

С волнением Коля записывал значками итоги голосования. Ещё бы! Председателем сибирского областного Совета был избран Григорий Николаевич Потанин. Этот человек был лучше всех, кого он до сих пор знал. Так внимательно к нему отнёсся.

В зале загремел оркестр. Все встали и пели гимн независимости Сибири на слова Георгия Вяткина. Только теперь Коля увидел, что за окнами сгущается вечер. Тот же самокатчик отвёз Колю к общежитию. На прощанье сказал:

— Григорий Николаевич велел мне завтра в десять утра отвезти вас в университет. Там состоится первое заседание совета, вам опять придётся стенографировать. И потом вам покажут комнату и ваш стол, за которым вы будете постоянно работать.

Утром газетчики в Благовещенском переулке кричали:

— Сенсация! Соединённые штаты Сибири! У нас есть свой президент!.. В Ямском переулке извозчики удивлялись:

— А что оно такое — резидент? И на кой он хрен нужен? Случившийся там почтовый чиновник пояснил:

— Президент — это вроде как американский губернатор.

— Мериканский? На хрен нам — мериканский, нам своих хватает, нам лишь бы дороги ремонтировали, да овёс дешевле...

Проходили мимо два подвыпивших студента, услышали эти разговоры и спели песенку:

— Один американец Засунул в попу палец, И думает, что он Заводит граммофон!

Через некоторое время в местных газетах появились стихи, подписанные «Васильева-Потанина». Она давно уже не жила с великим старцем, но фамилией его гордилась, и приставила через чёрточку — к своей. А эти стихи её были тогда в Томске у всех на слуху, они рождали прекрасные и заманчивые надежды:

Сибирь! Свободная Сибирь!

Гремит победный клич: «Свобода!»
 И раздаётся вдаль и вширь,
 И ввысь летит до небосвода.
 Сибирь, огромная страна,
 Ещё вчера — страна изгнания,
 Всю боль изведала она,
 Все бездны мрачные страданья...
 Кошмарные былые сны
 Сменились чудом возрожденья...
 В лучах сияющей весны
 Горит заря освобожденья.

30. Духи в городе

Художник Гуркин из своих экспедиций на родной Алтай всегда привозил новые картины. Его признавал в своих статьях лучшим сибирским художником Григорий Николаевич Потанин. Полотна уроженца горного Алтая пользовались всегда огромным успехом у знатоков, и не только у томичей. Его давно признали и Москва, и Петербург. Его любили томские литераторы, журналисты, чиновники и купцы. Инородец — да! Но Григорий Гуркин доказал, что инородцы могут быть талантливы не менее, чем русские. Ученик знаменитого академика Шишкина, он великолепно писал пейзажи. Но что это были за пейзажи! Величественные горы, пади и отроги Алтая. Таинственные озёра, нехоженная тайга, дымки над крышами чумов, туманы в горных долинах, горные водопадные речки с мириадами мелких брызг, образующих радугу. Путешественник, этнограф, писатель, рыболов, охотник, он открыл россиянам окно в Алтай. Смотрите! Его пейзажи были лиричны и дышали глубинной мощью. Полотно «Хан Алтай» было грандиозным и по размерам, и по силе впечатлений от него. Были среди полотен и жанровые сцены из быта алтайцев. Можно было видеть, как алтайцы камлают, готовят араку, ловят маралов.

И смотрели, восторгались, покупали картины. О Гуркине писали, восторженно, захлёб. Он мог бы устраивать выставки хоть в Париже. Но для него столицей был город Томск. Город на холмах, возле полноводной реки Томи, дно которой было усыпано самоцветами, принесёнными мощным течением с далёкого Алтая. Все эти камушки было видно сквозь толщу воды, так как она была кристально чистой до озноба. Здесь Гуркин чувствовал себя как дома: холмистая таёжная местность, много рек и озёр. Похоже на алтайские предгорья.

Каждую свою выставку Гуркин устраивал с выдумкой, оригинально. На сей раз он привёз разную алтайскую утварь и сорок камов с бубнами и в особенных одеяниях. Где он их набрал столько? Неизвестно. Видимо, собрал из всех алтайских отдалённых аилов. В афише так и было написано: «Только семь дней! В общественном собрании г. Томска. Выставка живописи Григория Гуркина при участии сорока алтайских шаманов, которые будут показывать своё искусство камлания».

Несмотря на смутное время, несмотря на дорогие билеты, зрительный зал общественного собрания был набит до отказа. Публика была более пёстрой, чем

это было раньше. Теперь сюда пускали и простолюдинов. Будь ты хоть трубочистом — пожалуйста, только умойся, будь чисто одет — и покупай билеты. Что ж поделаешь, если в далёком Петербурге что-то такое свершилось, и, говорят, скоро не будет ни богатых, ни бедных, ни знатных, ни изгоев? Говорят, все будут равны. Что-то в это слабо верится, но... посмотрим, посмотрим! А пока, на всякий случай, проходи в зал любая скотина.

И вот что странно. Пришли на вечер Гуркина даже некоторые извозчики и грузчики. А что они понимают? И как это на билеты разорились?

Гуркин вышел на авансцену и коротко рассказал о своём летнем путешествии. Он сказал:

— У меня есть картина о камлании. А сейчас пред вами предстанут на этой сцене сорок алтайских камов. У нас шаманы прозываются камами. У каждого на груди вы увидите девять кукол, символизирующих девять великих и волшебных вершин Алтая. Каждый из этих прорицателей имеет собственный рисунок костюма и бубна. Я бы сказал, все они в мастерстве индивидуальны, дополняют друг друга. Для алтайцев они — врачи, советчики, защитники от всех напастей, посредники между этим миром, средним и верхним.

Не беспокойтесь! Показывать своё искусство будут не все сорок шаманов, это заняло бы слишком много времени. Камлать станут трое сильнейших. Остальные, как говорят у вас в университетах, станут ассистентами. Итак!..

Гуркин быстро ушёл за кулисы, а оттуда тотчас с гиканьем, подвыванием и стуком бубнов выскочили люди в расшитых бисером мехах. Они закружили по сцене подобно снеговому вихрю, от грохота бубнов заложило уши у тех, кто сидел впереди. Смирнов сказал Гадалову:

— Ну и черти! Я нанял бы парочку косматых, чтобы комиссаров от моего дворца отпугивали.

— Милый! Комиссаров бубнами не проймёшь! Для них нужно такое колдовство, которое не только грохочет, но ещё и свинцом плюёт! Мы потом с тобой поговорим об этом более серьёзно. Нас с тобой никто не защитит, если мы не потратим на свою защиту изрядные деньжата, золотишко, конечно... Ладно, пока молчу, всё внимание — сцене!..

Коля Зимний сидел во втором ряду рядом с Потаниным. Он смотрел вокруг с восторгом. Он прежде и не мечтал попасть в зал общественного собрания. А теперь он — здесь на равных со всеми. А может, и чуть выше многих других. Он — служащий сибирского областного Совета, близкий к президенту Сибири человек. А потом он сдаст за гимназию, окончит университет, и перед ним откроются и не такие горизонты!

В центре зала сидел Аркашка Папафилов. С ним было ещё несколько воров. Эту публику привлекало всё чудесное, а некоторые по-настоящему любили искусство и живопись. Сзади в дешёвых рядах поместился дед Василий, который когда-то приютил в избушке возле речки Керепети Федьку Салова. Поскольку бывший Василий каждый месяц должен был именоваться по-иному, теперь он звался Ашурбанипалом Даниловичем. Волосы его были пострижены французским парикмахером и расчёсаны на пробор. Вместо прежней окладистой бороды он носил профессорскую, козлиную бородку клинышком, и усы пиками. Рядом с ним

чинно сидела Алёна. Она по приказу Ашурбанипала прозывалась ныне Элеонорой-девственницей. И была одета по городской моде, как одеваются девочки-подростки, гимназисточки: в тёмном платье с белой кружевной пелеринкой и с голубым бантом в пышной косе. Алёна-Элеонора в наряде гимназистки была трогательно красива, никто и не поверил бы, что эта девочка ещё недавно жила в глухой деревушке.

Дело было в том, что Ашурбанипал Данилович снял комнату в доходном доме в центре Томска. И дал объявление о том, что в доме Безхадорнова на Никитинской улице под руководством мага Ашурбанипала ясновидящая девственница предсказывает будущее любому желающему. Блаженная может находить потерявшихся людей, лечить болезни. Есть рекомендации от титулованных особ и справка от профессора Курлова о том, что Элеонора является именно девственницей. А это — важно. Как только выйдет замуж, утратит девственность, она утратит и свою магическую силу. Но из сострадания к людям самоотверженная Элеонора дала обет безбрачия.

Три шамана с бубнами выскочили в центр сцены, закружились, ударяя колотушками в бубны и выкрикивая что-то на странном наречии. Остальные сели полукругом, и помогали танцующим горловыми звуками, похожими на клёкот орлов.

Лампы на сцене сами собой стали меркнуть, по залу пролетали невесть откуда взявшиеся то ли блики, то ли лучи.

— Алнгумна-тамм! — тянул басом один из шаманов.

— Нгнаглумндмна! — отзывался другой.

— И-их-и-и! — визжал третий.

Мельтешение бликов усилилось. Танцоры закружились ещё быстрее и подсакивали всё выше. Наконец все трое повалились на сцену, у двоих изо рта пошла пена, третий икал.

Свет вспыхнул снова. Шаманы исчезли. На сцене стоял только Григорий уркин. ин ообъявил:

— Шаманы побывали в другом мире. Они спросили о важнейшем, что должно случиться. В другом мире сказали, что Сибирь должна быть свободной навечно!

— Протестую! — крикнули из среднего ряда. — Под видом камлания вы протаскиваете чуждые российскому рабочему классу и крестьянству националистические взгляды! Моя бы воля, я бы вас — к стенке! К чёртовой матери!

В зале раздался возмущённый гул. Гадалов и Смирнов обернулись на крик.

— Криворученко кричит! — шепнул Смирнов. — Со психи выпустили, и сразу стал важнейшим комиссаром. Придёт вот такой губошлёп, сопляк, и отберёт у нас всё собственным горбом нажитое имущество.

— Это мы ещё посмотрим! — отвечал Гадалов. — Если полезет, мы ему сопля-то утрём. Из молодых да ранний, не таких видали! Комиссары, секретари, председатели... Откуда что взялось!

Гуркин пригласил всех пройти в картинную галерею. Публика застучала креслами, зашумела. В зале, где разместились выставка, шаманы сели под картинами Гуркина прямо на пол, и все разом закурили трубки. Напрасно

побледневший служитель кричал, что в зале курить строго воспрещено, что ниже этажом есть специальная курительная комната. Камы не обращали на него ни малейшего внимания. Они смотрели сквозь него, как сквозь стекло.

Гадалов, изобразив пальцами трубку, смотрел сквозь сей импровизированный окуляр то на одну, то на другую картину. Смирнов говорил ему на ухо:

— Талантище у этого эскимоса поразительный, чёрт бы его побрал! Это совсем не то, что Мишка Пепеляев пишет или Вучичевич. Это природное, искреннее. А всё же мне больше по душе картина под названием «Прощаль», здоровенная такая, что в аккурат — для моего дворца. Глаз на ветке висит и, понимаешь, плачет... Стёпка Туглаков, стервец, купил её тут в собрании у одного футуриста. Я его просил продать, хоть за две цены — не отдаёт. То ли послать людей на Войлочную, чтобы Витьку Цусиму наняли? Он-то не побоится самого чёрта. Только уж лют чрезмерно. Он не только картину возьмёт, он всю семью вырежет, все манатки заберёт, да ещё и дом сожжёт, чтобы следов не было. Боюсь брать грех на душу.

— Плюнь! — сказал Гадалов. — На кой тебе ляд эта «Прощаль»? Ты попроси Гуркина, пусть он тебе копию с картины «Хан Тенгри» снимет. Тоже картина внушительная.

— Нет, я ту хочу...

Гуркин отвечал на вопросы собравшихся, рассказывал смешные эпизоды из алтайской жизни. Люди подходили к толстенной книжице в бархатном переплёте, оставляли отзывы.

Купцы после обозрения выставки спустились в подвал к привычному занятию — к бильярду, картам и вину. Смирнов пил в этот вечер много. Его мучили недобрые предчувствия. Что-то там в центре страны стряслось. Была одна революция, вроде всё обошлось. И на подрядах для армии заработали, и так по мелочам торговлишка шла. Конечно, тревожно было бумажные деньги держать. Слухи шли, что появятся новые деньги. Верховный правитель должен выпустить их, вроде уже печатали вовсю. А старые обесценились совсем. Ладно, сбыли их, золотишко спрятали. Товар, который может долго храниться, в подземельях укрыли. И вдруг — вторая какая-то революция. Новые комиссары появились, кричат в зале! Молодые, горячие. Может, обойдётся? Неизвестно. Слухи ползут, что тех, кто живёт в просторных квартирах, уплотнять будут. А он-то не просто в просторной квартире живёт, а во дворце! Вдруг да и его уплотнят? Подселят какую-нибудь вшивоту? Да как же он с чужими людьми жить станет? Он с ума сойдёт! И ведь можно, наверное, откупиться? Ему стало душно. Он, ни с кем ни попрощавшись, ушёл, как говорится, по-английски, незаметно. Вроде бы в туалет, а сам шмыгнул в чёрный ход и — на улицу. Подошёл к мотору, сказал шофёру, чтобы ехал без него, а он пешком пойдёт, прогуляться хочется.

Прошёл по улице Почтамтской, никого не встретил, через мост перешёл, какая-то пара шла навстречу, завидев Смирнова, эти двое, мужчина и женщина, шмыгнули в проулок. Он вспомнил, что сейчас после одиннадцати вечера ходить опасно: могут раздеть, могут и убить. Но он силу имел немалую, двухпудовой гирей по утрам крестился, а, кроме того, в заднем кармане брюк у него лежал миниатюрный наган под названием «Бульдог».

Ему вдруг очень захотелось взглянуть на Белое озеро, и не только взглянуть, но попить из него, ополоснуть лицо. Смыть все тревоги, смыть нездоровый хмель. Озеро это располагалось в старинной части города на Воскресенской горе. Первые томичи из него пили воду. Было это ещё при царе Борисе Годунове. И вода в озере была целебной. Умывшись ею, слепые прозревали, хромые отбрасывали костыли. Легенды — легендами, но томские профессора исследовали воду в озере, и нашли, что вода действительно целебная. На дне озера били минерализованные источники. Вода была близка по составу к курортным водам Карлсбада. Но какой тут к чёрту курорт, в такой дали от Европы? А томичи без всякого пиетета к целебным свойствам воды бросали в озеро всякий хлам, старые тазы, вёдра, сваливали в него прошлогоднюю солому с навозом. Купали в озере лошадей, пригоняли к нему скотину на водопой. Бросали в озёрные воды дохлых кошек и собак. И всё-таки озеро как-то находило в себе силы самоочищаться. Лежало в окружении бесчисленных ровных берёз, действительно белое от отражённых в нём белых стволов.

От крутого подъёма в гору уже начинающий полнеть Смирнов запалён-но дышал. Вот уже дохнуло в его разгорячённое лицо озёрной свежестью. «Сейчас искупаюсь! Сперва поплюю, потом плесну воду пригоршнями в лицо, потом...» — он вдруг замер. Похоже — влип! Его окружала целая шайка. Человек двадцать, никак не меньше. Да! Он слышал про белозёрских. Отчаюги! Сорвиголовы. Впрочем, и заисточные не лучше, и бочановские, и пристанские. Но что делать? Отстреливаться? Ну, двоих, троих он угробит. А пока он это делает, другие зайдут со спины и зарубят. У них почему-то у всех топоры в руках. Да и топоры-то странные какие-то. Ого! Факелы зажгли. Один, другой! Похоже, искали именно его. И главное — молчат, гады! Понимают: так-то — ещё страшнее. Неужто Витька Цусима? Будут пятки поджаривать: скажи, где золото прячешь! Нет, не Витька! Не похож. И что это за одёжи на них странные? Ну, было: бегали урки возле кладбища в вывернутых наизнанку шубах с огненными головами. Тыкву выдолбят, дырки в ней прорежут, пугают до полусмерти, и раздевают. Дураков раздевают, разумеется. Тех Смирнов бы не испугался, он бы им задал перцу. Завернул бы ноги к голове. Но это — другие. И много их, шельмецов. Откуда столько набралось? Целая рота.

Смирнов изловчился, подтянулся на руках, через забор перемахнул. Во дворе взлаяли собаки. Может, хозяин выйдет, всё лучше, хоть свидетель будет. Но никто не вышел, темно в доме, глухо. Дрыхнут, гады! Ай-ай! А эти все уже — во дворе, и с топорами, и с факелами. А как прошли, как проникли? Не видно было, чтобы через забор лезли. И собаки на них не лают. Вот странность! Ощущая на спине липкий пот, Смирнов шмыгнул в старый каретник, на сеновал. Глянул, а эта компания — уже в каретнике, и по лесенке на сеновал лезут с факелами и топорами, один за другим. С факелами! К сену! Смирнов завопил:

— Куда прёте, сволочи, с факелами на сеновал! Все сгорим, выскочить не успеем!

А они шли молча прямо на него — с мрачными бородатыми лицами, с факелами, с топорами на длинных древках. И вдруг он вспомнил, как это называется. Не топоры это — алебарды! Мужики молча прошли сквозь него и сквозь сено. Когда мимо него проходили, он сунул палец в огонь факела. И ничего

не почувствовал: огонь— не обжѣг ему палец. Это был мертвенный, призрачный огонь. «Не может быть! — пронеслось в голове Ивана Васильевича. — Я сплю!». — Но он не спал. Нет, не спал, и даже хмель выскочил из головы.

И тогда он вспомнил картину «Утро стрелецкой казни». Суриков Василий Иванович! Они, стрельцы! У стрельцов на кафтанах застѣжки, как на той картине, и шапки такие же. Впрочем, один почему-то без шапки был. Да какая разница! Стрельцы прошли! Тени их, из Томска семнадцатого века! А расскажи кому, так ведь не поверят. Засмеют, скажут, Смирнов до белой горячки допился. А он видел, только что видел!

Смирнов огляделся и понял: надо скорее слезать с сеновала да опять через забор прыгать, обратно теперь. Не дай бог, хозяева проснутся да его тут застанут. Оправдывайся потом. И ведь не докажешь, что от привидений спасался. Могут и рѣбра намять. Он вышел из каретника, собаки опять залаяли. Смирнов перемахнул через забор и начал быстро спускаться с горы. Ну его к лешему, ночное купание! Пусть купается, кто хочет, а он расхотел. Ещё какие-нибудь русалки на дно затаянут, будь оно всё проклято!

Через два дня он прочитал в «Сибирском обозрении» статью о выставке Гуркина. Неизвестный, скрывшийся под псевдонимом «Доброжелатель», писал: «Выставка картин именитого мастера произвела на нашу публику в этот раз, как и всегда, громадное впечатление. Новые картины господина Гуркина полны первородной мощи, великой любви к родному краю. Какие бы превосходные степени не употребил я для оценки его творчества, всё будет мало, ибо перед таким искусством все слова ничтожны. Мы обратили внимание и на великолепные наряды алтайских шаманов и их иступлённые пляски. Это было живое дополнение к картинам г. Гуркина, хотя они и не требуют дополнения. Печально то, что эти горные колдуны, кажется, в самом деле владеют особенной магией, и в самом центре губернской столицы выпустили на волю своих не всегда безвредных духов. У проживающих неподалёку от здания общественного собрания господ Смоленцевых попугаи в клетках вдруг все разом стали произносить самые ужасные ругательства, которых прежде не знали, и никто не мог их научить этому. Более того, в ресторане «Медведь» обслуга и посетители в день камлания шаманов увидели вдруг призраки раненных охотниками медведей. Призраки злобно сверкали глазами, замахивались лапами и разевали пасти. Как бы в дополнение к этому медвежьему концерту, в буфете сама собой полопалась вся посуда, отчего ресторану нанесён значительный ущерб. Ходят слухи, что призраки после выставки г. Гуркина появлялись в разных видах и в разных местах города. Похоже, знаменитый художник, сам того не желая, очень зло пошутил над гражданами Томска...».

31. Смерть Леонеля

В разгар январских морозов, которые в Томске поднимались выше сорока градусов, в пору, когда воробьи замерзали на лету и со стуком падали маленькими ледяными комочками на промёрзшую землю, в кабинете, сев на кожаный диван, застрелился преподаватель технологического института Леонель Леонельвич Мовий.

Его избрали депутатом сибирской областной думы. Областной совет и дума поручили ему организовать обеспечение топливом и дровами всех эвакуированных. Мовий не спал ночей. Он ездил на вокзалы, ругался с железнодорожниками, организовывал бригады на валку деревьев и раскряжёвку, ходил с милицией реквизировать излишки топлива у богатых томичей. Но топлива в зиму тысяча девятьсот восемнадцатого года в Томске оказалось совсем мало. Эвакуированных было много. Были это поляки, литовцы, белорусы, украинцы, молдаване и прочие западные люди, отнюдь не привыкшие к сибирским морозам. Ютились они в развалюхах, питались плохо. И стали умирать даже не десятками, а сотнями. Случалось так, что и могилы им копать было некому. В лютые морозы земля делается стальной, поди-ка подолби её. Могильщики требовали большие деньги. Их не было. Случалось, мертвецов прятали в кладовках, в сараях, в конюшнях, на сеновалах, это грозило при потеплении эпидемией. Дума обвинила Мовия в бездействии. Потанин укорил его.

Леонель Леонельвич Мовий по происхождению был англичанином. И, как полагается истинному англичанину, он был невероятно горд. Он не вынес позора. Он делал всё, что мог. Носитель гордого английского духа не мог знать, что будет дальше. А если бы знал, то, вполне вероятно, не стал бы стреляться. Да многие самоубийцы, всех времён и народов, если бы могли заглянуть вперёд лет на десять, двадцать, тридцать и дальше, то не стали бы вешаться, топиться, резать вены на руках и всякое такое прочее совершать над собой. Потому что многое, что теперь нам кажется совершенно невыносимым, ужасным, через десять лет, или даже через пять, не будет для нас иметь никакого значения, или станет просто смешным. А то, что нам казалось прекрасным, через какое-то время, наоборот, станет ужасным. Скажем, вы повесились из-за того, что вам не ответила взаимностью красавица. Лет через двадцать она может стать похожей на облезлую курицу. Спрашивается, зачем же было из-за неё вешаться?

Ну ладно ещё — застрелиться или повеситься из-за красавицы. А вы-то? Бедный, бедный Леонель Леонельвич! Угораздило же вас иметь в организме такие чуждые России гены! Тысячи российских чиновников и народных избранников и в давние времена, и ныне всегда сытно и вкусно ели и пили, вовсе не думая о том, что где-то кто-то в этот момент бедствует. Им в голову не придёт из-за такого пустяка покончить счёты с жизнью. Вот ещё! Что за глупости! И это в такое трудное время, когда местные газеты дали тревожное сообщение: «Министр томского облсовета Геннадий Краковецкий отправил представителей на запад. Сибирские дивизии возвратятся в Томск и защитят от большевиков областное правительство!».

Коля Зимний по просьбе думцев сочинял эпитафию для газеты. Он почти не знал Леонеля Леонельевича, и эпитафию сочинял впервые, потому испытывал невероятные трудности. Его просили написать так, чтобы было понятно, что жизнь Леонеля Леонельевича оборвалась внезапно и трагически, но при этом ни в коем случае нельзя было упоминать о самоубийстве. Коля написал: «Жизнь его оборвалась, как ломается ветвь яблони под тяжестью плодов...». Коля вздохнул и зачеркнул написанное. Яблони в Сибири не растут — раз, и нельзя считать плодами замёрзших беженцев — два. Хороши плоды! Не то, не то!

Коля снова взялся за перо, и тут кто-то кашлянул над его плечом. Коля обернулся, и увидел незнакомого седого старца, который кланялся, плакал и сморкался в большой цветастый носовой платок.

— Кто вы такой? Что вам нужно? Я занят, приходите после!

— Не узнаёт, не узнаёт! — вскричал старик. — Ай, нехорошо! Ведь это я тебя вскормил, вспоил. Прочитал в газетах — делопроизводитель! Я так и знал, что ты далеко пойдёшь! Не зря тебя принесли в кружевных пелёнках!

Коля смотрел на старика недоумённо, потом вспомнил, спросил:

— Неужто это вы, Фаддей Герасимович? У вас же ноги не было! И вообще...

— Ногу мне приезжий немец протезную сделал. Понимаю, изменился, узнать трудно. Седина, лысина, сутул сверх меры. Старость не радость, дорогой ты мой Николай Иванович! Я, значит, долго не задержу. Корову у меня на той неделе свели. А у меня внуки малые. Чем кормить-то их теперь? Я ведь не служу ныне, стар стал. Сыновей на войне угрохали. Снохи с малыми ребятами. И дома— шаром покати. Прочитал в газете— делопроизводитель. Вот нашёл тебя, пришёл. В займы деньжат попросить, чтобы купить другую корову. Время-то какое! Во всём— нехватки, чёртовы мазурики меня обездолили. Теперь корову куплю, прямо в избе стойло сделаю, чтобы больше не свели уж.

Коля не мог отказать старику, но у него денег не было. Здесь ему зарплату ещё не выдали. Он за делами и забыл о деньгах, которые отдал Туглакову для обмена.

— Ладно, Фаддей Герасимович, вы там же живёте?

— Там, там, в той самой избе за Белым озером.

— У меня денег нет, сейчас нет, но я достану. Через день-два буду у вас, верьте моему слову. Сколько лет прошло, а я помню. У вас и прежде коровка была, и вы мне парного молока давали. Вы добрый человек, я вам обязательно помогу.

— Жду, жду! — сказал Фаддей Герасимович, кланяясь. Он уже хотел уйти, но в комнату стремительно вбежали люди в военной форме, без погон:

— Стоять! — вскричал один из них, размахивая револьвером. — Оружие на стол! Потом оба— лицом к стене.

— Вот я вам, варнакам, покажу оружие! — вскричал Фаддей Герасимович, заноса над головой незнакомца тяжёлый кулак. — Я ногу под Мукденом оставил, награды имею, а он...

Фаддей Герасимович не договорил. Его стукнули рукояткой по голове, он упал.

— Что же это вы, господа, с инвалидом японской войны так обращаетесь! — воскликнул Коля. — Кто вы такие?

— Руки назад, и шагай, вздумаешь бежать — пристрелим!

— Да кто вы такие? В чём дело?

— Молчи, а то тоже рукояткой по башке схлопочешь. Теперь наше время спрашивать пришло.

Прямо за бывшим губернаторским домом, ныне именовавшимся Домом Свободы, располагался Дом абсолютной Несвободы. Это был построенный во времена царизма-деспотизма тюремный замок, красивый, украшенный домовою церковью, в которой арестанты могли молиться, не выходя из замка. Окна строения

были забраны толстыми и частыми решётками. Коля слышал, что в глубоких подвалах этого замка заключённых в прошлом приковывали к стенам толстенными цепями, концы которых были намертво вделаны в стену. Рядом с домом Несвободы бежала говорливая речка Бланка, словно специально для того, чтобы несвободным людям за толстенными стенами и решётками было ещё горше сознавать свою несвободу. Даже сейчас, подо льдом, Бланка ласково курлыкала, а там, где были проруби, можно было видеть, что вода бурлит, как кипятки. Настолько быстрой, стремительной была эта река.

Дверь замка лязгнула запорами. Зимнего поторопили пинком в зад, а вслед за Колей в тюремный коридор втащили под руки упиравшегося Фаддея Герасимовича. Дед, вздымая палец к потолку, кричал:

— Бог, он всё видит! Он вас, стервецов, рано или поздно накажет!

— Бога нет, папаша! — отвечал ему один из конвоиров. — Есть революционная необходимость.

Другой прокричал вглубь коридора кому-то:

— Ещё двоих буржуйских сепаратистов привели, куда их помещать?

— В шестую тащи их. Надо их по раздельности всех сажать, чтобы не сговорились. Через минуту Коля и Фаддей Герасимович оказались в большой комнате, в которой было много людей разного возраста и вида.

— Ха! Ещё двоих постояльцев привели! — воскликнул кто-то из них. — Тут и так дышать нечем... Ба! Да это Коля Зимний! Ну молодец! Наш пострел везде поспел!

Коля увидел, что через толпу к нему пробирается Аркашка Папафилов.

— Ты как тут? — спросил Аркашка.

— Да уж не по собственному хотению! — хмуро отвечал Коля. — А ты давно тут? Сколько народу набили, только стоять можно, не присесть, не прилечь. А ночью как же будет?

— А так же и будет! Революция в опасности! — весело улыбаясь, отвечал Аркашка.

— Какую же опасность представляет для революции старый инвалид на одной ноге? Я его знаю, он в приюте работал, где я рос. Как же он ночь-то на протезе будет стоять?

— Да не волнуйся ты! — отвечал Аркашка. — Будут допросы, разберутся, социально близких отпустят. Если этот дед не контрреволюционер, ему ничто не грозит, как и мне. Я всей душой приветствую революцию! Я даже на демонстрации знамя нёс. Я им так и скажу. Мы с подельником сгорели* на ограблении одного купчишки. На гоп-стоп** хотели взять, а тут откуда ни возьмись крючки*** выскочили. Вот теперь и паримся здесь. Ну, ничего, ночь настанет, поведут на допрос, я им всё скажу. Классовая ненависть заставила нас напасть на купца. А как иначе? Вот... А ты беспокоись, как ночью твой дед спать будет. Спать не дадут. Они по ночам, суки, допрашивать любят. Ты измученный, спать хочешь, так ты быстрее расколешься. Тебя за что взяли?

— Да ни за что. Я в сибирском совете работал, речи стенографировал, бумаги переписывал.

— Ну, ты залетел! Политику шить будут. Ты покайся, заложи всех своих руководителей. Упирай на то, что ты сирота, тебя богачи эксплуатировали, тебя Второв мучил. Ты — социально близкий, маракуешь? И ничего не подписывай, никакие бумаги. Ты вот ещё что им толкуй: ты же на психе лежал. С психического какой спрос? Ты глаза закати, затрясись и со стула упади. Психика, она многих спасала.

— Не буду я глаза закатывать и со стула падать! — сердито отвечал Коля.

— Ну и дурак! Вас учишь, учишь! Я ведь по-дружески, так как мы вместе в эксплуатации у Второва были...

Лязгнули дверные запоры, и в комнату втолкнули ещё несколько человек.

— Салфет вашей милости! — приветствовал их Аркашка.

Новые обитатели этой комнаты резко отличались от всей прочей публики. Они были одеты в дорогие костюмы, аккуратно подстрижены и побриты, пахли коньяком и парижскими духами. Это были богатейшие люди города, среди них были и Гадалов, и Смирнов, и Вытнов.

— Вот тебе и Прощаль! — сказал Гадалов Смирнову. — Что-то господа-товарищи сильно широко размахнулись, нас прежде ни одна тварь руководящая не трогала. А эти не успели власть взять, и так круто завернули. Без нас-то они в момент до разрухи дойдут.

— А ты им поди объясни, соплякам... К коммерсантам подошёл Цусима:

— Вот что, господа хорошие, граждане эксплуататоры. Денег при вас нет и часов тоже, это мы понимаем. Крючки шмон навели, конечно. Они в камеру никого с драгоценностями не пустят, факт. Но костюмчики у вас хорошие.

* Сгорели — попались (*воровской жаргон*).

** Гоп-стоп — внезапное нападение (*воровской жаргон*).

*** Крючки — милиционеры, представители власти, (*воровской жаргон*).

Так что начнём переодеваться. Он повернулся к Смирнову:

— Вот ты! Снимай пиджак, жилетку и брюки. Мы с тобой одного роста, одной комплекции, так что будет в самый раз.

Иван Васильевич согласно кивнул:

— Оно, конечно, почему же не снять, если одной комплекции и рост одинаковый?

Он снял пиджак и протянул Цусиме:

— Вот пиджачок, примерь, пожалуйста.

Довольный Цусима скинул свою засаленную кацавейку и продел руку в рукав смирновского пиджака. В этот момент Смирнов нанёс ему в челюсть мощный удар-крюк, повернувшись всем телом. Цусима упал в толпу, упёршись в чей-то живот головой. Он был без сознания. Смирнов взял свой пиджак, брезгливо отряхнул, надел на себя и спросил:

— Есть ещё желающие переодеваться?

Желающих не нашлось. Аркашка на всякий случай стал проталкиваться в толпе подальше от Смирнова.

В первую же ночь Колю вызвали на допрос. И была уже третья ночь, третий допрос. В камере удавалось только подремать стоя. Здесь Коля сидел на узком стуле, который был привинчен к полу. Глаза закрывались сами собой, но следователь кричал:

— Не спать!

Вопросы были всё о Потанине. Что он говорил? Где прятал секретные бумаги? Коля отвечал, что не знает. Следователь пугал расстрелом.

В комнате, где допрашивали, было два следователя. Перед другим следователем сидел Иннокентий Иванович Гадалов. Краем уха Зимний слышал, о чём он говорит со своим следователем.

— Шестнадцать богатейших людей города должны дать нам выкуп — двадцать миллионов рублей золотом. Тогда мы всех отпустим, если, конечно, за вами не числится каких-нибудь особенных преступлений. Мы это проверим. А сейчас как самый богатый посоветуйте своим арестованным друзьям постараться, чтобы нам поскорее принесли выкуп.

— Молодой человек! — отвечал следователю Гадалов. — Вы что же, полагаете, что мы храним золото в бочке из-под селёдки? Ввиду смутных времён золотые запасы многие купцы и промышленники давно отправили в надёжные зарубежные банки. Чтобы получить их обратно, потребуется немало времени. У меня, например, на крупную сумму закуплены товары в Харбине и Париже. Но чтобы получить эти товары и продать какую-то их часть, и выплатить вам выкуп, я должен быть освобождён из этой вашей кутузки. Я могу дать вам расписку в том, что выплачу свою долю через пару месяцев после освобождения.

— Сбежать хочешь? А твоей бумажкой тогда хоть подотришь?

— Подпись честного коммерсанта не требует печатей и адвокатов.

— У коммерсантов не бывает чести! Ты капиталистическая акула! Какая может быть у акулы честь? — стукнул кулаком по столу дознаватель. — У акулы есть только хищные острые зубы. Но акула попала в стальные сети! У нас есть распоряжение свыше. Если за вашу свору срочно не выплатят названный мной выкуп, мы вас отправим в Анжеро-Судженск на шахту Михельсона, и вы там будете ломать обушком уголь до той самой поры, пока этот выкуп не ляжет на мой стол.

— Понял, — отвечал Гадалов, — но не вижу в этом здравого смысла. Мы будем работать в шахте, а вы не получите выкупа. Кстати, мне лично к работе не привыкать. Я в молодости и лес валил, и землю копал. Да и сейчас не только мозгами работаю. У меня дома столярная мастерская. Я мебель делаю не только себе, но и многим моим друзьям. Эко, работой решил напугать! Я вижу, что вы приезжий. Если бы вы были местный, вы бы знали, что сибиряков работой не испугаешь, и вообще ничем.

— Я тебя вот этим испугаю! — воскликнул следователь, достав из ящика стола револьвер. — Ты — гидра! Ты кровосос. Мы вас всех выведем под корень. Ликвидируем. Нам надо жизнь в городе и губернии наладить. Без капиталов это невозможно. Говори, где золото!

Гадалов молчал.

— Я тебя спрашиваю?

— Я вам уже пояснял, молодой человек. Ликвидируете нас, а чего этим достигнете? Сейчас, в связи с войной и с переменами властей, товарооборот из мощной реки превратился в ручеёк. Без нас, без специалистов, этот ручеёк совсем пересохнет, и тогда вы самоликвидируетесь в своих застеночных кабинетах.

— Молчать!— завопил военный. Вышел из-за стола, приотворил дверь, крикнул:

— Крестинин! Отведи этого гада в подвал, пока я его не шлёпнул! Скажи там, чтобы его приковали к стене цепями, которые остались от царского режима. Там уже пятерых таких приковали. Буду прочих допрашивать, кто откажется от немедленного взноса, всех посадим на цепь! Уведи его с глаз долой!

На крик в кабинет заглянул ещё один человек в военной форме без погон. Но форма у него была из хорошей английской шерсти, ремни новой офицерской португеи скрипели и блестели, словно их маслом намазали.

— Что за шум, а драки нет? — сказал этот молодой человек, почти мальчик. И Коля вдруг узнал в нём Криворученко, того самого, который был когда-то прикован цепями к стене арестантского подвала психолечебницы.

Криворученко взглянул на Колю, и тоже узнал его.

— Ага! Знакомый! Ты чего здесь?

— Сепаратист он! — отвечал следователь.

— Такой молодой? Я же его знаю, он — приютский, со мной на психе был по ложному обвинению. Какой из него сепаратист? За что тебя взяли, Коля?

— Бумаги Потанину переписывал, стенографировал съезд. Григорий Николаевич обещал к экзаменам подготовить за гимназию экстерном.

— Ладно. Я всё понял! — сказал Криворученко. Обернулся к подчинённому:

— Его дело ты закрой. Я его беру на поруки. Он социально близкий, обездоленный. Ему наша власть даст образование, я сам позабочусь об этом. Так что это дело закрыто, ясно?

— Слушаюсь, товарищ комиссар! — поспешил согласиться хмурый и серьёзный следователь.

— Ну вот! Как говорится, дело в шляпе! — улыбнулся Коле Криворученко.— Тебе повезло. Я недавно назначен комиссаром по борьбе с контрреволюцией. Так что могу освободить тебя своей властью. Идём!

Они стали спускаться по лестнице куда-то вниз. Криворученко шёл легко, весело, в конце концов сел на перила и покатился вниз. Дождался Колю. Поправляя португею, кобуру, спросил:

— А ты — чего же? Не хочешь вспоминать детство? Серьёзный такой?

— У нас в приюте перил не было, — хмуро отвечал Коля.

— Ладно, не хмурься. Тебе повезло, что я тут оказался. Зловредный старикан твой Потанин, за восемьдесят, а туда же — во власть полез. Ну, заслуженный, не спорю. Путешественник, писатель, то, сё. Но его самого, что говорится, подвели под монастырь покакать. Знают, что его даже посадить нельзя — еле живой. Президент, ядрёна вошь! Мы его держим под домашним арестом. Пусть посидит, подумает. А буржуям вроде Гадалова и твоего Второва, конечно, выгодно Сибирь отделить. Для них тут — золотое дно. Черпай-успевай. А того в расчёт не берут, что вся Россия эту самую Сибирь обживала. Короче: тебе с ними не по пути. Ты с нами

шагай. Добьём буржуев, и пойдём с тобой вместе учиться. А пока я тебя устрою, ну хотя бы тем же писарем в одну из наших контор. И паёк, и звание дадут.

Они спустились в сводчатый подвал без окошек, пошли мрачным коридором и прошли в длинную комнату, где сидели и стояли люди, прикованные к стене толстенными ржавыми цепями, оставшимися ещё с царских времён. Среди закованных узников Коля узнал и Смирнова, и Голованова, и других богатейших людей Томска. Как раз в это время надевали на руки и на ноги тяжёлые оковы Иннокентию Ивановичу Гадалову. При этом он обратился к Смирнову:

— Ну что? Дождались свободы?

— Бог терпел и нам велел! — отвечал Иван Васильевич.

— Ничего, потерпим! — отвечал Гадалов. — И тебе, и мне жирок сбросить не мешает. Да и подвал вполне приличный при — царе строили. Добротно. И цепи ладные, и звенят красиво.

— Ну, ты! Шутник! Погоди, через неделю-другую по-иному запоёшь! — сказал тюремщик.

— Меня зовут Иннокентий Иванович, а твоё как имечко будет? — спросил его Гадалов.

— Обойдётся без имечка.

— Обойдусь! — согласился Гадалов. — Я тебя и так запомню.

— Ладно! Идём! — сказал Коле Криворученко, и они вновь вышли в подземный коридор.

— Нехорошо как-то с ними обошлись, такие солидные люди! — сказал Коля.

— Ты — что? Богатеев пожалел? А они нас жалели? Эти изверги рады задушить революцию, не дают новой власти ни товара, ни денег. Всё попрятали. Но мы их... но я их!.. — У Криворученко задёргалась щека. Он сунул руку в планшет, вытащил оттуда газету «Знамя Революции», подал Коле:

— На! Прочитай про то, кому ты служил! Вот здесь, во втором столбце... Коля стал читать:

«Жалкий призрак буржуазной власти. Час падения буржуазной думы есть час торжества революционных народов Сибири. Задушить революцию не удастся. Богатые должны отдать сбережения на благо народа...».

— Ну, я не знаю, — сказал Коля. — Григорий Николаевич иначе говорил. Опять же богатеи... Тот же Смирнов в думе состоял, жертвовал деньги на сирот... А Гадалов из своих служащих оркестр создал, и они играли в городском саду. Я тоже там танцевал. Выходит, Гадалов для всех постарался.

— Чудак! — усмехнулся Криворученко. — Оркестр! Он этим оркестром тебе глаза отвёл. Ты Маркса не читал. Не знаешь, что такое прибавочная стоимость. Представь, что Смирнов в молодости попал на необитаемый остров. И вот стал бы он себе там строить дом. Прожил бы он при этом, ну, скажем, до ста лет. И всю жизнь бы строил. Смог бы он себе при этом возвести такой дворец, в каком он нынче живёт? А ведь кроме этого дворца за рекой у него ещё один дворец, который он дачей именует. А ещё он имеет магазины, катера, конюшни и много чего. Разве мог бы он всё это заработать своими руками? Нашими руками, твоими, моими, и руками прочих простых людей нажили они свои богатства, и жируют — и Гадалов,

и Смирнов, и все прочие. Несознательный ты ещё, Коля! Я тебе потом дам Маркса почитать, а что не поймёшь — спросишь, объясню...

— Вы бы старика Фаддея Герасимовича выпустили, это мой приютский воспитатель, он инвалид японской войны. Он ко мне в совет за помощью пришёл, корову у него свели. Ну, его вместе со мной и забрали.

— Ладно! Я пошлю нарочного с приказом. Пошли!

Криворученко отпер ключом в стене маленькую дверцу и потянул за собой Колю. За дверью обнаружился другой коридор, низкий, в рост человека, и узкий. Алексей Криворученко запер за собой дверь и сказал:

— Этим коридором я тебя выведу из дома заточения в Дом свободы, то есть в бывший губернаторский дом. Губернатор мог проникать по специальным подземным ходам и в следственный замок, и в Троицкий собор. Когда он появлялся в Троицком соборе в морозный день без пальто, прихожане удивлялись, откуда он взялся. Никто не видел, чтобы он входил в соборную дверь.

Ну, мы, атеисты, в собор не ходим. А вот следственный замок навещать приходится. Когда революция победит окончательно, и в этом подземном ходе надобность отпадёт. Мы тогда засыплем все подземные ходы окончательно. И люди будут ходить только по земле, и будут парить над ней на крыльях, как птицы. Счастливые, смелые, свободные!

Они шли по тайному ходу, пол которого был вымощен гранитом, а стены и своды были выложены из кирпича. Криворученко нажимал пружину фонаря под названием «Летучая мышь». Фонарь таинственно жужжал, и пятно света мерцало, то увеличиваясь, то уменьшаясь.

Коля думал: кто же прав? Действительно, разве можно построить в одиночку такой дворец, как у Смирнова? Но зачем же его цепями — к стене? Что-то тут — не так. Добрее надо быть. И опять же Григорий Николаевич... Он о свободе для сибиряков радуется. Почему Криворученко этого не понимает? Он же сам сибиряк! Надо будет в этом во всём разобраться, кого-то ещё спросить такого... Но кого?...

32. Алёна-Элеонора — девственница

На Никитинской в доме Безхадорнова великий ясновидящий предсказатель и знахарь Ашурбанипал Данилович вместе с девственницей Элеонорой принимал делегацию женщин. Они вошли, и в комнате пахло дорогими французскими духами. Женщины были в шляпах с вуальками, держались просто и с достоинством, и видно было, что знают себе цену. Они внимательно осмотрели приёмную Ашурбанипала. По стенам были развешаны знаки зодиака и большие стеклянные шары неизвестного назначения. В глазницах человеческого черепа, который лежал на комод, полыхал огонь. Окна были зашторены, и в комнате было сумрачно, несмотря на весну.

Старшая из женщин осмотрела стул, вынула из сумочки платок, отёрла им сиденье стула, присела на краешек:

— Ашурбанипал, если не ошибаюсь, был каким-то царём? Вы, вероятно, его родственник?

— Все люди на земле — родственники, — отвечал Ашурбанипал Данилович. — Если вы не верите в меня, то для чего же вы пришли?

— Утопающий хватается за соломинку, — отвечала она. — Сейчас газеты пестрят объявлениями об услугах различных кудесников, мы выбрали вас за ваш удивительный псевдоним.

— Псидоном? Да, слышал я такое городское словечко, означает оно кличку, — отвечал Ашурбанипал Данилович. — Но вы это — совершенно напрасно. Меня обидеть невозможно. Вы ещё не успели что-то подумать, а я уже знаю, что вы подумаете. У меня это — не кличка. Моё имя меняется каждый месяц. Как буду я прозываться в следующем месяце, мне внушает некто свыше. И я знаю, что вы сейчас думаете. Вы решили, что, меняя имена, я скрываюсь от полиции, её теперь кличут милицией, хотя хрен редьки не слаще. Нет, я нескрываюсь. Я ставлю перед домом невидимую черту, и ни один человек, желающий мне зла, не переступит её.

— Вот как? — сказала собеседница. — А это ваше украшение на комодe — в его глазницы вставлены свечи? И ваша Элеонора действительно имеет справку от Курлова?

— Справка вон она — висит в рамочке на стенке. А в черепе горят не свечи, это холодный огонь, сторонний, не тутошний. Суньте в него палец и полюбопытствуйте.

— Стану я палец марать! — капризно сказала визитёрша. — Так вы с Элеонорой можете видеть на расстоянии?

— Я знаю, зачем вы пришли. Элеонора уже получила сигнал и передала его мне.

— Вот как? Откуда же берётся сигнал? И зачем же мы пришли?

— Сигнал поступил от вас к ней, а от неё — ко мне. Вы пришли узнать, где же теперь находятся арестованные ваши мужья, самые богатые в Томске люди. Мы это можем узнать, но вы должны дать в аванс золотое кольцо, а после, как всё проясним, — ещё два золотых кольца. Бумажных денег не принимаем.

— Мы согласны дать вам три золотых кольца, но не раньше того, как услышим ваши сведения.

Ашурбанипал Данилович нахмурился и сказал:

— Элеонора! Напрягись!

Элеонора встала со стула, закрыла глаза, медленно переступая, поворачивалась слева направо. Потом вдруг замерла, словно во что-то вслушивалась.

Ашурбанипал положил руку на мёртвый череп, огонь в глазницах засиял сильнее.

— Всё ясно! — сказал колдун. — Ваши мужья находятся в бараке, в шахтёрском посёлке Анжеро-Судженске, возле копей Михельсона. Их хотят спустить в бадье вниз, в глубину шахты, а они говорят, чтобы пока их оставили в покое. Они клянутся, что вы соберёте двадцать миллионов, хотя и не сразу. Просят подождать. Но без дела они там не сидят, они создают чертёж подъёмника для одной из шахт. И, слава богу, пока здоровы.

— Значит, их уже нет в подвале следственного замка? — воскликнула женщина, сразу забывшая своё неверие и свою иронию.

— Их увезли на копи недели две назад!

— Всё правильно. Так и написал Иннокентий в переданной мне с оказией записке.

— Ты — Гадалова?

— Это неважно, возьмите свои три кольца, хотя это очень дорого.

— Приходите ещё, мы всегда готовы услужить.

— Спасибо! — сказала женщина. — Мы уже начали выплачивать выкуп, но нужную сумму нам никогда не собрать.

— Старайтесь, бабоньки, старайтесь!

Женщины удалились. Ашурбанипал Данилович, засунув крюк в петлю, запер дверь. Облапил венозными корявыми руками Алёну:

— Ах ты, девственница моя драгоценная! Ведь превзошла меня самого в науке. И как это у тебя получается?

— Сама не знаю! — сказала Алёна, освобождаясь от гимназической пелеринки и скромного тёмного платья. Ашурбанипал Данилович дважды плюнул в глазницы черепа, и огонь в них погас. Через минуту диван в комнате заскрипел всеми своими пружинами.

— Девственница ты моя! — хрипел Ашурбанипал Данилович.

— А то как же! — отвечала запыхавшаяся Алёна.

В это же самое время в небольшом городе Анжеро-Судженске в бараке с зарешеченными окнами томские богачи сидели и лежали на деревянных нарах. Узники выглядывали иногда сквозь решётки. И что же видели они? Известные им прибыльные копи Михельсона из заточения виделись адом. Сколько мог захватить взор, всюду были видны чёрные горы угольных отбросов, пустой породы. Скрипели лебёдки и транспортёры, мальчишки, почерневшие от угля, как негры, сортировали его. Чёрные горы породы при каждом дуновении ветра извергали из себя тучи грязной пыли. Угольная пыль посыпала примыкавшие к терриконам убогие мазанки. Возле жилищ сидели на лавках деды в украинских расшитых рубахах и курили казачьи люльки. Деда эти вышли погреться на солнышке, подышать свежим весенним воздухом. А воздух был спёртым, дымным, словно весь город поместили в гигантскую печь. Бельё, вывешенное после стирки для просушки, чернело мгновенно. Василий Вытнов обратился к товарищам по заточению:

— А шахтёришки-то живут грязно. После нашего Томска это — сущий ад.

— Что же, они сами выбрали свою судьбу, — философски заметил Смирнов. — Могли бы жить в деревне, пахать, сеять, дышать свежим воздухом, но приехали сюда за длинными рублями.

— Молчи, гидра капиталистическая! — воскликнул конвоир.

Барак охранялся снаружи, но несколько охранников находилось внутри барака. Опасались того, что арестованные богатеи сделают подкоп или пролом в полусгнившей стене, и сбегут. С тех пор, как в Анжерке появились знатные арестанты, местные большевики потеряли покой. Им хотелось поскорее поставить врагов рабочего класса к стенке, или по крайней мере спустить на дно самых глубоких шахт и заставить рубать уголёк, пока не сдохнут. Телеграф мгновенно передавал это желание в Томск, но из губернского центра отвечали о революционной необходимости. Расстрелять богачей могли и в Томске, дело

нехитрое. Но надо их напугать, чтобы они отдали необходимые революционной власти деньги. Вот уж деньги дадут, тогда видно будет.

На злобную тираду конвоира Гадалов ответил примирительно. Он предложил сыграть в карты, ведь внутренним конвоирам осточертело сидеть без дела в бараке вместе с заключёнными.

И вот богачи уже играли с большевистскими конвоирами в карты. Коммерсанты ставили на кон пиджаки и штиблеты, конвоиры при проигрыше должны были отнести на местную почту письма арестантов. И коммерсанты всё время выигрывали, что вводило в азарт конвоиров. Богачи были более искушены в картёжных играх.

В конце концов проигравшийся вдрызг старший конвоир, беря письма у богачей, сказал:

— Не радуйтесь шибко-то, я ваши письма проверю, и лишь потом отправлю. Пеняйте на себя, ежели что худое написали. Морду набью.

Он распечатал конверт Гадалова и прочёл: «Дорогая, немедленно собери и уплати властям требуемую сумму. Твой Кеша».

Примерно то же было написано в других письмах. Конвоир сказал:

— Это ничего, это можно отправить. Так и быть...

Он не знал, что ещё во время сидения в томском следственном замке Гадалов через зарешеченное окно показал старшему приказчику секретные знаки, которые посторонний человек ни за что не разобрал бы. Этот шифр придуман был Гадаловым. Он знал: приказчик его письмо подержит над тёплой плитой, и на бумаге проступят слова, написанные молоком между строк: «Дорогая, ни в коем случае не давай комиссарам ни копейки. Твой Кеша». Тайнописью были снабжены и все другие письма. Но простодушные большевистские конвоиры не могли даже предположить такое коварство.

33. Скворцы летят мимо

Благодаря Природе, Господу Богу или же Мировому разуму, что, очень может быть, — одно и то же, в Сибири всегда вслед за зимою является весна. И мы с детства помним эти ликующие строки: «Зима недаром злится, прошла её пора...».

Всю зиму в домах у томичей в деревянных клетках живут жуланы, щеглы, чечётки. А весной и взрослые, и дети строят и прикрепляют к шестам, а то и прямо к домам своим домики для скворцов. Считается: если в усадьбе живёт хоть один скворец, жильцам будет счастье.

Но в весну 1918 года ни взрослые, ни дети в Томске скворечников не строили. Город смотрел хмуро. Обедневшие жители завидовали птичкам, которые могут крохой прокормиться, летящей каплей дождевой напиток. Многих умерших за зиму беженцев некому было хоронить. Война аукнулась и в глубоком тылу. Стали возвращаться с фронтов солдаты и офицеры. Впервые томичи услышали страшное слово «сыпняк». Да и немудрено было заболеть тифом — ехали тысячи вёрст, через разорённую войной Россию, в телячьих вагонах, без мытья в бане, почти без еды.

— Смотрите! С них вши валятся! — крикнул кто-то в толпе встречавших. Понурившись, шли фронтовики — не строим, а странной толпой, шли в размахившихся грязных шинелях и гимнастёрках.

Ещё в марте большевики заключили с немчурой мир в Брест-Литовске. Проклятый договор подтвердил захват Германией многих земель Польши, Прибалтики, Белоруссии и Закавказья. Россия обязалась выплатить противнику шесть миллионов марок. Это тоже угнетало.

Анатолий Николаевич Пепеляев поспешил в отчий дом, пригласив в гости Алексея Николаевича Гришина. В доме всё было, как и прежде. Чинно и спокойно отсчитывали время громадные напольные часы. Пушистые кошечки сидели на диванах на специальных подушечках. На стенах висели пейзажи, написанные Михаилом Николаевичем, а в окнах сквозь уютный узор тюлевых штор рисовался контур университета. Приняв ванну, переодевшись во всё чистое, два подполковника прошли к столу, где исходило слезой жёлтое сливочное масло на тарелочке и серебряные сахарные щипцы как бы приглашали откусить от сверкающего, как снежная вершина, сахарного конуса какую-то его часть. Были тут буженина, икра осетровая.

Старый дом коренных томичей ещё мог блеснуть перед гостями остатками прежнего благополучия. Из запотевшего графинчика мужчины налили по рюмке водки, и Анатолий Николаевич сказал:

— За что же выпьем? За возвращение? А ведь могли бы выпить за победу, если бы нас не предали.

— Пять миллионов погибших на этой войне россиян вопиют к нам: отомстите за нас, за украденную победу, за несостоявшийся парад в Берлине, накажите предателей! — воскликнул Гришин. — За отмщение!

Вешний ветер врывается в форточки и, залетая внутрь лежавшей на диване гитары, заставляет петь её трепетные струны. И долго, долго молчали подполковники. Каждый думал о своём. Анатолий Николаевич вспоминал отца, совместную с ним отправку на фронт. Отец не смог вынести позора отступления. Это было выше его сил. И вот отца нет — есть холмик рядом с могилкой деда. А сын бесславно возвратился в отцовский дом.

Потомственный дворянин и бывший доцент Технологического института Гришин вспоминал неудачную русско-японскую войну, в которой он принимал участие. А теперь ему пришлось пережить ещё одно поражение! Что за рок? Что за насмешка судьбы? Тогда японскую кампанию провалили бездарные царские генералы, теперь не дали побить врага большевики. И вспоминались окопы, засыпанные трупами, газовые немецкие атаки. Не трусили, стояли насмерть. И всё — зря. И водка не пьянила, не облегчала голову, а от выпитого становилось ещё противнее и тягостнее на душе.

Гришин в тот же день уехал на свою загородную дачу в село Аникино. А через несколько дней порог дома Пепеляевых переступил ещё один из братьев — Виктор. Окончив в тысяча восемьсот восемьдесят четвёртом году юридический факультет Императорского томского университета, он работал в Бийске учителем. Должность, казалось бы, невеликая, но надо знать Пепеляевых. Виктор быстро стал одним из первых граждан маленького городка. Вскоре его избрали депутатом государственной думы четвёртого созыва.

В семнадцатом году он стал комиссаром Временного правительства в Кронштадте. Когда восстали большевики, матросы подняли на штыки пред-

ставителя Керенского— адмирала Роберта Николаевича Вирена. Виктора Николаевича, как штатского, не тронули, лишь объявили ему, что он свободен от должности, ибо она упразднена. И вот он снова видел из окон родного дома крест на церкви томского университета, с другой стороны дома вскинула свой крест Преображенская церковь.

Анатолий Николаевич пригласил Виктора Николаевича съездить на дачу Гришина в село Аникино. После всех передрыг и перипетий надо было вдохнуть сибирского хвойного воздуха. На томских взгорьях солнце подсушило глину, и там пробилась первая зелёная травка. Листки тополей и берёз исходили зелёным клеем.

В церквях звонили колокола. Афиши на тумбах извещали, что в театральном кафе Василия Гранина ставят пьесу «Дочь каторжника, или Царь иудейский». Сообщалось также, что спектакль этот будет идти с продолжением в течение пяти месяцев, и каждый раз после спектакля танцы будут продолжаться до трёх часов ночи.

— Я был там! Смотрел «Смерть Антуанетты». Это какой-то пир во время чумы, — заметил Виктор Николаевич, протирая очки. — Представьте: гильотина. Главный герой— палач Самсон. Панорама Гревской площади. Настоящие факела и барабаны. «Пусть железный меч равенства пройдёт над всеми головами!». Падает нож, палач за волосы поднимает муляж окровавленной головы. Зал ревёт. И после — танцы до утра... Ужасно...

А вот ещё афишка. Это художник Казимир Зеленецкий к революции приобщился. Недаром живёт он в доме по Тверской, шестьдесят шесть, построенном в тысяча восемьсот девяносто девятом году. Это же число дьявола! Не зря Казимирчик в изъятном особняке Смирнова открыл сибирскую картинную галерею. Изо всех особняков волокли картины и мраморные скульптуры.

Между тем, мальчишки-газетчики вопили:

— Пасхальный номер газеты «Знамя революции»! Сегодня отмечается 100 лет со дня рождения большевистского комиссара Карла Маркса! На тему святой Пасхи и Маркса отозвался революционный поэт Пётр Устюгов! Спешите купить газету! Спешите, а то будет поздно!

Анатолий Николаевич Пепеляев был в военной форме, но без погон. Виктор Николаевич был в суконной новенькой тройке, в сером плаще, на голове его была мягкая серая шляпа, его пенснец поблёскивали на солнышке. Перед выходом из дома он предлагал и своему брату полковнику надеть всё штатское, на что Анатолий Николаевич отвечал:

— Я военный, я родину защищал, чего мне прятаться?

Теперь, купив у мальчишки газету, он прислонился к рекламной тумбе и стал вслух читать стихи Устюгова:

ВЕЛИКОМУ МАГУ!

- Ты первый нас позвал к борьбе с Ваалом!
- Тобой осмеян золотой телец.
- Ты добрый друг, Учитель и Отец,
- Судьбы слепой ты сбросил покрывало!
- И солнце новое над миром встало —

- Глухому рабству наступил конец!
- Великий Маг, любимейший Мудрец,
- Тебе плетём венки на перевале,
- Твой дух встал снова над землёй,
- И новые пути перед зарёй
- Он указал измученным народам!
- Волшебник, ты развеял злой туман!
- И пролетариям народов, стран
- Открыл могучий, яркий свет свободы.

Дочитав это стихотворение, Анатолий Николаевич сказал Виктору:

— Удивительнейший этот революционный поэт! Похвалив Маркса, он в этом же номере газеты и на этой же странице отдаёт должное и Иисусу Христу. Вот послушай:

УТРО РАДОСТИ

Заря сияет с радостных небес,
 И медь поёт о Светлом воскресенье:
 Христос, принявший муки за ученье,
 Воскрес, воистину воскрес!
 Долины, горы, шелестящий лес
 Сияют в ярком новом озаренье.
 И больше нет в душе моей сомнений,
 И жизнь прекрасна и полна чудес!
 И льётся звон на солнечной дороге
 От города, оркестр колоколов,
 Поющих с радостной тревогой,
 Зовёт забыть кошмары чёрных снов.
 Победный звон у ветхого порога —
 И верю снова в Братство и Любовь

— Оригина́л! Оригина́л! — похвалил поэта Анатолий Николаевич, выбрасывая газету в мусорную урну. — И как это у него ловко получилось! Всем сестрам — по серьгам. Но ведь господа-товарищи граждане большевички бога отрицают! Куда же редактор смотрел?

— Я этого не знаю, — отвечал Виктор, — но думаю, что вон того извозчика можно подрядить отвезти нас за город. Эй! Кирюшкин! В Аникино!

Извозчик остановил свой экипаж возле тротуара:

— Грязновато ещё, дороги не высохли, до Аникина повезу только за двойную плату, и желательнo серебром, берём Екатеринки, Петровки.

— Ладно! Погоняй! Будем тут торговаться! — оборвал его Анатолий Николаевич.

Крылья пролётки предохраняли седоков от грязи. Виктор Николаевич бережно закурил сигару. Светловолосые, голубоглазые братья были сильны и изящны, в них чувствовалась нерастратенная энергия, сила духа.

Проехали березняки, осинники, и смешанный лес сменился хвойным бором. Холмы, увалы, обрывистый берег Томи, нередко спускавшийся к воде скальными выступами. С детства знакомая обоим братьям торжественная картина природы Притомья вызывала особенное волнение. Извозчик сказал: — Господи! Среди какой красоты живём. И всё чего-то людям неймётся, то воюют, то враждуют, опомниться бы всем да покаяться.

— Верно толкуешь, Кирюшкин! — похвалил его Виктор Николаевич.

— Святая истина! — подтвердил Анатолий Николаевич.

Ближе к селу Аникину дорога пошла под уклон, тут открылись виды совсем уж фантастические по красоте. Глубокий каньон, на дне которого текла каменная вертлявая речка Басандайка, весь порос пихтами, елями, кедрами, возле самой речки толпились черёмухи, ивняки. Воздух здесь был прозрачен до звонкости. На вершине высокой скалы росла одинокая сосна, на верхних ветвях которой свили гнездо орлы.

К даче Гришина братья прошли по петляющей лесной тропинке. Сам хозяин во дворе разделявал на поленья смолистые кедровые чурбаки.

— Добро пожаловать, дорогие гости! — воскликнул Гришин, отбрасывая топор. — У нас тут кедр старый свалился, так я его раскряжёвываю гимнастики ради. Виктор Николаевич вернулся в родные пенаты? Рад! Очень рад! Я его сразу не узнал — возмужал, возмужал! Чем теперь занимаешься? Думе вашей конец в Петербурге? Удивляюсь. Ты после университета попал в заштатный городишко Бийск учителем. Ну что за должность? Так, ерунда. И во что ты её сумел превратить? Стал предметом восхищения всего городского общества. И — гигантский прыжок из маленького Бийска в столицу, управлять государством! Вот она, пепеляевская закваска! А что — теперь? Может, пойдёшь по военной линии, как братья? Сейчас родине нужны солдаты.

— Ей нужны и политики! — отвечал Виктор Николаевич, чуть улыбаясь. — Вот пример. В семнадцатом Дума послала меня комиссаром Временного правительства в Кронштадт. Когда восстали большевики, матросы при мне подняли на штыки представителя Керенского адмирала Роберта Николаевича Вирена, кстати, бывшего томича, любившего и ценившего наш город. А меня не тронули, именно как политика, и объявили мне, что могу идти на все четыре стороны. Но политика нельзя снять с работы, уволить от должности! Политик всегда при деле, даже если уволен от дела. Само это увольнение уже работает на его престиж. Ах, он там уволен? Значит, он нужен нам тут! Так рассуждают массы.

— И что же ты будешь делать?

— Посмотрю, какие политические силы в Сибири будут отвечать моим воззрениям, и примкну к ним. Я политик теперь известный, и долго без дела не засижусь.

Пойдёмте, пойдёмте в комнаты, как раз и обедать станем!

Фронтон дачи Гришина, её наличники были щедро украшены резьбой. Искусные резчики вырезали вензеля в виде еловых ветвей и шишечек.

В доме вешалкой служили ветвистые олени рога, по полу и диванам были расстелены медвежьи шкуры, по стенам висели ружья, манки и рожки. Всё это свидетельствовало о любви Гришина к охоте.

Улыбающаяся стряпуха внесла на подносе свежие куличи, крашеные яйца, графинчик с клюквенной настойкой:

— Кушайте, дорогие гости, куличи я освятила сегодня в церкви! Кушайте, гости дорогие! Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — отвечал Анатолий Николаевич, крепко целуя стряпуху в уста.

— Эге! — воскликнул Алексей Николаевич. — Вы не очень-то увлекайтесь!

Стряпуха вышла, щёки её порозовели. Гришин наполнил рюмки:

— Давайте, братья, за Сибирь! Выпили ещё — за дружбу, за общее дело. Анатолий Николаевич взял яйцо и сказал Гришину: — А ну, бери яйцо, давай стукнем, и посмотрим — чьё расколется. А ты при этом желание загадай!

— Уже загадано, — сказал Гришин. Стукнули. Расколелось яйцо в руке у Гришина.

Анатолий Николаевич улыбнулся:

— Я этим искусством ещё в детстве овладел. Мы на Пасху крашеные яйца с горки катали. Чьё до самого низа докатится и не разобьётся, тот и победил. Или стучались, вот как с вами. Я всё удивлялся: отчего это всегда цыганята в таком деле побеждают. Однажды они мне открыли секрет. Вытачивается из дерева яйцо, красится. Не отличишь от куриного, стучайся им — всегда победишь, надо только незаметно вытащить его из кармана. Теперь на каждую Пасху с собой в кармане деревянное яйцо ношу, вот смотрите!

Анатолий Николаевич достал из кармана крашеное яйцо, изо всех сил стукнул им по столу.

— Вот видите?

— Ай да обманщик! — укорил его Алексей Николаевич.

— Это что! — сказал Пепеляев. — Меня цыганята ещё одному делу научили. А как вы думаете, почему я всегда выигрываю в карты?

— Почему же? — воскликнули собеседники разом.

— Это большой секрет. Но вам, как хорошим людям, скажу, чтобы больше никому — ни слова.

— Никогда!

— Хорошо. Значит, так. На Пасху в ночь надо пойти в храм, имея в кармане колоду карт. Вы стоите и ждёте. Как только священник воскликнет: «Христос воскрес!», надо стукнуть себя по карману, в котором лежат карты, и шёпотом сказать: «Карты здесь!». Сколько раз священник возгласит: «Христос воскрес!», столько раз надо хлопать себя по карману и шептать. Зато потом, пока эта колода вся не порвётся, вы всегда будете ею выигрывать, поняли? А потом и с новой колодой надо всё повторить в том же порядке.

— Попробуем! — озадаченно посмотрел на него Алексей Николаевич.

— Только в следующую Пасху, нынче уже поздно, — пояснил Пепеляев.

— Хорошо! Теперь моя очередь удивлять, — сказал Гришин. — Идёмте-ка в лес. Сперва надо переобуться в бродни.

Все дружно обулись в бродни, в эти удивительные сибирские сапоги, не пропускающие влагу, с голенищами, доходящими до паха.

Они петляли по узкой, еле заметной тропинке, она то исчезала совсем, то появлялась снова. По склонам оврагов ещё лежали проплешины не растаявшего снега, от них веяло холодом, и по краям их росли сибирские тюльпаны, трогательно нежные и голубые. Их сибиряки именуют кандыками или же подснежниками.

По пути пришлось преодолевать небольшие последние рыхлые сугробы, лесные завалы. Путники остановились отдохнуть возле интереснейших родников. При выходе на поверхность известковые туфы образовывали ячеистые чаши белосерого цвета. Одна из чаш возвышалась над землёй на полтора метра, имела в длину четыре метра и в ширину до трёх.

— Вот это ванночка! — сказал Гришин. — Такой не было даже у Алифера и Попова в их грандиозной гостинице «Европа». К тому же вода в чаше — целебная. Я захватил в поход с собой три полотенца, так что мы сейчас искупаемся.

Военные быстро разделись, Виктор Николаевич некоторое время в нерешительности наблюдал, как они блаженно ухают в ледяной минерализованной воде, а затем и сам стал раздеваться.

Растираясь докрасна полотенцем и одеваясь, Гришин сообщил, что к этой «ванне» приходят иногда лечиться даже медведи.

— Не дай бог, какой на нас напорется! — сказал Виктор Николаевич. — А револьверы у нас на что? — ответил ему брат вопросом.

После двух часов ходьбы они увидели в лесу еле заметную охотничью избушку. Из её трубы тёл вкусный дымок.

Не успели они подойти к этой избе, как из-за дерева вышел ловкий мужик с длинной чёрной бородой, в драной кацавейке, вытянулся в струнку, приложил руку к старой шапке-ушанке:

— Здравия желаю, господин полковник! За время вашего отсутствия на вверенном мне участке никаких происшествий не случилось, докладывает прапорщик Вершинин!

— Вольно! Благодарю за службу!

— Не прикажете ли подать чего-нибудь для сугреву?

— Потом, сейчас проведите нас в парк.

Мужик, оказавшийся прапорщиком, пригласил всех в избу. Там были нары, стол у окна, на бревенчатых стенах висели капканы, силки и охотничьи ружья. Мужик-прапорщик отворил подполье, слез туда по лесенке и, светя себе шахтёрской лампой, стал сдвигать в сторону бочонки с грибами и вареньями. Наконец он освободил лаз, в который и пригласил гостей. Пришедшие полезли в дыру. Они проникли в помещение, в котором прапорщик возжёл несколько шахтёрских ламп. Расставил их на стеллажах. Стали видны пирамиды, в которых аккуратно были расставлены винтовки. На отдельном стеллаже рядами стояли пулемёты английской, немецкой, французских систем, наши отечественные «Максимы» и чешские «Шоши».

— Здесь хранится отремонтированное, почищенное и смазанное оружие, — пояснил Гришин, — патроны, снаряды и гранаты у нас в другом складе, верстах в трёх отсюда. Все, кто обслуживают оружие и охраняют его, живут тут, в лесу, в охотничьих избах, под видом охотников. Я потом покажу вам карты наших

схрон. На всякий случай. Мало ли что со мной может случиться. Вы знаете, что подпольные военные организации готовятся к восстанию в Мариинске, Тайге и в других городах и посёлках губернии. Восстанет Томск — поднимется и вся Сибирь. Из центра шифровкой мне предложено командовать силами местного сопротивления, вы, Анатолий Николаевич, названы начальником штаба. Вот, теперь вы всё знаете.

Я передам вам зашифрованные места наших явок в Томске, псевдонимы ответственных за операцию людей. С первыми тёплыми днями, Анатолий Николаевич, начинайте готовить штурмовые группы под видом томского велосипедного общества. Соответствующее удостоверение вам выправлено, у меня в Аникине хранится приготовленное для вас оборудование: велосипеды, самокаты, шлемы, краги и прочее. Местные крестьяне уже привыкли к тому, что с наступлением весны разные спортивные общества прибывают в здешние леса и состязаются тут на полянах в беге, боксе, прыжках, катании на самокатах. Правда, теперь время суровое, но всё равно никто не будет удивлён, они всех городских считают чужаками, которые во все времена занимаются всякой чепухой.

Ну, а теперь последуем мудрому предложению прапорщика Вершинина, вернёмся в избу, примем что-нибудь для сугреву...

Вершинин приготовил жаркое из мяса молодого лося, самогон у него был настоян на калине, отчего имел особенно приятный привкус.

— Христос воскрес! За нашу победу, господа! — произнёс тост Гришин.

— Воистину воскрес! За победу! — ответили дружно братья Пепеляевы... К вечеру они вернулись в Аникино, где на даче полковника Гришина

детально ознакомились с планами будущего восстания. Дата его из соображений соблюдения конспирации Алексеем Николаевичем не была оглашена. 34. Разлука ты, разлука!..

Алексей Криворученко, освободив Колю Зимнего из заточения, спросил его адрес. Коля объяснил, что живёт во второвском общежитии на углу Почтамтской улицы и Благовещенского переулка.

— Ладно! — сказал юный комиссар. — Сегодня состоится совет, и как раз в гостинице «Европа». После совета я потолкую с товарищами, куда бы тебя пристроить. Сделаем так, чтобы ты был полезен революции и чтобы у тебя было время на учёбу. Нам нужны кадры. Подожди день-другой. Решу вопрос и сам зайду к тебе, сообщу...

Совет собрался в той самой обширной комнате, где когда-то останавливался владелец гигантского здания Второв. И комиссары смотрели в то самое окно, в которое когда-то Второв увидел валявшегося на травяном откосе пьяного Федьку Салова, и потом зло над ним пошутил.

Председатель томского губернского совета Алексей Иванович Беленец сидел во главе стола. Далее — все члены совета. Здесь же был Вениамин Давыдович Вегман, редактор газеты Совета — «Знамя революции». Около тетрадки он поместил несколько остро заточенных карандашей. Он был готов запечатлеть волю партии. Его длинные волосы то и дело падали ему на глаза, и он встряхивал головой, откидывая их назад.

— Буржуи только и мечтают о том, чтобы задушить нашу власть. Если мы допустим разруху, мы действительно падём. А мы ещё продолжаем проявлять мягкотелость! Более этого терпеть нельзя. И все товарищи должны понять важность момента. Большевиками взята власть, вот и нужно эту власть употребить в должной мере! — При этих словах Беленец посмотрел на Криворученко. Тот был в новой кожаной куртке, ремни портупеи скрипели, как январский снег на тротуаре.

Лицо молодого человека исказила судорога. Он вскочил:

— Як себе этого не отношу! — воскликнул он. — Я сделал главное: конфисковал все виды частных самолётов, моторов, самокатов, я у Макушина единственные в городе аэросани забрал. Не так-то просто было найти шикарные моторы Смирнова и Вытнова. Они их спрятали у лесников, в тайге, но я нашёл. Я истребил сотни самогонных аппаратов, обыскал многие десятки подвалов. Я кручусь, как белка в колесе...

— Все мы крутимся! — отвечал Беленец, — немало зерна и прочих съестных припасов припрятано купцами в монастырях. Там можно поискать и деньги, и оружие. Контрреволюцию надо давить повсюду, где она возникает. Вообще-то это ведь божеское дело — помогать голодным детям! — сказал Беленец, открывая блокнот. — Вы начните-ка с женского монастыря. На заимке

у них огромные поля, дойные стада. Так что и зерно, и масло у них есть. Пусть подтянут пояса. Божьим слугам надо чаще поститься.

Криворученко покраснел, руки его сжали край стола с такой силой, что пальцы побелели. Вегман строчил в тетрадке, карандаши крошились. Большие напольные часы били тихо и задумчиво, они пережили трёх царей, Временное правительство, теперь им довелось отсчитывать время при Советах. Часам было всё равно. Да и что такое время? Люди условились, что оно есть, а его, может, и вовсе нет? Но у людей, как и у всех животных, есть животы, и, чтобы жить, надо эти животы время от времени наполнять.

Был конец мая, самое благодное время весны, когда Криворученко прибыл к женскому монастырю на моторе в сопровождении двух красногвардейцев, и стал требовать к себе мать игуменью.

— Хочу говорить с главной. Нет, ни в какие ваши покои и храмы не пойду. Пусть сама выйдет к должностному лицу.

Пожилая, почти восьмидесятилетняя, игуменья Анастасия Некрасова не понравилась Алексею сразу. Вышла из храма, стала на крыльце и звонко возгласила:

— Я вас слушаю, сын мой!

— Я тебе не сын! — разъярённо крикнул Криворученко. — Не нужна мне такая мать, которая жрёт хлеб с маслом и пьёт монастырское вино, в то время как сотни пролетарских детей пухнут от голода! Открывай подвалы и ледники, я реквизирую твои продукты!

Анастасия Некрасова отвечала достаточно сурово:

— Наш монастырь общежительный, ему никогда не было помощи государства. Продукты принадлежат не мне, а сестрам, которые их произвели, нашим прихожанам, которые помогали осваивать монастырскую заимку. Мы содержим

приют для одиноких женщин. Это ли не доброе дело? На поддержку сирот давали, и на прочие богоугодные дела достаточно. Но подвалы свои растворять перед тобой не стану. Чем ты лучше бандита с большой дороги, который посягает на чужое?

Криворученко вдруг вспомнил детство, убогий подвал, махры, на которых лежал он, когда у него тѣк гной из простуженного уха. Есть было нечего, Алексей тогда исхудал так, что остались кожа и кости. И непонятно было: гной-то откуда берѣтся? Из чего воспроизводится, если тела уже почти нет? Он выжил тогда. И возненавидел всех сытых. Теперь он пришѣл заступиться за пролетарских ребят, а эта ведьма смеет с ним так разговаривать!

— Вот я тебе покажу сейчас, чем я лучше бандита с большой дороги! — воскликнул Криворученко, вытаскивая из кобуры маузер. Он готов был всадить в игуменью все пули, до последней. Убить дуру — пусть поймут, что с революцией шутки плохи.

В этот момент на папёрть как бы выкатился небольшой старичок в приличной серой тройке. Из кармана жилета у старичка торчала золотая цепь от часов, в руке он держал тросточку. Старичок спустился на одну ступеньку ниже игуменьи и неприятным голосом кастрата завизжал с сильным еврейским акцентом:

— Что вы себе позволяете, молодой человек, в таком святом месте? Разве же вы — не русский? Мне это позволительно спросить, ибо зовут меня Савва Игнатьевич Канцер, и я крещѣный еврей! Но вы-то русский по крови, вы просто обязаны быть православным, а вы позволяете себе такое!..

Палец Алексея Криворученко сам собой нажал на спуск. Маленький старичок покати́лся по ступенькам в одну сторону, тросточка его покати́лась в другую, причѣм подпрыгивала на ступеньках, как живая.

— Ой-ой-ой! Убивают, господи прости и помоги! — раздался пронзительный женский визг. Криворученко пресѣк его новой пулей. Толпа зароптала. Красногвардейцы передѣрнули затворы винтовок.

— А ну-ка, мать звонарка, ударь-ка в набат! — попросила игуменья, отступая внутрь храма. Криворученко поднял маузер, выцеливая звонарку. Он не успел выстрелить. Прилетевший из толпы булыжник ударил его в затылок. Алексей поднялся было, толпа наступала, тесня его к кладбищенской стене. Булыжники полетели страшным градом, превращая его голову в кровавое месиво. Он всё же сумел ещё пару раз выстрелить. Упал и затих.

Звонарка, несмотря на преклонный возраст, быстро поднялась на колокольню Иннокентьевской церкви, заперла за собой железные двери и произвела тревожный набатный звон, который на Руси издавна означал тревогу и зов. Набат в монастыре, сумерки.

Все в Томске в тот час в домах сели ужинать после вечера. А в монастыре-то служба обычно длиннее. Только томичи поднесли ложки ко ртам — ударил набат. Что такое? Пожар, что ли? Цвела черѣмуха. Народ зашевелился, извозчики прискакали, говорят — сестры зовут. Прихожане Златомрежева собрали крестный ход. Свечи в фонаре, крест запрестольный, хоругви на древках закачались, двинулись к стенам монастыря.

Красногвардейцы, отпугивая толпу выстрелами из винтовок, вскочили в мотор, крича механику:

— Дави пипи-грушу!

Пипи-груша завопила на весь переулочек, и они умчались за подмогой. Вскоре в проулке развернулась фура с пулемётами. И застрочила, как швейная машина, свои смертельные свинцовые строчки. Толпа рассеялась: кто-то побежал на кладбище, кто-то возвратился обратно в храм.

Красногвардейцы подобрали труп Криворученко, погрузили его в мотор. Цепи вооружённых винтовками красногвардейцев окружали кладбище.

— Ни один гад не должен уйти! — кричал командир. — Всех расстреливать на месте! Без суда и следствия! Мы им покажем, как самосуд устраивать!

А в это время, слышав набат, из района красивых полей, так называемых Потаповых лужков, помчались в город самокатчики Анатолия Николаевича Пепеляева. Выступление было назначено на более поздний срок. Но ведь — набат! Именно так должны были подать сигнал к восстанию.

В томских домах уже зажглись огни, быстро темнело. Но опытный фронтовик Пепеляев быстро разобрался в создавшейся ситуации. Пулемёты самокатчиков отсекали красногвардейские цепи, и дали отступавшим прихожанам скрыться во тьме. Вязываться в бой с красными Пепеляев не стал. Надо было поберечь людей. Самокатчики растворились во тьме, словно их никогда и не было.

Криворученко через два дня был торжественно похоронен, и над его могилой трижды прогремел дружный залп. Напрасно Коля Зимний ждал Алексея в общежитии. Он слышал, что верующие забили камнями какого-то комиссара. Забили, как в Библии, камнями у стены. Но он и представить себе не мог, что это случилось с Алексеем.

Тридцатого мая он хотел пойти в Совет, в гостиницу «Европа», чтобы встретиться с Алексеем, но увидел большую толпу на базарном мосту. И побежал туда. Что-то интересное, видимо. Раздавались возгласы:

— Грузятся, грузятся! Ковры тащат, пианины! Хрусталь и серебро из гостиницы забрали. Из смирновского дворца и из прочих особняков, что подороже, тащат. А вон ещё арестантов ведут!

Пароходы «Коминтерн» и «Ермак» лениво дымили трубами, в их трюмы сгружали дорогую мебель из гостиницы «Европа», картины из томских музеев.

Командовали пароходами бывшие пленные австрийцы, вступившие в партию большевиков. Они носили длинные кайзеровские усы. На палубу парохода «Коминтерн» провели несколько арестованных. В одном из них Коля узнал священника Златомрежева. На нём были тяжёлые царские кандалы, ряса его была порвана, лицо пестрело красными и коричневыми пятнами.

Священника подвели к борту парохода, человек в военной форме стал читать приговор, и голос его далеко летел над водой:

— Белогвардейский офицер, прикрывшись рясой, творил свои подлые дела. Пролетарских детей крестил в холодной церкви, температуру воды определял локтем, а не термометром, установлено, что один ребёнок умер вскоре после крестин. Вступив в преступный сговор с религиозной фанатичкой Анастасией Некрасовой и военным бандитом, своим бывшим фронтовым командиром

Анатолием Пепеляевым, пытался поднять мятеж, расстреляв при этом комиссара товарища Криворученко, убив и ранив ещё несколько красных бойцов... За всё в совокупности приговаривается к расстрелянию!

— Господи! Я же только пошёл с крестным ходом. Пошёл потому, что миряне услышали набат и призвали меня. Кресты и лики божьи не стреляют!

Красногвардейцы подняли винтовки. Похожий на кайзера австриец покрутил ручку граммофона фирмы «Пате», и тотчас над волнами полилась мелодия аргентинского танго, которую, говорят, очень любил царь Николай Второй. Музыка на момент заглушил залп, а затем она продолжалась.

Коля с моста плюнул на палубу парохода, и крикнул гневно:

— Чтоб ты сдох, сволочь усатая!

Юноша в форме студента взял его за руку и тихо сказал:

— А вот демонстраций таких не надо! А то и тебя заодно шлёпнут господатоварищи. Они сейчас в расстроенных чувствах. Они ночью чуть не двести человек расстреляли. Одним больше, одним меньше — им всё равно. А Златомрежеву просто не повезло, не он же комиссара убил. Но где же большевикам теперь виновных искать? Чешский корпус численностью в пятьдесят тысяч человек взбунтовался и движется на Томск. Вот и бегут от нас граждане-товарищи. Почему же взбунтовался? Газеты надо читать. Их хотели через Владивосток морем отправить к союзникам во Францию, чтобы продолжить войну с немчурой. Они доехали лишь до Сибири. Здесь узнали о Брестском мире, о том, что главковерх Троцкий приказал разоружить их. Вот и взбунтовались.

Коля шёл по главной улице — Почтамтской. Было ему жаль и Алексея Криворученко, и Николая Златомрежева, оба были хорошие русские люди, добрые, хотели Коле помочь. И теперь их нет.

Улицы жили обычной жизнью, неподалёку от почты и общественного собрания, и в других местах главного томского проспекта наигрывали шарманщики.

«Чему радуются, — думалось Коле, — что за веселье?».

Он не знал, что некие штатские в музыкальном магазине Ольги Шмидт закупили накануне несколько новейших шарманок. Одетые в заношенные рубашки, в залатанные штаны и смазные сапоги, шарманщики все были ладными здоровяками. Горожане слушали их музыку, иногда кидали им мелкие деньги в кружку или в картуз. Они не знали, что по сигналу шарманки обитатели некоторых томских квартир надевают и застёгивают офицерские мундиры, застёгивают ремни, портупеи, заряжают револьверы.

Коля дошёл до Дома Свободы. Возле оборванного шарманщика столпились солдаты с красными лентами на картузах:

— Поиграй про любовь чего-нибудь! Поверни-ка там внутри барабан, чтобы, значит, не марш, а такое что-то!..

Шарманщик поколдовал над шарманкой, и она заиграла печально и залиристо: — Разлука ты, разлука, Чужая сторона, Никто нас не разлучит, Ни солнце, ни луна.

Привлечённые пронзительной мелодией песни, толпу пополняли всё новые красногвардейцы. И вдруг из шарманки застрочил английский пулемёт «Льюис».

Дробно отозвались пулемёты на Почтамтской, возле лютеранской кирхи, и в городском саду. Коля Зимний отступил за деревья. Он видел из-за веток, как цепи военных в погонах окружают Дом Свободы, как взрываются гранаты и падают люди.

35. Рази и побеждай!

Мальчишки-газетчики, звонкоголосые копеечные глашатаи быстротекущей истории, опять вопили изо всех сил:

— Красные ушли на пароходах в Нарым, и далее— в Тюмень! Читайте правдивую газету «Сибирская жизнь»! Чешские военные победоносно движутся по Сибири, освобождая её от красной заразы. Большевики в панике. Города падают один за другим. Чехи скоро будут в Томске...».

Первого июня тысяча девятьсот восемнадцатого года в Томск вошёл показательный сводный полк чешского корпуса. Командир корпуса Рудольф Гайда не мог, конечно, ввести в город всю свою армию. Поэтому он решил показать губернскому центру лучшее, что у него было. Впереди на белом коне скакал сам Гайда. За ним в нескольких моторах ехали со знамёнами корпуса старшие офицеры. Затем катили самокатчики со знамёнами полков и батальонов. На рысях, на великолепных буланых лошадках скакала кавалерия, за ней специальные артиллерийские кони-битюги — большой тягловой силы, и приученные не бояться пушечных залпов, — тянули за собой тяжёлые мортиры и гаубицы.

Сияло солнце. На колокольне собора звонили во все колокола. Священники вышли в праздничных ризах, высоко вздымая хоругви. На площади у Троицкого собора на фоне деревьев городского сада стояла трибуна, украшенная еловыми и кедровыми ветвями. На ней разместились лучшие люди Томска. Внизу выстроились роты сибирских стрелков. Когда чешские ряды вышли к площади, стоявшие на трибуне стали просить Потанина сказать слово. Он отказывался. Колебался. Освобождение? Да! Но было что-то неестественное в форме чешских легионеров, чуждой русскому глазу. Какие странные времена! Какие катаклизмы!

— Просим! Просим!— раздалось из толпы. Потанин медлил, смущённо протирая очёчки, всё же решился, поднял руку, и обратился к собравшимся:

— Мы в Сибири сегодня закладываем основу основ. Никаких более диктатур! Мы желаем, чтобы законы творил сам народ. Пусть общество будет превыше всего! И кто нам искренне станет помогать в этом, тех я приветствую!

Обратился он к своим, но вроде бы и — к чехам? Тем-то до Сибири — какое дело? До России? Потанин почувствовал ледышку в сердце. Она росла, прерывала дыхание. Знаменитого старца осторожно свели с трибуны.

К Гайде подъехал в изящном фаэтоне полковник Гришин. Он был в гусарском ментике, в расшитых гусарских штанах. Встав на подножку фаэтона, вскинув руку к козырьку, Гришин прокричал:

— Господин начальник чешского корпуса! Позвольте поприветствовать вас от имени созданной мной сибирской освободительной армии! Мы соединим наши усилия в создании подлинно свободной Сибири. В этом я, полковник Гришин-Алмазов, клянусь перед святым собором, перед всеми томичами и перед нашими замечательными союзниками. Мы победим, ура!

По площади прокатилось ура. Чехи его кричали с сильнейшим акцентом. Братья Пепеляевы, стоявшие неподалёку, переглянулись. Анатолий Николаевич тихо сказал Виктору:

— То, что он добавил к своей простой фамилии и другую, более красивую, это его дело. Но для чего рядиться гусаром? Не пойму. Гусары — это всё же — вчерашний день. Да и вообще по военному образованию он — артиллерист. А в этого сибирского Наполеона Гайду я и вовсе не верю. Он — не сибиряк, и не русак.

Одетый во фрак Василий Петрович Вытнов, член академии Христофора Колумба в Марселе, знаменитый винодел, в этот момент преподнёс Рудольфу Гайде палаш дамасской стали с золотым эфесом, серебряной цепью и гербом Томска. На лезвии была выгравирована надпись: «Рази и побеждай!». Томский винный король, разумеется, хотел, чтобы сей великолепный чех разил и побеждал тех самых комиссаров, которые чуть не заставили Василия Петровича добывать уголь в шахте. А это не такая уж завидная доля для человека, который завоёвывал золотые медали на парижских выставках.

По-разному на Гайду смотрели томичи. Студенты и профессора в бело-зелёных кепи были сторонниками автономии Сибири. Как славно бы стать Томску столицей под бело-зелёным стягом! Но этот чех — всё же не Чехов. И даже не Гришин-Алмазов, и не Пепеляев. Что он потребует за свои услуги, когда большевики будут окончательно побеждены? Подумать только! Он уже именуется генералом, хотя совсем недавно был просто подпоручиком! Вошёл в какой-то совет военнопленных, поднял их на бунт, вот и — пожалуйста! Сибирский Наполеон!

На вид он не был великаном, хотя и не был карликом. Он не был красавцем, хотя и не был уродом. И все чехи выглядели как-то усреднённо. Среди русских много и белокурых выходцев из северных областей, немало и южан-брюнетов, были и с монголкой в глазах, с раскосинкой. Татаро-монгольское иго сказалося. Да и вообще — люди, заселившие гигантскую территорию, не могут выглядеть одинаково. А чехи — могут. Всё больше серые какие-то, шатены с бесцветными глазами, с округлыми лицами, на вид добродушные, но, как оказалось, и суровости в них достаточно.

Через день томские газеты сообщали, что Анатолий Пепеляев с Рудольфом Гайдой формируют в Томске сибирскую армию, в которую вошла подготовленная Анатолием Николаевичем первая штурмовая бригада. Утверждено знамя армии. Бело-зелёное, с золотой каймой и с золотым крестом в центре.

36. Двадцать люлек на верёвках

Город убирал с улиц трупы. А ниже по течению Томи у загородной пристани под названием Черемошники вылавливали трупы расстрелянных большевиками людей. Выловили и Златомрежева. Начальник следственной команды изумился:

— Смотрите, священник, в рясе, с крестом!..

После опрошены были свидетели казни, составлены протоколы. Убитого священника погребли в ограде Богородице-Алексеевского монастыря, и через неделю на том месте стоял уже массивный крест, и плита лежала, гранитная, с выбитой церковнославянской вязью на ней.

Здесь привычно сгрудилась нищая братия, старицы и старики, и всякогогорода оборванцы, встречая каждого входящего разнообразными жестами и возгласами, смысл которых был один.

Коля Зимний стоял возле надгробия, у подножия которого разместился Федька Салов со своими костылями и Георгиевскими крестами. Федька раскачивался от скуки, повторяя нараспев занудливо и равнодушно:

— Он меня благословил! Век буду за него Бога молить. Да сгинут аспиды в геенне огненной...

Салов оброс бородой сверх меры, и глаза запали от тоски, подневольности и постоянных попыток успокоения мятежной души низкопробной табачной брагой.

Коля почувствовал чью-то руку на плече. Обернулся. Увидел Фаддея Герасимовича:

— Праведники да утешатся на небеси, а нам, грешным, надо за них молиться. Я так и думал, что возле этой церкви тебя встречу.

— Здравствуйте, Фаддей Герасимович, я рад! Значит, не солгал Криворученко, действительно освободил вас. Обещал я помочь купить вам корову, помню, только к купцу за деньгами не ходил. Такая нынче круговерть.

Хромой старик взял его под руку, отвёл от церкви в сторонку, сказал вполголоса:

— Мамка твоя на мой двор объявилась. Плакала и умоляла сказать ей, что с подкинутым ею младенчиком стало.

— Где она? — бледнея, воскликнул Коля.

— Не волнуйся ты так. Живёт она на Войлочной заимке, у Бабинцева. Не отпускают её. Вроде, отступного просят, много потратились на неё...

Коля потупился:

— Непонятно всё это. Я думал, что я сын офицера, даже, может, дворянина... вы говорили, как нашли меня: пелёнки на мне были дорогие, кружевные, да кольцо золотое к пальцу ниточкой привязано...

— Истинно так! Да ведь мамка твоя и вправду с офицером тебя нажила. Да только уехал он. Свой животик растущий она как-то утаила от всех на заимке, где вроде бы сердце тайгой лечила. Там тебя и родила, да к нам и подбросила. Потом выдали её замуж. А родичи жениха все — люди старого закона. После брачной ночи положено женскую рубаху на крыльцо вывешивать. Вывесили — ни одного красного пятнышка. Тут твою мамку и выгнали с позором. Пошла она топиться. А один жульман нырнул да и вытащил Анну Петровну, бедняжечку.

Теперь у Бабинцева в услужении. И выпивать велют, и волю их исполнять. Где, говорит, мой сыночек, пусть придёт, пусть спасёт...

Коля опять вспомнил, как он ходил к купцу Туглакову за деньгами. И тот сказал, что — да, действительно, обменял Колины царские деньги на Керенские по курсу. И вручил Зимнему два тяжёлых рулона.

— Во! — сказал Туглаков, — новые! Чуешь, как краской пахнут? Ещё даже неразрезанные. Сам будешь отрезать по надобности твоей.

— Да ходят ли эти деньги? — засомневался тогда Коля. — Почему сменяли не на золото, как говорили?

— Золото народ спрятал. А деньги... Не сомневайся, керенки — самые последние деньги, которые властями выпущены, стало быть, ходят. Иди, трать поскорей. Время дикое.

Коля тут же отнёс один рулон керенок Фаддею Герасимовичу, чтобы старик купил себе корову. И попросил старика, чтобы тот отвёл его на Войлочную заимку к матери, Анне Петровне.

На заимке их встретили лаем огромные лохматые собаки. Некоторые лаяли из подворотен, а иные — с крыш небольших избушек. Немало собак бегало и по улице. Фаддей Герасимович хотел было подобрать палку побольше размером, но Коля воспротивился: — Что вы! Это ещё хуже! Сожрут вместе с палкой.

— Где здесь дом Бабинцева? — спросил Фаддей Герасимович старушку, сидевшую на лавочке.

— Бабинцева? — переспросила старушка. Сунула в рот два пальца и оглушительно свистнула. Тотчас появились два паренёк в кепках набекрень, так что один глаз был закрыт кепкой, а второй едва выглядывал из чёлки. Оба они сплюнули сквозь щели зубные — так, что слюна длинной струйкой почти долетела до пришлых. Парнишки, поплёвывая, напевали жалобную песню:

Течёт речка вдаль, в урман,
Моет золотишку,
А молоденький жульман
Заработал вышку.
А молоденький жульман
Заработал вышку!

— Вам чего тут надо, фраера задрипанные? — спросил один паренёк. Вторым достал из кармана финский ножик и стал пробовать остриё на ногте.

— Я маму, Анну Петровну, видеть хочу, а она, как мне сказали, в доме Бабинцева живёт, — вежливо сказал Коля.

— Мама твоя бикса*, в карты заиграна, а Бабинцев с тебя лапши настрогает!

— Зря вы так. Я маме деньги принёс! — сказал Коля. — Вот, полный чемодан.

— Деньги? — оживился первый паренёк, и вынул из кармана финку. — Полный чемодан? Ну это нам подфартило...

Оба паренёк зашли так, чтобы отрезать пути отхода Коле и Фаддею Герасимовичу.

В этот момент вышел из ограды не кто иной, как Аркашка Папафилов.

— Здравствуй Аркадий! — поспешил поздороваться Коля. — Помоги ты мне с мамкой повидаться. А то тут парнишки какие-то с ножами...

Аркашка сказал парнишкам, чтобы сгинули. Они послушно ушли. Он подошёл ближе и сказал:

— Чудак ты, Коля, разве можно лезть в пасть прямо к удаву?

— Но мама сама меня искала, к моему уютскому дядьке приходила. Хочет, чтобы я её забрал, вдвоём бы зажали. У меня теперь деньги есть...

— Деньги? — встрепнулся Аркашка. — Откуда? И ты сказал этим парнишкам про это? Сколько у тебя?

Коля рассказал про Туглакова, про керенки...

— Уф-ф! — надул щёки Аркадий. — Отлегло! Айда в мою хазу.**

Он зашагал к калитке, жестом пригашая следовать за ним. Коля последовал не без робости, но не верилось, что Аркашка, знакомый ему с детства, способен на что-то страшное, ну, шkodник он был, верно, но не более того. И мать видеть очень хотелось.

Они вошли в усадьбу, густо заросшую тополями, ветлой, боярышником, калиной, даже домов за ветвями было не видеть. В глубине усадьбы виднелся рубленый из огромных брёвен обширный одноэтажный дом. По обеим сторонам крыльца были устроены собачьи будки, такие, что могли бы служить жильём и человеку. Из будок выглядывали громадные цыганские волкодавы.

* Бикса — общеворовская женщина. ** Хаза — воровское жилище.

Аркашка шепнул:

— Не дай бог кому бы то ни было подойти близко к такой собачке. Их Бабинцев со щенячьего возраста обучает носы людям откусывать. Как? Просто. Помощник играет роль чужого. Надевает маску, входит в ворота. Металлическая маска покрашена под цвет человеческой кожи, а спереди — вместо носа — гусиная лытка. После такой выучки они любому незнакомцу нос откусят в момент. Ясно? Но мы в дом Бабинцева не пойдём. Сначала в мою хавиру* заглянем, я тебе кое-что покажу, а уж потом пойдём и к мамке твоей, Анне Петровне.

Подошли к малой избушке, Аркашка сунул руку под крыльцо, что-то там дёрнул, и дверь сама собой отворилась.

— Секрет! — подмигнул Аркашка. — Вообще замков не держим, вор у вора не крадёт, а чужие люди здесь не ходят.

В Аркашкиной избе, кроме топчана и пары табуреток, ничего не было — ни стола, ни шкафа, ни комода. Коля взглянул на стены и потолок — и вздрогнул: всё вокруг было обклеено рулонами керенок.

— Усёк? — повернулся к нему Аркашка. Обои получаются хорошие. Ни на что иное эти деньги теперь не годны.

— Но почему? — упавшим голосом спросил Коля.

— Не принимают. И деньги директории не принимают. Только золото берут, да ещё царские. Сейчас в Омске правитель объявился, Колчак, так он тоже деньги стал печатать, но их в Томске пока мало. Их брать народ тоже не рискует. Так что не на что тебе мамку выкупать из плена.

— Так она вправду заиграна? Неужто в карты играет?

— Ещё как, здесь и научилась. Ну, айда!

Аркашка захлопнул дверь. И сказал Коле, сперва оглядевшись по сторонам:

— Ты, видно, удивлён, что у меня на хазе ничего нет? Тут у нас дела пошли хилые. Раньше ворами дядя Вася правил, так все законы соблюдали. Но дядю Васю нашли в Ушайке с пером** в боку. И как-то так вышло, что всем стал править Цусима. Жизни не стало. Я на бану*** дежурю, жизнью рискую, а Цусима у меня тут же добычу отбирает. Цусима на что глаз положит, то и отдай ему, хоть картину, хоть икону, хоть ложки серебряные. Если добуду слам**** — всё себе забирает! Вот и трудись тут зря. Я, конечно, тырю по разным углам в Томске, что только

могу. Да что это за жизнь? Ходи да оглядывайся. Надоело! Надо самому деньгу заиметь, и свою банду создать...

Они продирались через непроходимые заросли. Под ногами чвакали болотные кочки. И гнилью, и свежестью одновременно пахли здешние огромные лопухи. Растения-зонтики. Высоченная крапива. Заросли конопли. Хвощи, которые казались лапами спрутов, скользкие, усаженные жгутиками, присосками, обвивали лодыжки, не пускали... Неожиданно взору открылось продолговатое приземистое строение.

— Вальня, — сказал Аркашка. — Для отмазки***** в сених войлок лежит и бутылки с кислотой стоят. А дальше, в хороминах, — уют детский, и твоя мамка к малышне приставлена. Растит... Кого? Да воров будущих, карманников записных, кого же ещё?

— Нет, — сказал Коля, — не может быть!

— Может!— отвечал Аркадий, отворяя пинком дверь— Ещё как может! — повторил он, и тотчас раздался громкий детский плач.

* Хавира — то же, что и хаза.

** Перо — финский или другой нож.

*** На бану — на вокзале.

**** Слам — золото

***** Отмазка— конспирация.

— Тише, охламоны, дитят мне перебудили!— со скамьи навстречу пришельцам поднялась женщина. Дорогое шёлковое платье на ней висело, как на вешалке, оно было явно размера на два больше, чем нужно. Пальцы женщины были унизаны серебряными и золотыми перстнями, лицо было бы красивым, если бы не запавшие глаза и не преждевременные морщины на лбу. С барским шёлковым платьем никак не гармонировали стоптанные старые пимы, заправленные в калоши.

— Ну вот, это — Анна Петровна, мамочка ваша ненаглядная, — изобразил Аркашка мушкетёрский поклон.

Николай стоял, не зная, что сказать. Женщина вглядывалась в него — минуту, другую... потом кинулась к нему, прижала его к груди, слёзы её обожгли его руки.

— Мама! Что же это? — только и сказал он, глядя на убогую обстановку длинного помещения. Десятка два корзин-люлек были закреплены на верёвках, свисавших с потолка. В люльках лежали младенцы, у каждого была забинтована левая ручка.

— Пальцы на левой руке у каждого вырастут такими длинными, что в любой глубокий карман можно будет залезть без труда! — пояснил Аркашка.

— Но чьи это дети? — спросил Фаддей Герасимович.

— Дети всего человечества! — гордо ответил Аркашка. — Так учил нас отвечать покойный дядя Вася, царствие ему вечное в небесном шалмане.* Цусима сказал, что построит на дяди-Васиной могиле крест высотой аж до самого неба.

Уже привезли штук пять длиннейших кедров, сучки обрубил, ошкуривают да сушат. Тут такие дела, а ты заладил — чьи дети, чьи дети!

— Но у них должны быть родители! — не унимался Фаддей Герасимович.

— Брось, камрад! — отвечал Аркашка. — Чем меньше знаешь, тем дольше живёшь. Младенчиков у нас воруют специальные люди. Среди них и твоя ма-ушка.

— Мама, — сказал Коля, — с деньгами меня купец обманул. Но я буду работать, я достану денег, я выкуплю тебя у Бабинцева, или у кого там ещё? У Цусимы? Мы будем жить вместе, ты станешь иной.

Анна Петровна упала на колени:

— Прости, сынок! Я надеялась, я хотела... хоть одним глазком на тебя посмотреть... А выкупать меня? Поздно. Я без кокаина жить не мыслю. Лучше уйди, не рви мне душу. Обещай потом ко мне на могилку приходить. Нет, не часто, только в родительский день... Да не говори ты мне про долгую жизнь, просто обещай — и всё. Прости... Я не знаю, где теперь твой отец, офицер, жив ли... Ты, прости, да иди! Голову ломит...

Они вышли на воздух. Аркадий тихо сказал:

— Её это болото так засосало — не вытянешь. И к младенцам, которых вырастила, привязалась она. Какого пола? Есть мальчишки, есть и девчонки, хотя их и меньше. Но если девчонка-карманница — это первый класс. А нам надо смыться отсюда поскорее, пока на Цусиму не напоролись. Айда-айда! Вон Федька с работы шкандыляет, захватим и его с собой.

Идём сейчас к этому ироду, Туглакову, и затолкаем ему керенки в жирный зад! Небось раскошелится!

*Шалман — сборище воров

37. Прощай, прощаль!

Жена Степана Туглакова Евдокия Фёдоровна рвала волосы и выла, когда в их доме появились люди с улицы Миллионной, из штаба Союза русского народа, чей лозунг «За веру, царя и Отечество». Царя-то, говорят, уже нет, а общество осталось. И вот солдат — не солдат, но человек с ружьём, в богатой бобровой шапке, в новых сапогах, в суконных галошах, предъявил Степану мандат, в котором было сказано:

«Срочно! Совершенно секретно! Во имя спасения России и русского народа нужно срочно сплотиться и собрать средства для борьбы. Как нам известно, в доме у Степана Туглакова находится картина знаменитого ныне на Западе художника, футуриста Кармина. В интересах борьбы за дело русского народа предлагаю упомянутую картину у Туглакова изъять. И тайно переправить со специальными экспедиторами в Петроград по отдельно указанному мной адресу.

Манасевич-Мануйлов».

Туглаков прочитал мандат. И строго сказал:

— Я большие деньги отдал за картину «Прощаль», и ваш Манасевич-Мануйлов мне не указ. У меня сын Савелий в битвах за русский народ погиб, слышите

— баба моя ревмя ревет. Из Омска написали, что сейчас все похоронные команды на оборону города кинуты. Некому Савелия родителям доставить. По нынешним временам это непросто. Вот вы и помогли бы мне в этом — я ведь тоже русский человек.

Человек в полувоенной форме и в собольей шапке скомандовал своим бородачам:

— Обыскать всё, найти картину!

— Стрелять буду! — взъярился Туглаков, раскрывая шкатулку, в которой у него хранился револьвер. Но бородачи тотчас наставили на него свои револьверы. Евдокия Фёдоровна от обиды взвыла ещё громче. Союзнародцы картину увидели сразу же в новом просторном зале, который Туглаков построил специально для обзора этого громадного полотна. От красных картину в сарае уберёт, а от этих не спасся, выставил напоказ. Вот тебе, бабушка, и юрьев день! Ай-ай-ай!..

Ярость в его душе ещё кипела, когда в дом вошли новые посетители: Федька Сомов на костылях, Аркашка в форме мотоциклиста, Фаддей Герасимович в старом солдатском мундире без погон, и Коля Зимний в хорошем костюме.

Аркашка принялся кричать:

— Как смели вы обмануть юношу, сироту, всучив ему никуда не годные керенки, дав труху вместо денег! Давайте другие деньги, иначе мы вызовем полицию! — при этих словах Аркашка картинно принял позу сеятеля и начал посыпать полы керенками.

Оглушённый несчастьями, валившимися на него одно за другим, Туглаков не гневался, сил не хватило. Он только сказал:

— Парень! Не вопи ты так. У нас сына Савелия убило. Лежит в Омске, а вывозить тело некому. Я дела бросить в такое время никак не могу, а баба разве это сумеет? Вы втроем подрядились бы, съездили. Я тебя, Папафилов, знаю, ты шустрый.

— А сколько дашь? И опять же керенками платить будете?

После этих слов Евдокия Фёдоровна вскочила с залитого её слезами кресла:

— Какими керенками? Во, возьмите! И это, и это! — она срывала с себя золотые серьги и кольца. — Продадите по дороге. Вернётесь, привезёте сынка — ещё дам столько же. Стёпушка! Дай царских тысяч двадцать, чтобы в вагоне-холодильнике место было для Савелюшки. Дай им и на проезд туда и обратно. Только не обманите мать! Вот этого юношу я знаю, сколько раз во второвском пассаже у него туфли примеряла, скромный такой!

— Вот по знакомству-то вы его и обманули! — не удержался от упрёка Аркадий.

— Да не обманули! Кто ж его знал, что керенки ходить, перестанут? Вы мне Савелия привезите, я Коле всё возмещу теми деньгами, которые будут в ходу. Клянусь! — воскликнул Туглаков. На улице Аркадий сказал:

— Отлично всё устроилось. И мне, да и Федьке надоело на Цусиму горб гнуть. Прокатимся. И Коля с нами. А Фаддей Герасимович пусть ждёт. Когда мы Савелия доставим, Туглаков рассчитается — вот тут и будет Фаддею Герасимовичу корова.

Кривыми улочками они вышли к Обрубу, перешли Каменный мост; около моста стоял дом Банникова, глядящий окнами и на мост, и на Ушайку. В доме размещался трактир «Эрмитаж». Вдруг раздался треск, звон, в одно из трактирных окон выскочил рыжий еврей в чёрном лапсердаке, в сапогах с высокими голенищами и лакированном картузе, и завопил:

— Караул! Грабят! Аркашка оживился:

— Айда! Поможем!

— Зачем связываться? — сказал Коля. — Нас не касается.

— Не скажи, в таком деле всегда поживиться можно! — крикнул Аркашка и побежал за рыжим. Из трактира выскочил плотный господин в котелке, вытянул вперёд руку с револьвером и выстрелил пять раз подряд:

— Ложись! Ложись, мать вашу, дырок наделаю! Аркашка остановился, рыжий присел:

— Ой, я ранетый!

Рыжий потрогал свой зад, поднял руку, растопырил пальцы, дрожащими губами лепетал:

— Ой, мокро, ой, я ранетый.

Тут подбежал к ним плотный господин и крикнул:

— Все которые прохожие, ко мне! Вяжите этого типа, и в свидетели пойдёте! Я следователь по особо важным делам, фамилия моя Соколов. Беру Юровского Якова, царевубийцу...

— Ну влипли! — сказал Аркашка. — Прямо сказать, дивно вляпались. — И поспешил успокоить следователя: Это же не Яков Юровский, это же — Элия.

— Как Элия? — воскликнул Соколов. — Вот у меня его фотопортрет. Это есть государственный преступник, царевубийца, Яков Юровский.

— Нет, я есть — Элия! — ныл обвонявшийся ювелир. — Янкель — да, я похож на Янкеля, ведь мы родные братья, но почему я должен отвечать за него, если я его уже столько лет не видел?

— В участок, в участок! — шумела толпа. — Там разберут. Волей-неволей пришлось Коле, Аркашке и Фаддею Герасимовичу идти в участок, свидетелями. Туда же по требованию Соколова был доставлен раввин хоральной синагоги Моисей Певзнер. Соколов ему сказал строго:

— Ну, говори, как перед своим еврейским богом, это сидит на лавке — кто?

— Говорю как перед богом, совершенно ответственно заявляю, что это ювелир Элия Юровский... А что до Якова, то если он и бывал в синагоге, то не при мне, а при прежнем раввине Бер-Левине. Я вам скажу, из этого Бер-Левина такой же раввин, как из моей мамы — папа Римский! Так вот, Яков потом ездил в Германию, и там принял лютеранство. А это такая гадость, что сто раз тьфу! А сейчас Яшка в Екатеринбурге стал атеистом. А это уже такая гадость, что сотни тысяч раз тьфу-тьфу!

— Ты много болтаешь. Ты мне поклянись, что это на лавке сидит не Яков, вот же портрет, как две капли воды...

— Да они братья, потому похожи. Но здесь на лавке сидит Элия. Он мой прихожанин, мне ли не знать! Но вы же всегда имеете прекрасную возможность

вызвать сюда маму Юровских, она их рожала, она и может вам ответственно заявить, что здесь находится её Элия и никто другой.

— Всех свидетелей задержать до конца расследования! — приказал Соколов подбежавшим на выстрелы городовым. Соколов уже давно разыскивал в Томске следы цареубийцы, и теперь ему показалось, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Вот именно — с мёртвой. Смертельное дело-то.

Аркашка заблажил, взмолился:

— Ваше благородие! Мы должны ехать в Омск, там лежит в леднике труп погибшего геройского юнкера. Барыня-купчиха нас туда отправляет. Нам никак нельзя сегодня здесь задерживаться. Вы хоть барыню спросите...

— Ладно! — сказал Соколов. — Пусть старик сходит за этой барыней. А пока остальных приказываю запереть вместе с Элией.

— Фаддей Герасимович! — крикнул Аркашка. — Пусть барыня бежит сюда быстрее ветра, если хочет, чтобы мы сегодня же отправились за её покойником Савелием!

И получаса не прошло, а возле участка остановилась сверкающая лаком коляска, запряжённая двумя орловскими рысаками. Евдокия Фёдоровна тотчас направилась к следователю. Потихоньку подталкивая к следовательской папке пятисотрублёвую купюру с изображённым на ней императором Петром Первым, она плачущим голосом вещала:

— Мой Савелий, мой мальчик, погиб, его убили красные изверги. А ему всего восемнадцать лет было. Он хоть купецкого рода, но решил стать офицером, чтобы отдать жизнь борьбе с красными бандитами, вы понимаете... А этот молодой человек, Аркаша Папафилов, не имеет никакого отношения к Юровским. Он православный, русский. Он взялся с другом, ветераном русско-германской войны, доставить мне тело покойного сына. Поймите материнское сердце...

Пока она всё это говорила, пятисотрублёвый Пётр Первый тихонько полз к следовательской папке, одним краем углубился в неё. Следователь подтолкнул его холёным пальцем, и Пётр Первый исчез в папке, успев укоризненно глянуть одним глазом на оскоромившегося чиновника.

— Барыня, — сказал Аркашка, — вот ещё Коля Зимний, сын офицера, он хочет в юнкерское училище поступать, он освоит военную науку и отомстит краснопузым за бедного Савелия...

Соколов проверил документы у Коли и Аркадия, и Федыки Салова, и отпустил их с барыней.

Через полчаса они ехали в туглаковском ландо в сторону вокзала. В предвкушении приключений приятной жизни смеялся Аркашка, с улыбкой ехал и герой войны Федыка Салов, и его кресты и медали звенели у него на широкой груди. Если в начале его сидения возле храма на его груди был всего один Георгиевский крест, то теперь он стал кавалером трёх Георгиевских крестов, да ещё имел несколько медалей. Все эти знаки отличия ему привесил Аркашка, справедливо полагая, что выручка от этого сильно возрастет. Ремнями к бедру у Федыки пристёгнута деревянная нога, а в руке костыль — для помощи в ходьбе. Рядом с ним и Аркадием пригорюнившись сидел Коля Зимний. Не такой ему рисовалась встреча с родной матушкой. Он долгие годы мечтал об этой встрече. И что же? Ему было

жаль мать, себя, и всех на свете людей. Ну почему, почему большинство людей несчастливо? Кто это так устраивает? Или оно само так устраивается?

Они поспели как раз к отправлению поезда. Разместились в господском вагоне. И когда поезд тронулся, Туглачиха помахала им своим надушенным платочком. И перрон вместе с ней пробежал в противоположную сторону и скрылся. Поезд мгновенно окунулся в тёплую ночь, и в свете луны было не понять — то ли в ложбинах стелется дым паровоза, то ли туман.

А в ночном Томске, в здании охраны, светилось окно на втором этаже. В маленькой комнате сидел за письменным столом следователь Соколов, расстегнув сюртук и закулив сигару, писал донесение. Теперь он имел уже результаты, позволявшие писать донесение. В его душе воцарился покой и порядок. Расследование идёт своим чередом, документы копятся. Он не зря ест хлеб. Он разоблачит цареубийц, и его имя навсегда будет вписано золотыми буквами в историю России.

Перо бежало по бумаге и выводило аккуратные строки: «За две недели мной выслежено и арестовано 80 дезертиров. Проведены важнейшие акции:

А) открыт, выслежен и арестован по требованию контрразведки при ставке верховного правителя брат непосредственного физического убийцы государя императора и его семьи Якова Юровского Илья Юровский;

Б) ликвидированы эсеровские организации в г. Томске. Арестованы Пятницкий, Петрова, Аржанников, и др. Дознание и дальнейшие аресты производятся;

В) по городу Томску арестовано 180 человек по подозрению в подготовке большевистского мятежа... После более обстоятельных допросов арестованные будут этапированы в Омск для дальнейшего расследования».

38. Король поэтов и другие

Пока следователь писал, пока чернила высыхали на бумаге, во всей огромной России происходили самые различные, порой значительные, а порой пустяковые события. Впрочем, что такое — пустяк? Кто-то просто в вагонное окно смотрит. Вот один поручик округу разглядывает в трофейный цей-совский немецкий бинокль. Но и в такой бинокль не разглядишь никаких подробностей странной российской жизни, её и вблизи не поймёшь, а издали — тем более.

Тем временем поезд, пробирающийся через бескрайние Барабинские степи, несёт Колю Зимнего и его спутников в неведомые дали, сквозь неведомый простор. Пожухлая трава усыпана снежной крупой, берёзки потеряли листву, словно застыдились чего-то. Давно уже над этой степью живыми стрелками, указывающими своими остриями на юг, пролетели журавли.

Всякий, кто имеет крылья, улетает от зимы и бескормицы. У-у! Как воеет ледяной ветер в поблекших, безжизненных просторах. Именно в этих краях родилась надрывающая душу песня про замерзающего в глухой степи ямщика. Обо всех-то он позаботился. Отведи коней родному батюшке, передай поклон родной матушке. Ишь ты! Коней так — батюшке, а матушке — просто поклончик. Ну а жене велит сказать слово прощальное и передать кольцо обручальное. Пусть не печалится, а возьмёт кольцо и обручается. Дело, дескать, житейское, раз так

получилось, так давайте действовать рационально. Тоска всё же! Не сдавался бы так заранее. Не рассуждал бы, может, и выкарабкался бы как-нибудь.

Нынче в поезде не замёрзнешь. Слава богу, проводники натопили. Уголь по дороге из вагонов-углярок воруют. Россия не обеднеет. Шалишь! И грабили её не раз, и убивали, а она, как Ванька-встанька, вновь всякий раз поднималась. Что ей — ведро угля!

Коля Зимний читает газету, а одним глазом с ужасом смотрит, как его товарищи — Аркашка да Федька — пьют водку. Четверть распочали. Можно, конечно, пить по-разному. Купить махонький такой пузырьёк. В народе мерзавчиком зовётся. А почему? Ты им не напьёшься, только языком по небу водку размажешь. И передёрнет тебя от сивушного запаха. Ну как — не мерзавчик? Он и есть. Другое дело — чекушка. Это уже почти полтора стакана водки. Но это если пить одному, то одной и не хватит. Поллитра — серьёзная вещь. Но — не очень надёжно. Только в охоту войдёшь, буфет закроют, и тогда — хоть матушку-репку пой. А вот четверть — это солидно. Стоит она на вагонном столике — душа радуется. Нацедили по полстаканка, выпили, а вроде бы в бутылки и не убыло. Спокойно можно пить. Без оглядки. Четверть — серьёзный сосуд. Правда, и цена ей по нынешним временам — серьёзная.

На закуску мужики в буфете шоколаду закупили, на какой-то остановке у бабок ведро солёных огурцов оторвали, три горбушки ржаного хлеба, несколько пластов розового сала. На большее у них фантазии не хватило. Но всё равно много денег уже истратили из тех, что купчиха на проезд дала. Этак дело пойдёт, за какие шиши обратно поедут? Да ведь надо ещё и покойника в специальный вагон определять, и за это особая плата полагается. Немалая плата, видимо. Но они наслаждаются свободой, покоем, вагонной качкой. Словно мама их в люльке качает. Да и то сказать — не старые ещё. Много впереди. В таком возрасте и беда не беда, и семь бед — один ответ. А на всякий непредвиденный случай Аркашка захватил с собой в дорогу алый чемоданный футляр. На обратном пути можно будет немножко и подработать своим законным чемоданным ремеслом, если денег не хватит.

Табачный дым, запах сивухи, бряцанье баклажки, смех. Аркашка Папа-филов вместе с Федькой закусывали водку огромными ломтями сала.

— Лопай, Салов, сало! — балагурил Аркашка.

— Николай Иванович, откушайте сальца! — пригласил Федька Колю. — Не погребуйте, ведь вместе в психичке страдали.

Коля сделал вид, что спит. Переживания последних дней совершенно измучили его. Он думал, мысленно оглядывался назад, пытался заглядывать в будущее, но оно было таким неясным. Хотелось верить.

Утром пошли в вагон-буфет, но оказалось, что денег почти не осталось.

— Подождите! Я вас одной тарелкой макарон всех накормлю, — шепнул приятелям Аркашка. Рассчитавшись с буфетчиком, Аркашка поставил тарелку с макаронами на столик, за которым уже сидели толстый господин и симпатичная дама. Аркашка взял одну макаронину и сунул её себе в нос, при этом он так швыркнул носом, что макаронина проскользнула через нос к нему в рот. Даму и господина стошнило, они поспешно удалились из буфета. Аркадий придвинул к

себе бутылки с дорогим вином, тарелки с колбасами, икрой и фруктами, поманил пальцем друзей:

— Садитесь, лопайте, они теперь не скоро вернуться, скорее всего, что вообще больше сюда не придут. Ишь, брезгливые какие!

— Ну тебя к чёрту! — сказал Коля. — Ещё влипнешь с тобой в историю! Коля ушёл, а Федька Салов присоединился к Аркашке.

Странности прошедшего лета и осени клубились снеговыми тучами за окном. Вагон протопили плохо, даже на верхней полке было холодно. Впервые Николай уехал из родного города. До Новониколаевска за окошком мелькала тайга, похожая на томскую, а после начались бесконечные степные просторы в снежных вихрях, унылый, однообразный пейзаж. Только ветер свистел в проводах, да паровоз покрякивал дурным голосом, и на поворотах рассыпал по округе горячие искры. Иногда на откосах можно было видеть надпись:

«ЗАКРОЙ ПОДДУВАЛО!»

— Закрой поддувало! — закричал Аркашка на Федьку Салова. — Эдак ты один всё сало сожрёшь. Знай, молотит...

В это самое время в Омске, в хорошем большом доме, Александр Васильевич Колчак думу думает. Вокруг него — нерусские генералы, тоже думают. Заботятся. Хотя, по правде говоря, на кой хрен нам ихняя вся забота? Ну да, им большевики не нравятся, как и адмиралу. Помогать приехали. Но генералы-то здесь, а войск-то не видно. Далеко, далеко возле Перми с красными бандами бьётся brave генерал Анатолий Пепеляев. Новое звание получил только что. Зовут его солдаты «брат-генерал». Доступный, простой, под честное слово красноармейцев отпускает. Скажет ему пленный, что он крестьянин простой, мобилизовали. Отпусти, сроду больше винтовку в руки не возьму! И отпускал! Но зато в бою врага не щадил.

А со своими солдатами ночевал у костра, пел на привале песни, подражал Суворову. Не зря его ещё за войну с германцем Царь Николай второй отметил личным георгиевским оружием. Убили подлые людишки царя-батюшку, а брату-генералу приходится со своими же русскими людьми воевать.

Хорошо всё продумал генерал под Пермью. По первому снегу сибирские лыжники-пепеляевцы обошли в пурге грозный кронштадский полк, и ударили в тыл и сбоку. Погнали в полынью. Захватили мост, а затем и город. Трофеи: множество пушек, сто новеньких сияющих, в машинном масле, паровозов, несколько бронепоездов...

А нашим путешественникам в вагоне влажно и жарко, водка делает их весёлыми, вальяжными. Всё трин-трава, и море — по колено. Мелькнули ели, пихты, сосны, кедры. Ушла с неба луна. И всё на многие вёрсты вперёд укрыла своим странным тёмным и непрозрачным покрывалом ночь. Подождём рассвета...

В Омске поезд почему-то остановился на товарной станции. Кондукторы на недоуменные вопросы пассажиров отвечали коротко:

— Таков приказ. Быстро освобождайте вагоны!

Аркашка Папафилов и Федька Салов вышли из вагона, неся с собой остатки огурцов и опустевшую до дна четверть.

Оглядывались по сторонам, ища глазами магазин или трактир. Но ничего подобного поблизости не было. На странную станцию их привезли. Высоко на

чёрной горе пыхтел паровоз, и казалось, сейчас свалится прямо на голову приедем. Здесь, внизу, возле поезда, сновали мужики с маслёнками и разными инструментами, один шёл вдоль состава, постукивая по колёсам молотком с длинной рукояткой.

— Это — что? — спросил его Аркашка.

— Где — что?

— Ну, вокруг — вообще!

— Это — Карлушка, — отвечал чумазый работник железной дороги.

— А Колчак где?

— Ко-олчак? — иронично спросил рабочий. — Вон в ту дыру лезь, будет тебе Колчак.

Все пошли через небольшой тёмный тоннель. Угольная пыль скрипела на зубах. Им сказали, что единственный путь с товарной станции в город — через этот тоннель.

— Дыра! Преисподняя! — ругнулся Аркашка.

— А вот и черти! — отозвался кто-то басом из темноты. Что-то замелькало во тьме. Коля взмахнул руками, почувствовав страшный удар в подбородок.

— Инвалида бьют, сволочи! — послышался голос Федьки Салова. А вот я вас четвертью по окаянной башке!

— Это не чемодан! Это не чемодан, говорю тебе, падла! Ну что рвёшь? Там — пусто! — визжал Аркашка. — Я сам вор, пойми, к кому лезешь!

Хрип. Хрюк. Хряск. Лязг. Топот...

— Кастеты у них, — сказал Аркашка, — оглушили, сволочи, а то бы я ни в жисть не дался. И что теперь? И документы, и деньги, всё забрали бандюки хреновы. И пальто сняли. И без обманного чемодана теперь жить стану?

— Ой-ой-ой! — ныл Салов. — Четверть об них разбил, шинель сняли, все мои кресты с гимнастёрки сорвали, даже костыль и тот унесли, теперь мнекак милостыньку просить, если меня всех георгиевских крестов махом лишили? Да и вообще без шинели — холодно, простыть можно.

Салов выломал подходящую палку из старого тына и захромал, опираясь на неё.

— Как же Савелия теперь к матушке отвезти? Без денег, безо всего? — спросил Коля.

— Как-как? — отозвался Аркашка. — Сам думаю.

Они вышли на свет божий из подземелья. Редкие снежинки падали с белесых небес, и леденящий ветер завывал в проулках. Возле сквера они увидели толпу, с забора взывали огромные плакаты:

СЕГОДНЯ В 11 УТРА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА ИЗВЕСТНЫЙ
ПОЭТ ВСЕГО МИРА И ГОРОДА ОМСКА И ВСЕЙ ОМСКОЙ ГУБЕРНИИ
АНТОН СОРОКИН
БУДЕТ РАЗДАВАТЬ НА ЭТОМ МЕСТЕ ПОДАРКИ ВСЕМ
ЖЕЛАЮЩИМ!!!

Сколько сейчас времени? — спросил Коля Аркадия.

— Об этом надо спрашивать тех неизвестных, которые сняли с меня часы! — сердито отвечал Аркашка, и крикнул в толпу:

— Граждане! Сколько теперь времени!

— Без двух минут одиннадцать! Сейчас, наверное, начнётся.

Толпа зашевелилась, сгрудилась. Появился сутулый человек в очках и шляпе, окружённый расхристанными молодыми людьми. Один молодой человек был завернут в скатерть с кисточками, а на голове имел ночной горшок, повёрнутый ручкой вперёд. Увенчанный горшком вздел руки вверх и завопил:

— Сейчас осчастливит вас Сорокин Антон Семёнович. Всемирно известный ясновидец, вещун, автор книг «Настоящее», «Смертельно раненые», «Золото», «Жертвам войны». Кто не мечтает иметь книгу Антона Сорокина, друга сиамского короля, короля поэтов и верховного магараджи прозаиков? Подарки, подарки, подарки! Антон Сорокин! Антон Сорокин!

Десятки рук потянулись за подарками. Ими оказались старые журналы с рассказом писателя и его огромные фотопортреты.

— Я думал, он колбасу раздавать будет! — разочарованно сказал Федька Салов.

— Он, видно, колбасы и сам сто лет уже не пробовал! — отвечал Аркашка. — Ты посмотри на него — кожа и кости. Но один его портрет я возьму на всякий случай...

Они пошли, хлопая себя по груди и по ногам, стараясь таким образом хоть чуть согреться. Отогревались в продуктовых лавках, но открытых магазинов встречалось мало, на дверях большинства торговых заведений висели тяжёлые замки. Долго они блуждали по городу, пока нашли воинский морг. Медицинский начальник при морге был пьян, дремал, слушая сбивчивые объяснения Аркашки, который нёс всякую чушь о том, что для купеческого сына откуплен целый холодильный вагон, им бы только довести покойного до станции.

— Повозок нет! — сказал, как отрезал, начальник, икнул и крикнул санитаря:

— Нефёдыч, выдай им тело, ну, который молодой юнкер, Савелий, что ли. Телеграммы всё, телеграммы от матери из Томска. Дай мужикам старую клеёнку, до вокзала донесут... Н-ну, чтоб не видно, рогожкой оберни. Скоротут уже во дворе штабелями будем складывать. Не до церемоний. Пусть волокут. Место освободится.

Санитар был тоже нетрезв, жестом пригласил за собой. Спускались по крутой лестнице вниз, в стужу, которая была посильнее уличной, вошли в таинственный полумрак, в запахи формалина, карболки и спирта. Санитар шёл вдоль стеллажа, светя себе карбидной лампой. Откинул клеёнку, заробевшие Федька, Николай и Аркашка увидели молодого паренька в солдатских погонах, чуть заметное пятнышко было на виске, и всё. А так — словно бы просто заснул юноша. Но всё же казалось — что-то нездешнее уже исходило от тела. Друзья задрожали уже не только от холода. Первым опомнился Аркашка.

— Вы что нам выдаёте? — закричал он сердито. — Какие клеёнки, рогожки? Юнкер к вам обмундированный попал, где тёплое обмундирование? Шинель где?

— Так ведь когда попал, никакой шинели на нём не было, может, в бою разжарило его, он шинель где-то и скинул, — оправдывался санитар.

— Как бы не так! — завопил Аркашка. — Шинель военные не бросают, когда тепло, они скатку через плечо носят. Служили, знаем! Обмана не допустим, до Колчака дойдём!

Коле было жаль Савелия, жаль и мать-барыню. И он не представлял, как же теперь смогут эти двое его друзей доставить Савелия в Томск, ведь не ближний свет, и нет денег, чтобы гроб заказать, и нет денег за вагон-холодильник заплатить.

Похмельный начальник морга, устав от Аркашкиного крика, приказал санитару выдать в придачу к трупу ещё и шинель.

С великим трудом надели на мёртвого Савелия шинель, перепоясали его ремнём. Взяли под руки, потащили, как пьяного.

Они шли незнакомой красивой улицей, когда их остановил подполковник.

— Ни с места! — гаркнул он. — Стоять, не двигаться! Куда это вы упившего тянете? Его надо к коменданту, чтобы посадил его в холодную.

Аркашке стало смешно: ведь они только что вытащили Савелия из такого холода, что лучше не бывает.

— Веселишься? — возмутился подполковник. — А что это у тебя из-за пазухи выглядывает? — выдернул он из разреза пиджака Аркадия недавно полученный в подарок портрет.

— Так-с! — сказал подполковник. — Друзья государственного преступника, который печатает в газетах подлые пасквилы под названием «Скандалы Колчаку»? Члены шайки Антона Сорокина! Надо немедленно вас отвести в контрразведку. Сейчас сдам вас первому же патрулю.

Новая папаха офицера сияла, усы топорщились, сапоги скрипели.

В голове Николая Зимнего вертелись странные мысли: почему — папаха, а не мамаха? Папаха — от слова папаша, наверное, в смысле «командир — отец».

— Нас не надо сдавать патрулю! — воскликнул Коля. — Мы приехали из Томска по просьбе несчастной матери убитого в бою юнкера. Мои друзья должны доставить ей тело павшего в бою сына. Нас обокрали.

Коля вкратце обрисовал офицеру положение, в которое попала троица. И пояснил наличие у них портретов друга сиамского короля:

— Портреты Сорокин сегодня раздавал возле сквера всем желающим. Мы не знали, что человек этот вне закона. Там была афиша, что он — король поэтов. А мы ведь не здешние.

Подполковник внимательно осмотрел всех троих. Потом отрывисто и решительно как бы скомандовал:

— Эти двое доставят тело убиенного матери. А ты должен мстить за безвременно ушедшего юного товарища. На лыжах ходишь? Грамотен? Включаю тебя в создаваемую мной летучую разведгруппу. Твой отец — кто? — Был офицером, — смущённо сказал Коля, и подумал: вот, теперь подполковник начнёт допытываться про звание отца, и куда он делся. А сказать-то Коле нечего.

Но тот сказал, как отрубил:

— Значит, погиб! Тебе продолжать его дело! Россия в опасности. После первого же боя, если ты не трус, представляю в подпоручики. Продолжишь дело отца. — Глаза подполковника сияли от бессонницы и выпитого в большом количестве коньяка.

— Как же мы-то, вдвоём останемся? — затянул Федька Салов. — Тяжело ведь таскать тело будет!

— На поезд бего-ом марш! — скомандовал подполковник, расстёгивая кобуру парабеллума. — За невыполнение приказа расстрел на месте!

«Папаха-мамаха!» — крутилось у Коли в голове.

— Господин полковник, — сказал Коля, — я-то хотел ехать в Екатеринбург, поступать в юнкерское училище.

— Училище, училище! — раздражённо воскликнул офицер. — Его эвакуировали оттуда к чёртовой матери! Ты нужен мне! В бою быстрее научишься. Без всяких телячьих нежностей. И быстрее в чины пойдёшь...

Аркашка и Федька удалялись со страшной ношей к вокзалу мелкой рысью.

— Пропали, пропали! — хрипел на ходу хромоногий Федька. — Сгинем в чужом краю, либо в армию к Колчаку загребут, как Колю. Я хоть без ноги, всё равно забрить могут, ездовым при лошади. И в Томск показываться нельзя. Ведь эта барыня не простая. Приедем без её сына, сгноит в тюрьме.

— Не ной, — сказал Аркашка, — доведём за милую душу, айда в вокзал! Увидев свободное место на лавке, Салов сказал:

— Присядем тут!

— Молчи! — оборвал его Аркашка. Он оглядывал залу очень пристально, как художник выбирает деревцо или кустик, которые он хочет перенести на свой холст.

— Есть! — сказал он вполголоса. И показал глазами на приличного господина с небольшим баулом, сидевшего возле двери, которая вела на перрон.

— Разрешите присоседиться! — сказал он господину с радушной улыбкой. — Вы, наверное, на юг едете?

— Вовсе нет! Я еду на север, мне в Тюмень надо, — отвечал господин, освобождая место на лавке. Федька и Аркашка поспешили перетащить Савелия, подняв воротник шинели так, что он скрывал лицо, а шапку надвинули на нос.

— Очень интересно, но ведь и мы едем в Тюмень! — обрадовался Аркашка. — Я — Аркадий Петрович, а это — Фёдор Иванович, пьяного зовут Савелием, человеком станет, когда в поезде отоспится. А вас как звать-величать?

— Я Николай Васильевич! Что, товарищ подгулял?

— Да отпуск ему дали, вот на радостях и нахлебался. Вот ещё какое дело, Николай Васильевич, мы так спешили с другом на поезд, что даже верхнюю свою одежду в гостинице забыли, успели только позавтракать, но не посетили, прошу прощения, клозет. Вы не присмотрите за нашим спящим другом? Тут ведь спящего в момент обокрасть могут. Мы мигом обернёмся, мы бегом...

— Что ж, пожалуйста, можете на меня совершенно положиться. Впрочем, вы могли бы сходить по очереди...

— Какое там! — вскричал Аркашка, поднимая Федьку с лавки за ворот. — Мы оба уже в такой стадии, что ждать больше нельзя.

И потащил за собой ничего не соображавшего Салова. Зашли в клозетную, и Салов укорил Аркашку: — Меня-то зачем было тянуть? Я ведь и не хочу вовсе.

— А думаешь, я хочу? — Аркашка рассмеялся. — Ты, главное, молчи. Смолчал — и молодец.

Постояли немного в отхожем и вернулись туда, где сидел Николай Васильевич.

— Уф! Словно гора с плеч свалилась! — сказал Аркашка. Николай Васильевич взглянул на часы и сказал:

— Время до поезда ещё есть, да и опаздывают нынче все поезда. Отлучусь и я на минутку в те же Палестины, а вы сделайте одолжение, поберегите мой баул.

— Ну, о чём речь! — сказал Аркашка, поудобнее устраиваясь на лавке. — Вы всё же долго-то там не задерживайтесь, чтобы на поезд не опоздать.

Только беспечный господин скрылся за дверью вокзального клозета, Аркашка схватил баул и страшным шёпотом приказал Федьке:

— Поворачивайся, скотина, хватай Савелия. Поволокли, раз!

Они выскочили на перрон. Аркашка побежал, покрикивая на ходу на Федьку: Вперёд! Вон третий вагон, офицерский, туда....

— А пустят?

— Чать, не с пустыми руками.

— Это уж точно, точненько, полные руки всего. Врагу своему такого не пожелаю! — заныл Федька. — Нога болит, да ещё страхи такие!..

— Молчи, гад! — урезонил его Аркашка. — Ну-ка, пролазим на следующий путь под этим товарняком! Быстро! Ну чего смотришь? Хватай Савелия под руки, ну, пошли, поволокли. Эх, напился так напился! Маленький, Э. ТЯЛСБ'лый какой.

Федька взял тело Савелия под руку, почувствовал его одеревенелость, потусторонность. То ли рука, то ли полено. И холод от неё. Заныло под ложечкой... Господи! Да лучше было бы всю жизнь на психе сидеть, чем такие неудобства переживать. На психе кормили, поили, и курева можно было достать, и даже выпить иногда. И чёрт его заставил с той психи сбежать, а потом ещё и милостыню просить. Думал — лёгкий заработок, да и попал через это к ворам в лапы.

— Ты тащи давай, что, сил совсем лишился? — окликнул его Аркашка. Через пару десятков минут они уже подняли тело на площадку воинского вагона. Проводник спросил билеты.

— Мил-человек, — сказал Аркашка, — какие билеты? Нам парня в отпуск проводить надо. Запил, голубчик, сам домой на побывку к маме не доедет без нас...

Аркашка расстегнул баул, пошарил в нём, и сунул в руки проводнику шёлковое мужское бельё.

— Только до станции Тайга. Сам понимаешь, война сопровождаем на побывку.

— Что-то мало, — хмуро сказал кондуктор, — опять же пьяного — в вагон... Бузу поднимет, отвечай потом за него.

— Так ведь шёлк даем. Сам понимаешь, нынче вши кругом, а на шёлк они не садятся. Французский шик! Да мы потом добавим... А насчёт пьяного — не волнуйся. Проспится — человек будет. Он вообще-то смирный, ну глотнул лишку, с кем не бывает!

— Ладно. Вон и поезд идёт, сейчас нас прицепят. Займите места в другом конце вагона, возле туалета, там офицеры ездить брезгуют. И чтобы никакой пьянки, и громкого разговора. Господ возим!

— Знаем, всё понимаем! — успокоил его Аркашка. — Сами тоже военные. Только отвоевали уже, по ранению списаны.

Прошли в дальний конец вагона, Савелия усадили, прислонив к стенке иположив голову на столик. Уснул, дескать, парень, и всё тут. Аркашке не терпелось проверить содержимое баула. Он шепнул:

— Савелий всё равно спит. Не заскучает. Давай-ка выйдем в тамбур, добычу раздербаним, да заодно и покурим...

Вышли в тамбур, закурили. Аркашка нашёл в бауле ещё две пары шёлкового белья, яблочный пирог в белой тряпице, отварную курицу в промасленной бумаге, серебряный портсигар, в котором были папиросы «Дюбек». Было там и две бутылки первосортного коньяка знаменитого винного завода Шустова. Протянул бутылку коньяка Федьке, обозначив на ней метку пальцем:

— Тяни вот досюда.

Федька запрокинул голову и забулькал коньяком. Тем временем паровоз прокричал отходную, и застучали колёса — всё быстрее, быстрее.

— Ну, прощай, Омск! Век бы тебя не видать! — сказал Аркашка. И вдруг воскликнул:

— Эй-эй! Ты уже метку перешёл! — и выдернул у Федьки бутылку, как мамаша соску у младенца.

Выпив свою долю, Аркашка размечтался. Довезти бы этого Савелия в Томск. Получить с барыньки обещанное. И можно будет погулять по кабакам, девок хороших поиметь, да подобрать себе подельщиков сильных, молодых, свою отдельную шайку организовать. Тогда и Цусима не сунется. А как с Федькой быть? Да очень просто! Ему дать на водку да на новые костыли. Да выпилить несколько георгиевских крестов, надфилёчками, повозиться с оловом, с пайкой. Кресты самодельные на грудь Федьке навесить. Пусть доходом с Аркашкой делится...

Аркашка и Федька вернулись в вагон и... не нашли на своём месте Савелия! Там сидели два солдата, пили водку и закусывали хлебом с тюлькой.

— А где же Савелий, который тут был? — воскликнул ошеломлённый Федька. — Вы куда его дели?

— Никуда мы его не дели! — сказал рыжий-прерыжий, веснушчатый. — Ваш друг сказал, что покурить пошёл, да что-то не возвращается.

— Он ска-азал? — протянул Аркашка. — Он ска-азал? Да как же он мог сказать, если он покойник? Покойники вообще-то не курят. Им сам адмирал Колчак курить запретил!

Видя, как изменились лица солдат, Аркашка добавил уже вполголоса:

— Вот что, мужики! Этого Савелия нам заказала томская барынька из омского морга к ней доставить. И золотом обещала заплатить. Это её сынок. В Омске нас обобрали. Гроб не на что купить. Решили Савелия просто в вагоне везти. Говорите правду — куда он делся?

Конопатый сообщил свистящим шёпотом:

— Нас полковник послал отвезти коллекцию самоцветов в Каинск, где его жена находится. В Омске-то нынче неспокойно. Да. Чемодан с камнями тяжеленный, стал я на верхнюю полку поднимать, не удержал, он трахнул вашего

Савелия по темечку. Видим— умер! Ну, мы схватили его под руки, поволокли в тамбур под видом пьяного, мол, пусть проветрится, а там и спихнули с поезда.

— Твою мать! — сказал Аркадий. — Минут двадцать прошло? Так? Берите чемодан с камнями и айда все вместе Савелия выручать, друг у меня — хромой, один я не справлюсь.

Рыжий-конопатый почесал затылок, сказал:

— В этом чемодане — пуда три или боле. С ним бегать-прыгать не приходится. Пусть Васька везёт чемодан в Каинск. А я, так и быть, с вами пойду, моя вина, мне и пропадать. Между прочим, меня Стёпкой кличут.

Рыжий пожал руку Ваське, допил водку. Он лихо нахлобучил косматую шапку и впереди всех помчал в тамбур. Там он достал из кармана целую связку ключей. Отпер поездную дверь. Стоял, вглядывался в метель, потом сказал:

— Как поворот будет, так и прыгаем. На повороте он ход сбавляет.

— Смотрю я на тебя, ты похож на меня, — сказал Аркашка, — недаром мы оба рыжие.

— Там разберёмся! — отвечал Стёпка. — Ну, господи благослови!..

39. Подать козлу сигару!

Выручальщики покойника спрыгнули с поезда вполне благополучно, машинист на крутом повороте так замедлил ход, что поезд можно было догнать простым скорым шагом.

— Слава тебе господи! — перекрестился Федька после удачного прыжка с поезда. — Мог бы вторую ногу повредить, тогда бы — хана.

— Это сколько же вёрст успел поезд отмахать после того, как вы с него нашего Савелия скинули? — сказал Аркашка, озирая засыпанную снегом безжизненную равнину. Кочки, присыпанные снегом, — до самого горизонта. Всё безжизненно, только возле железнодорожной колеи снег почернел от угольной пыли.

— Вёрст десять, пожалуй, — задумчиво сказал Степан.

— Хорошо, если десять. Ты хоть в шинелке, а мы с Федькой раздеты, да ещё он хромой... Ну, брат, я тебя загрызу, ежели, пока мы шкандыбаем, нашего Савелия волки слопают. Что же тогда я скажу его несчастной матери?

Степан испуганно моргал:

— Мы же не нарочно.

Они пошли в неизвестность. Шпалы имели ту особенность, что располагались то шире, то уже. Шагать по ним неудобно, и ступать мимо них тоже нехорошо: того гляди, запнёшься. Особенно был удручён этим охромевший Федька. Аркашка на ходу матерился, причём ругательства не повторялись ни разу, он имел их такой запас, что хватило бы материться до самого Омска.

И полчаса не прошло, а они уже выбились из сил. Аркашка схватил за ворот Степана:

— Вытряхайся из шинелки! По очереди будем в ней щеголять! Сейчас моя очередь, потом Федьке поносить дам, а ты пока помёрзни.

А через минуту за поворотом они увидели несколько длинных глинобитных мазанок, каменную железнодорожную будку и один деревянный дом. От этого поселения к нашим путникам с громким лаем мчались огромные лохматые псы.

На крыльцо деревянного дома выбежал человек в форме железнодорожника, свистнул собак, они немедленно побежали обратно. Черношинельный человек взглядывался в путников. А когда они приблизились, строго спросил:

— Кто такие? Документы есть?

Аркашка торопливо пояснил, что ездили в Омск за трупом убиенного томского юнкера Савелия. Но в тоннеле под названием Карлушка их раздели, и деньги, и документы забрали. Повезли покойника прямо в купе поезда, и вышло, что на мёртвого Савелия солдаты уронили чемодан, испугались, что зашибли его, да и скинули на ходу. Теперь вот они сами слезли с поезда, ищут Савелия.

— Так ты из Томска? — сказал железнодорожник. — Опиши-ка мне, братец, второвский пассаж.

— Как не знать мне пассаж? — обрадовался Аркадий. — Как не знать, я там дамочкам туфельки примерял, когда на приказчика учился. Второв Николай Александрович лично экзаменовал меня в младшие приказчики. Строгий человек, но справедливый.

Аркашка описал общежитие учеников приказчиков, рассказал о том, как парнишки смотрели в окна напротив, потому что там иногда появлялись полуголые артистки женского румынского оркестра. Рассказал и о графе Загорском, погубителе прекрасных жительниц Томска. И про огромный градусник Реомюра, и про музыкальный магазин.

— Достаточно! Я вижу, что вы именно те, за кого себя выдаёте. Идёмте в дом, — сказал железнодорожник, — а то вы, видать, озябли.

Железнодорожника звали Петром Константиновичем, он был начальником полустанка. И, выслушав грустную историю путешественников, заявил, что обязательно им поможет. Ещё бы! Он был одним из главных помощников Второва! Живал в Томске, а потом вместе с хозяином отбыл в Москву. Знал он и купчиху Туглакову, мать Савелия.

— Гора с горой не сходится, гора с горой! — радовался Аркашка.

— Ну, быстренько хлопните по полстаканчика самогону, возьмите по шмату сала. Я дам вам свои старые шубейки, и поедем на дрезине искать бедного Савелия, а то как бы его, действительно, волки или собаки не слопали. Да, как же вы думали довести его в простом вагоне до Томска? Чудаки! Он бы у вас протух.

— Мы думали на какой-нибудь станции в вагон-холодильник его пристроить... — пояснил Аркадий.

Через несколько минут дрезина уже мчала навстречу ледящему ветру. Пётр Константинович покрикивал:

— Ровнее, ребята! Нажимайте на рычаг сильно, но равномерно. Это английская дрезина, такая далеко не у каждого начальника полустанка имеется. Лёгкая на ходу, быстрая. Стоп-стоп! Не ваш ли это подопечный?

Дрезина затормозила. Возле насыпи лежал на боку Савелий. Одна рука подвернулась под голову, а край задравшейся шинели накрыл лицо. Казалось, и впрямь спит солдат.

Савелия осторожно водрузили на дрезину. Заглядывая ему в лицо, Салов сказал:

— Смотри-ка, он даже не ушибся!

— Да уж теперь-то ему не больно, — подтвердил Аркашка, — не то что нам, и тащить нам его до Томска — не ближний свет.

— Не волнуйтесь, — сказал Пётр Константинович, — я вам помогу. Возвратились на полустанок. Начальник приказал рабочим положить тело

Савелия в холодную каморку. Потом пошёл в служебную будку, где стрекотал служебный телеграфный аппарат. Выяснилось, что поезд с вагоном-холодильником будет только вечером, через шесть часов.

— Идёмте в дом! — пригласил путешественников Пётр Константинович. — Теперь уже и пообедать не грех.

Дом железнодорожного начальника был украшен дорогими картинами и статуэтками.

— Остатки прежней роскоши! — сказал он, заметив удивлённые взгляды гостей. — Вот вы, Аркадий, вспоминали добрым словом вашего учителя Николая Александровича Второва. Он ведь не только магазины да гостиницы строил. Он до самого большевистского переворота расширял своё дело. В Подмосковье открыл первый сталелитейный завод. Затем открыл и крупные заводы химических веществ, боеприпасов. И что же?

Москва. Бомбардировка Кремля. Национализация. Вам непонятно, что такое национализация? Это когда вы работали в поте лица, обрели достояние, а к вам приходят и говорят: «Это не ваше!». Граждане большевики не хотели видеть Второва во главе дела. Он сопротивлялся. Увеличил число акционеров. Часть денег поспешил разместить в зарубежных банках.

Однажды утром я прибыл в его контору. И обнаружил его в кабинете сидящим в кресле с кровавой огнестрельной раной на виске, неподалёку от Николая Александровича валялся на ковре с револьвером в руке молодой человек. У него была рана на груди. Следователи объявили: покушавшийся застрелился! Я понял, что кто-то вошёл, застрелил и Второва, и незнакомого мне юношу. Создали видимость покушения.

Вернулся домой, а прислуга сообщает: люди в штатском весь день наблюдают за нашим домом. Я всё понял. Следующая очередь — моя. Я взял острый нож и вырезал из рам полотна самых дорогих картин. Взял несколько статуэток, ценности. Короче — собрал небольшой чемоданчик. Жена находилась на даче. Я велел передать ей, что в нужный момент вызову её на новое место.

Я одел оставшийся от новогоднего маскарада парик, одежду простолюдина, вышел через чёрный ход и отправился к знакомому железнодорожному чину домой. Он сперва не узнал меня, но я снял парик. Я объяснил ему ситуацию. Он сказал, чтобы я находился у него дома, до тех пор пока он не выправит мне новый паспорт и не оформит меня начальником дальнего полустанка.

Новая моя фамилия — Злобин, а прежнюю вам и знать не надобно. Скажу лишь, что из окна дома, где меня приютил мой железнодорожный начальник, я видел похороны Николая Александровича. Это была тысячная демонстрация. Были там люди и в кепках, и в шляпах. Все социальные слои. Надпись на огромном венке была такая: «Великому организатору производства Николаю Второву». Чекисты думали повернуть процессию на окраинные улицы. Не вышло. Мимо древнего Кремля центром Москвы двигалась процессия.

Я поклонился ей вслед. А с вечерним поездом отправился к месту моей новой службы. И вот теперь имею возможность принимать вас здесь и помогать в вашем благородном деле. И я верю, что здравый смысл нашего народа победит. Зачем же ломать построенное? Лучше строить новое.

— Вот и я тоже говорю!— вступил в застольную беседу солдат Степан. До Омска я у Каппеля служил. Генерал— что надо. Владимир Оскарович Капель, командующий третьей сибирской армией. Он сделал десант из Саратова, высадившись в Казани. Штука в том, что главный красный вождь Ленин после Брестского замиренья должен был выплатить Германии эту, как её, контрибуцию, что ли?

— Контрибуцию! — поправил Степана Пётр Константинович.

— Вот, её самую. И часть денег хранили в Нижнем Новгороде, часть — в Казани. Неожиданным ударом! Трам-там-даром-даром-даром! Короче, взяли мы свезённые большевичками в Казань деньги, драгоценности. Трам-драм! Я сам в том банке был! Но, однако, остался, как говорится, при своих интересах. Упаси бог сунуть что-нибудь в карман — тут же расстреляли бы за мародёрство. Так вот. Была в том банке в мешках мелкая монета. И командующий приказал распороть мешки и рассыпать эту всю мелочь по комнатам и по крыльцу банка. Озорство такое. Поди, пособирай-ка!..

Хорошо отдохнули в доме Петра Константиновича томичи. Вечером радужный хозяин сказал, что дарит им тёплую одежду, и велел им пойти с носилками за телом бедного Савелия. Их проводит туда дежурный по полустанку еврей Моня Зильберман. В старой избушке они достали тело Савелия из подполья, возложили его на носилки. На перроне стали ждать своего поезда.

Но сначала на полустанок прибыл поезд с восточной стороны. Стоял он тут всего пять минут. Из вагона вышел кряжистый мужик с пронзительными голубыми глазами. На нём была чёрная поддёвка, из-под которой выглядывал массивный золотой крест, волосы были зачёсаны на прямой пробор. Рядом с мужиком стояла красивая белокурая девица в чёрном платье и чёрной же меховой душегрее.

Мужик впился в Федьку взглядом, так что Федька вздрогнул.

— Вон ты где, голубь! Не ждал! Не ждал! — воскликнул мужик. — Вон они, томичи, что делают! Куда ни кинь, всё выйдет клин! Ну что, Салов, поедешь со мной в Петроград?

Федька мужика не узнавал, зато девицу признал, хотя и не сразу. То была красавица Алёна, жившая когда-то возле реки Керепети. Мужик сказал:

— Вижу, Федька, что не признал ты меня. А ведь это я тебя спас, когда ты с психи сбежал. Так едешь со мной?

— Никак не могу, дядя Василий, я тут важное задание выполняю, покойного воина к матушке в Томск доставляю! — отвечал Федька, догадавшись, что видит перед собой колдуна Василия. — Вы облик сменили, стали белокурым и курносым, так я вас сразу не признал.

Мужик сказал сурово:

— Перво-наперво на теперешний день не Василий я, а Варсанофий. А моё задание важнее твоего, я в Петроград «Прощаль» везу, которая всю нашу матушку Россию от супостатов спасёт.

— А что за прощалия такая?

— Секрет! И тебе, сивому, всё равно не понять. Так вот. Я не случайно стал бляндином, каким должен быть всякий порядочный россиянин! Нынче я агент союза русского народа. Я ехал поездом, смотрел из окна, и всех встречных делал бляндинами. Нам на Руси не надо brunetов! Зараз я вас всех, сволочей, сделаю курносенькими бляндинчиками!

— Ой не надо, — испугался Салов, — а то нас в Томске не узнают! Аркашка сказал:

— Чего блажишь? Пусть не узнают. Зато Цусима нас больше не тронет. Пусть господин нас перекрасит, жалко, что ли?

Василий-Варсанофий принялся смотреть на них не моргая, поднял руку, помотал кистью, что-то нашёптывая при этом. Рыжий прямоносый Аркашка в момент стал курносым голубоглазым блондином. Стали таковыми и Федька, и Степан, и даже еврея Моню Зильбермана старик переделал в курносого блондина. Аркашка рассмеялся.

— И что такое? — спросил дежурный по полустанку. — И чего во мне такого смешного?

— Ты сходи в зеркало посмотри!

Моня начал оглядывать свою шинель, все пуговицы были на месте. И тут как раз пришло время давать отправление поезду. Колокол прозвенел, свисток просвистел, гудок паровоза проревел, колёса лязгнули.

— Салов! Приедешь в Томск, иди в союз русского народа, и служи там верно, скажи, что я велел. Понял? Ну, всё! Поезд отправляется, заболтались...

Колдун подхватил свою юную даму под руку, помог взобраться на подножку, прыгнул сам. Поезд дёрнулся и пошёл, быстрее, быстрее...

Не успели наши путешественники как следует обсудить все чудеса, которые им продемонстрировал зловредный старец, как случилось ещё одно чудо, да такое страшное, что Федька Салов попятился, крестясь:

— Свят, свят, свят! Господи помилуй!

Перед друзьями на перроне появилось существо с рогами и копытами, с ядовито-жёлтыми глазами, в которых светилось дьявольское ехидство. Это был огромный старый козёл, и он... курил сигару! Курил взятяжку, криво улыбаясь большим ртом.

— Что, что, что это? — изумился Коля. Случившийся рядом путевой обходчик пояснил:

— Это наглый станционный козёл Васька. После каждого пассажирского поезда на перроне множество окурков остаётся. Он раз попробовал — понравилось, стал приходить к поездам и окурки жевать, особенно, сволочь, любил жевать окурки от дорогих сигар. Ну, мы взяли да и научили его курить. Теперь он окурков подберёт, если он не горит — бежит за кем-нибудь — дескать, дайте прикурить! И даём! И курит. Не козёл, а барин, прямо граф какой-нибудь или барон.

Васька докурил сигару почти до кончика, что осталось, выплюнул в траву. Слегка боднул в зад Аркашку и убежал за станционное здание.

— Вот гад! — удивился Аркадий.

А через полчаса прибыл поезд, которого ждали путешественники-томичи. Тело Савелия поместили в вагоне-холодильнике. Федька, Степан и Аркадий устроились в общем вагоне. Там пахло махоркой, потом, чем-то утробным и смрадным. Люди сидели на полках и между ними — на узлах и чемоданах. Плакали младенцы, кашляли и вздыхали старики. Аркашка зырил глазом — где что плохо лежит. Ночью он разбудил Стёпку и Федьку, зашептал:

— В вагоне — вшивота одна, красть нечего. Айда в холодильник, к мертвякам!

— Ты что? С ума съехал? — возмутился Федька. — На что нам мертвяки? Да и замок там.

— Молчи, деревня! Такие замки простым шилом открываются. А среди мертвяков офицеров полно. Шинели наилучшего сукна, сапоги новейшие, мундиры. Переоденемся в новое всё, а на следующей остановке в свой вагон перейдём.

Быстро пробежали во тьме к холодильнику, Аркашка вскрыл и откатил дверь:

— Лезьте!

— Ты первый! — заныл Федька.

Аркашка уже был в вагоне, светил карманным фонариком и говорил вполголоса:

— Я первый! Шинель с полковника сам носить буду, а вот с этого майора шинельку продам, али на что сменяю...

Тут Федьку и Степана ревность взяла: ишь ты, наш пострел везде поспел. Ему лучшее, а им — рем-ки? Вскочили в холодильник, начали мёртвых раздевать, у кого одёжка получше. Примеряли, одевались. Увлеклись, обо всём забыли. Между тем поезд тронулся, набрал скорость. И вдруг что-то грохнуло, вагон качнуло, паровоз взревел. Переодетые офицерами вандалы свалились на мертвецов.

Рядом грохали выстрелы, кто-то кричал.

— А здесь что? — слышался чей-то властный голос. Сноп света ударил вглубь холодильника. — Ага! Здесь у мертвяков запрятались офицеры, заклятые враги народа! А ну, выпрыгивай по одному!

Аркашка в шинели полковника, увидев перед собой богатыря в папахе, украшенной алой лентой, заныл:

— Не офицеры мы, вышли мы все из народа братской семьи трудовой, то есть братья по классу, как говорится...

— Дай руку, гнида! — гневно приказал богатырь. — Где же твои трудовые мозоли? Холёная барская рука. Тяжелее собственного хрена твоя рука никогда ничего не поднимала... Расстрелять! Всех! Без разговора!

Пулемет ударил по Аркашке, потом прошёлся очередью по нутру вагона, скосив Федьку со Степаном и вонзив несколько пуль в покойников, в том числе и в бедного Савелия, которому, впрочем, от этого было ни холодно, ни жарко.

Ноябрьский день был таким морозным, что плевок на лету превращался в ледышку. Оборонявшие Омск колчаковцы были выбиты из траншей и окопов, отстреливались на бегу, но никак не могли оторваться от наступавших бойцов, которых полковник Сенчура называл краснопузыми чертями. Среди бегущей оравы то и дело взмётывались фонтаны взрывов, разбрасывая осколки и мёрзлую землю. Падали рядовые, падали офицеры. Через какое-то время отступающим удалось закрепиться в небольшом лесу, где было много естественных укрытий в виде увалов и ям.

Колчаковская разведывательно-истребительная бригада, которой командовал Сенчура, была сформирована из людей, обстрелянных ещё на войне с германцами, из опытных и отважных воинов. Только Коля Зимний раньше никогда не воевал. Полковник каждую свободную минуту учил его многим солдатским премудростям, учил стрелять из всех видов оружия, учил ползать по-пластунски, не поднимая головы и используя каждую впадину и ложбину.

— Ни хрена! Лишь бы ползать умел, а маршировать после научишься! — говаривал он. У Сенчуры не было ни жены, ни детей, к Коле он относился как к родному сыну. Вот и теперь, страшно матерясь, он толкнул Колю в шею:

— Катись в овраг! Стань за ствол дерева!

По лесу густо сыпали шрапнелью. Где-то на взгорке зачастили станковые пулемёты. Коля давно потерял перчатки, но — странное дело — пальцы не мёрзли, лицо не мёрзло. Очевидно, в минуту опасности включаются какие-то особенные способности организма.

Подпоручик, только что бежавший рядом с Сенчурой, молча свалился в снег, и тотчас на снегу стало расплываться яркое красное пятно. Из рта подпоручика выползали розовые пузыри, он хрипел.

— Испёкся! — сказал Сенчура, склонился над офицером, снимая с него погоны. Затем полковник быстро сбежал в овраг, запалённо дыша, сказал Коле:

— Поздравляю с производством в подпоручики! Вот ты и стал офицером, как отец.

Сенчура торопливо сорвал с Коли солдатские погоны и надел офицерские.

— Теперь слушай. Приказываю тебе вместе с санитарями доставить в тыл раненых. Вон за той рощицей уже первые домишки Омска. Твоя задача — отогреть раненых в тёплых избах, вызвать к ним врача. Как это ты не будешь отступать? Приказы не обсуждаются, а выполняются. Наша борьба только начинается. Верховный главнокомандующий Колчак предпринял наступление на Москву. Ты ещё пройдёшь парадом по первопрестольной. Ты нужен родине. Подготовь носилки. Как только мы пойдём в контратаку, вырывайтесь из леса, бегите до рощицы, затем в слободку. Постарайся сохранить людей, передать в надёжные руки раненых. Всё! Иди!

Сенчура вынул из кармана гранату, метнул её в сторону наступавших.

— За мной, чудо-богатыри! Бей красную сволоту! Ура!

Бежавший впереди полковника пулемётчик, строчивший из ручного пулемёта, вдруг упал, словно обо что-то споткнулся. Сенчура схватил пулемёт, опёр его о мёртвого пулемётчика и принялся строчить. Он уже заметил, что его группа взята в кольцо. Там и сям между деревьями перебежали люди в суконных шлемах с

высокими шишаками. Шлемы эти были пошиты ещё при царе по эскизам художника Васнецова. По его же намёткам были пошиты шинели с кожаными застёжками поперёк груди, как у древнерусских ратников. Обмундирование это было подготовлено для парада русской армии в Берлине, который должен был состояться после падения немецкой столицы. Но с Берлином получился конфуз. Не взяли. А потом грянула революция. Праздничное обмундирование осталось на складах. Теперь большевистская власть одела в него красноармейцев и красных командиров. На шлемы они спереди пришили большие красные звёзды. «Это чтобы было лучше целить вам прямо в лоб!» — мысленно иронизировал Сенчура, и заматерился, так как в пулемёте кончились патроны.

— Делать из трупов брустверы! Все — в круг! — скомандовал полковник. Теперь оставшиеся в живых колчаковцы лежали за брустверами из мертвецов и палили во все стороны. Но их ответные выстрелы звучали всё реже. Краснозвёздные шлемы приблизились почти вплотную.

Сенчура встал среди мёртвых товарищей, высоко подняв вверх руки, давая понять, что сдаётся. И благодаря этому ему удалось подойти к красным вплотную.

— У, волчара! — крикнул один из красноармейцев, и выстрелил в полковника почти в упор.

Сенчура резко опустил руки, и в ладони ему скользнули револьверы, привязанные внутри рукавов шинели резинками.

— Стрелять надо так! — крикнул Сенчура, сражая из двух револьверов врагов одного за другим. Но и сам он получил сразу несколько пуль — в грудь, в живот, в плечи. Он пошатывался, но не падал.

— И ещё стрелять надо вот так! — выкрикнул он, пуская себе последнюю пулю в рот.

Один красноармеец хотел проколоть тело Сенчуры штыком. Другой удержал его:

— Не надо! Мертвяка ковырять — честь небольшая.

В это время Коля Зимний со своим отрядом достиг окраины Омска. Трое раненых умерли по дороге, и Коля приказал копать могилу. Солдаты зароптали:

— Господин подпоручик! Али им, мёртвым, не всё равно? Живых поморозим!

Зимний понял, что они правы. Велел закопать трупы пока в сугробе и поставить мету.

— Раненых пристроим — вернёмся к этим, и похороним, как подобает.

На окраине Омска большинство домов было заперто ставнями, и никто на стук не отзывался, только собаки рвались со своих цепей.

Коля, с тех пор, как его взял в свою бригаду Сенчура, всё время находился вне Омска. Бригада держала оборону на дальних хуторах, совершала дерзкие рейды в тыл к противнику, взрывала мосты, подрывала железные и шоссейные дороги, которые вели к Омску с запада. Он совершенно не знал Омска. В его отряде не оказалось омичей, и никто из солдат тоже не знал великого города. Куда идти? Нигде не было видно ни одного прохожего. Вот в морозном тумане возник согбенный бородач, тащивший за собой сани. Поклажа в них была укрыта огромным дорогим малиновым ковром.

— Что тут у тебя?— вскричал унтер Велисов, поддевая ковёр штыком. Ковёр соскользнул на снег и обнажил мраморную статую.

— Сволочь! — вскричал Велисов. — Люди воюют, а он голых каменных баб ворует! Где взял, говори!

Он крепко ударил прикладом винтовки корявого бородача по спине.

— Отставить! — скомандовал Зимний.

— Ваше благородие, — сказал унтер, — нас учили мародёров убивать на месте.

— Отставить! — повторил Коля Зимний. Ему понравилось, что унтер величает его благородием. Он сын офицера, дворянина. Он решает судьбы.

— Скажи-ка, братец, — обратился Коля к мужику, — где взял ты Венеру и зачем?

— Да где же? Во дворце, где Волчак сидел. А на что? Красиво. Безрукую можно при случае продать. Времена трудные. Власти нет.

— Власти, говоришь, нет. А войска какие в Омске нынче есть?

— Кроме вашей милости никого не видел. Смылись все куда-то. Хотя стрельба в городе всё время слышна, то стихнет, то опять. А кто в кого стреляет — неизвестно. Да ведь и спрашивать не пойдёшь.

— Так, а как нам до ближайшего лазарета, либо больницы какой дойти? — Больница будет на углу, возле тех вон берёз. А есть там кто живой— не ведаю. Идти-то мне можно?

— Можно! Только без саней. Ребята! Берите у него сани, укладывайте на них раненых. Вперёд! — скомандовал Зимний.

Небольшой отряд Зимнего двинулся по направлению к роще. Бородач остался стоять на ковре около мраморной бабы, которую солдаты воткнули нижней частью в сугроб.

Здание больницы в берёзовой роще было пусто. Стёкла в окнах выбиты, а оконные и дверные проёмы крест-накрест забиты досками. На снегу не было следов. Только валялись сломанные стулья, торчали останки сломанных железных кроватей. Куда идти?

Прошли ещё немного, и увидели белую полосу замёрзшего, заснеженного Иртыша. На белом вдруг возникли чёрные точки, они приближались, росли, и уже можно было разобрать, что это бегут люди, вот они уже на бугре, вот уже видны сухощавые усатые лица под косматыми чёрными папахами, украшенными алыми лентами — полоска наискосок. Винтовки с примкнутыми штыками, нерусская команда на странном языке. Треск выстрелов.

Зимнего словно молотком по ногам стукнуло, он упал. Рядом валились люди его отряда, роняя носилки с мёртвыми. Никто не успел сделать ни одного ответного выстрела.

Коля попытался извлечь из кобуры наган, руки не слушались.

С криками «Офицер, офицер!» на него навалились усачи, быстро связали ремнями. Поволокли по снегу под откос, на лёд Иртыша. Он терял сознание от боли, не мог понять, что это за люди, куда и зачем волокут его, связанного.

Нерусские солдаты подтащили его к проруби, обвязали верёвкой, приподняли, окунули в прорубь с головой несколько раз, подняли и опустили ногами в

ближайший сугроб, трое уперлись в него штыками, поддерживая, чтобы не упал, остальные выстроились цепочкой от него до проруби. Усачи быстро, серьёзно и деловито передавали по цепочке вёдра с зачерпнутой из проруби ледяной водой. Вёдра опоражничали на Колю, и он постепенно всё больше покрывался весь прозрачной, сияющей ледяной коркой. Теперь его уже не надо было поддерживать штыками: держался сам. Один усач деловито поправил ему голову, чтобы смотрела прямо, и отёр мокрые варежки о свои отороченные мехом сапоги. Самозванные скульпторы вылили на Зимнего ещё несколько вёдер воды, отошли в сторону, любуются своей работой и повторяя:

— Монумент! Монумент!

Из береговых изб, протаяв в стёклах глазки, на Иртыш смотрели прибрежные жители, и опасно шептались:

— Колчак хотел Москву брать, да сам куда-то делся. И Омск сдал. К добру ли то, к худу? Вроде бы рабочая власть будет. Наша... Одначе тошно смотреть, как красные мадьяры развлекаются. Из белогвардейских офицеров статуев создают, лютуют. Солдат — просто убивают, а этих, болезных, прямо живьём замораживают. Ну и звери. Нынче по воду днём уже и не пойдёшь, возле каждой проруби несколько статуев стоит. Да и ночью по воду идти страшно, а что делать? Пить-то хочется...

41. «Всюду деньги, деньги, деньги!..»

После отплытия красных из губернского Томска и после отъезда Аркашки, Федьки и Коли в Омск в Томске происходило немало всякого. Город был похож на кипящий котёл, когда кипяток переплёскивает через край. Теперь в самых убогих каморках беженцы спали вповалку на полу. Отрывали плахи от заборов и наличники, дабы истопить печь. Выменивали на базарах одежду

на кулёчек муки, стакан сахара, оставаясь полуголыми среди сибирской зимы.

По городу разгуливало огромное количество военных. Эти были одеты неплохо, выглядели сыто. Генералы, полковники, майоры— и наши, и иностранные. Форма была всех цветов и оттенков. Профессора и торговцы воодушевлялись, видя бодрых людей в форме. У томских модниц необычайным спросом стали пользоваться белые чулки. Надевая их, как бы подчёркивали успех белой армии. Девиц и дам привлекали, конечно, все эти погоны, шевроны, бантики, крестики, аксельбанты, блестящие пуговицы, и всё такое. Оперение петуха тоже служит для привлечения особ иного пола. Можно даже сказать, что петухи — те же военные. У них и шпоры есть, и они порой дерутся. Правда, петушиные ристалища не приводят забияк к гибели.

Грозное слово «эпидемия» тогда впервые замелькало в газетах, листовках и плакатах. Специальные бригады университетских врачей и студентов свозили трупы на высокий берег Ушайки, это место томичи именовали «Красным Крестом». Добровольцы были обуты в резиновые калоши, на лицах у них были толстые марлевые повязки, пропитанные медицинским спиртом. Даже ударившие морозы не смогли прекратить великий мор.

В «Красном Кресте» мертвяков сперва складывали в бараках, потом принялись укладывать штабелями, как дрова, прямо под открытым небом. Эти страшные поленницы поливали креозотом.

Женщины с Войлочной заимки глухой ночью перебирались на противоположный берег и подкрадывались к штабелям мертвецов. Что им тут было надо? Мама Коли Зимнего большим острым ножом рассекала боковину скользкого покойника. Добывала печень.

— С осени сколько ничьих лошадей по Томску бегало! Вояки бросили их. Теперь, говорят, те лошади пали. Так зачем же мертвяков резать?

— Спрашивает, суконка! — взвизгнула голосом ржавой пилы работавшая рядом тётка. — Где теперь мёрзлых лошадей искать? А здесь — рядом. Бога устыдилась? А осень, когда Цусима девочку привёл семилетнюю, спортил, а потом горло ей перерезал и нам в разделку на пирожки отдал, помнишь?.. Как это ты не знала, чьё мясо через мясорубку перекручивала? Всё знала! Я тебе сказала: поперчи фарш, посоли да попробуй — ты попробовать не стала! Всё знала, стерва! Вот и заткнись. Работай! Этим бедолагам теперь печёнки ни к чему...

На заимке обкуренные гашишем, опившиеся свекольной бурдомагой женщины ночами полоскали куски мёрзлой печени в прорубях, прокручивали в мясорубках, и наутро пекли пирожки, замешивая тесто с отрубями, чёрной мукой.

Анна Петровна надевала тёплую дошку и перекидывала через плечо ремень, прикрепленный к корзине с пирожками. Корзина была обшита войлоком и имела двойную войлочную крышку. Добежав до центрального рынка, Анна Петровна заливиисто кричала:

— Пирожки-и! Горя-ячие! С печенью!

Дрожавшие от холода бедолагы, колотившие нога о ногу, утирали сопли и слюни:

— Гор-рячие! Хватануть бы! Запах! Эх!

Но в центре базара стоял и зорко оглядывался по сторонам Цусима. И было ясно — зарежет, ежели что.

Около пирожницы дрожала и сглатывала слюни бывшая музыкантка румынского оркестра. Остальные давно уехали, а её чёрт пихнул остаться в Томске. Болезная, глядит с надеждой, румянец болезненный костерком малым на щеках телепается:

— Сколько стоят пирожки?

— На золото, барышня, на золото меняем! А пахнет-то как! — приоткрыла полог корзины Анна Петровна. У румынки от горячего пряного духа закружилась голова, горло само собой стало делать глотательные движения. Чувствовала, что слюной исходит, давится. Аж сказать ничего не может.

Сняла золотое колечко, Анне Петровне передала, а та ей — три пирожка. Румынка не заметила, как их проглотила, заплакала:

— Как, всего три? Золотое колечко! У меня чахотка! Ради Бога!

— Пирожки ныне — тоже золото! — чёрство отвечала Анна Петровна, сама не понимая, почему застыло её сердце. — Хочешь ещё три — серёжки сымай!

— Всего три, всего три! — судорожно взглатывая, выдёргивала серёжки из ушей больная скрипачка. Никто не обратил внимания на её стенанья.

Двое мужиков в крестьянских шубейках, и третий, похожий на мастерового, в чёрном пальто с облезлым лисьим воротником, толковали вполголоса. Двое говорили с нерусским акцентом:

— Зачем, товарищ Соколов, вы назначать randevу на базар?

— Тут, в толпе, — лучше разговаривать. За всеми явками следят. Вы подумайте, товарищи Ян и Карл, сколько крючков: губернская охранка, контрразведка, сыскное при милиции, чешская контрразведка, каратели Сурова, Сосульникова, Лазова, Орлова. Сплошные уши и глаза.

Мы в нашей пятёрке посоветовались и решили, что в прошлом году восстание провалилось из-за неготовности. Нынче надо объединить и большевиков, и меньшевиков, и эсеров, и анархистов-синдикалистов, и всех сочувствующих. И денег надо добыть. В наше время — это немаловажно. Передайте вашей пятёрке, и дальше по цепи: выделить самых умелых и отчаянных людей для участия в эксках. Деньги — на дело революции. Эх, как пирожками вкусно пахнет! Аж слюной давишься. Ладно, я всё сказал. Следующая встреча здесь же через две недели...

Вскоре Томск облетела весть о налёте на особняк золотопромышленника Исаака Минского. Дом казался неприступным. Каждая плаха высоченного забора была увенчана кованой пикой. Во дворе бегали огромные лохматые псы.

Двери особняка были массивными и на ночь запирались изнутри мощными железными задвижками.

Заговорщики узнали, что Минский заказал в мастерских завода «Вулкан» огромный бронированный сейф. И вскоре возле ворот усадьбы золотопромышленника остановились сани, запряжённые двумя битюгами. Грузчики постучали в ворота:

— Заказ господина Минского готов! Отворяйте ворота, сейф весит десять пудов, надобно подвезти его к крыльцу.

Минский вышел с прислугой, на всякий случай спрятав в карман револьвер. Дворник придерживал псов, готовый в любую минуту спустить их с цепи. Минский прочёл документы, на них была печать завода и роспись управляющего. Тогда прибывшим было дозволено въехать в усадьбу.

Грузчики с трудом подняли сейф, положили на плахи, потащили волоком. Им помогала прислуга. Затащили гроссейф в прихожую, поставили там. Старший рабочий подал Минскому ключи и сказал:

— Механизм сейфа очень сложный, и требует особенного обращения. Не трогайте сейф до утра, пусть все пружины механизма после мороза хорошенько прогреются. Иначе сейф можно испортить...

Исаак расписался в бумагах, и заводчане удалились. Ночью, когда семья Минского и его прислуга мирно спали, сидевший внутри сейфа известный всему городу лилипут Лёня Крымов вылез из бронированного убежища. Лёня не был большевиком, он был шутником. Иногда он бродил зимой вечерами по главному проспекту, обращаясь ко всем встреченным молодым барынькам:

— Тётенька! Я хочу сделать пи-пи, ручки замёрзли, пиписку достать не могу! Иная сердобольная барынька расстёгивала ему ширинку и, увидев огромную пиписку, ошеломленно вопрошала:

— Мальчик? Сколько тебе лет?

— Тлидцать тли годика! — отвечал ошарашенной барыньке шутник Лёня.

Теперь Ленина шутка была не слишком безобидная. Он прислушался, определил, что все спят, вылез из сейфа, стал тихо отпирать тяжёлые засовы. Было ровно три часа ночи, самый крепкий сон. Именно это время и было Лёне назначено. Собак во дворе должен был ликвидировать лучник, взобравшийся на забор при помощи верёвочной лестницы. Одну из собак он только ранил, и она принялась выть. Экспроприаторы всё же успели преодолеть забор и войти прежде, чем домочадцы Минского окончательно проснулись. Первой вскочила с постели жена, завопила:

— Караул, грабят!

Но тут же получила молотком по темечку и свалилась замертво. Минский дрожащими руками стал шарить под подушкой револьвер, но увидел наведённые на него стволы и троих молодцов в карнавальных масках. Один имел личину льва, другой имел морду медведя, третий выступал в роли зайца. Вот этот самый «заяц» отвратительным басом сказал:

— Говори, подлец, где у тебя лежат ценности, под которые ты приготовил сейф. Иначе сами всё найдем, а из тебя кишки выпустим. И «заяц» для убедительности кольнул Минского кинжалом в самый пупок, не очень глубоко, но весьма ощутимо.

— Господа, господа! — лепетал Минский. — Не надо! Я всё скажу.

Этот ночной маскарад кончился тем, что погибла жена Минского, а из его дома увезли ценностей на пятьдесят тысяч рублей. Взяли золото, серебро, дамские украшения, бриллианты. Прихватили ещё две банки чёрной икры и пару бутылок коньяка.

Все свои следы экспроприаторы залили едкой кислотой и засыпали табаком.

— Так им и надо, бунтовать не будут. На то и Суров, чтобы быть суровым. Город скрипел промёрзшими тротуарами. Город хрипел и кашлял по закоулкам:

— Слыхали? — Минского ограбили, Анцелевича.

— Так им и надо! Всё их добро — ворованное!

— Слыхали? Суров по деревням крестьян порет и расстреливает.

— А говорят, что большевики нарочно Ленина в запломбированном вагоне привезли. Всех нас в плен немцу хотят сдать.

— Всё может быть. Обидно. А всего обиднее, что дров нет, и жрать хочется...

Большой переполох был в сыскном отделении, в охране и контрразведке. Шпики, переодетые нищими, бродили по всем базарам и прочим людным местам. Уже и весной запахло.

Боевые отряды красных готовы были захватить военную комендатуру, казарму, почту, телеграф, тюрьму. Ждали, когда раздастся взрыв фугаса в артиллерийской казарме около Лагерного сада. Не рассчитали, думали, услышат взрыв все подпольщики города. Но взрыв был слабым, хотя и погибло от него трое, да несколько человек было ранено.

Не услышавшие взрыва бойцы не пришли в условленное место. А солдаты юго-славянского полка отказались от ранее обещанной помощи повстанцам.

В доме Иосифа Якимовича по Ново-Кузнецкому ряду огорчённые вожди вполголоса обсуждали новые варианты томской революции. И после нескольких рюмок вина запели негромко:

— Смело мы в бой пойдём за власть Советов, И, как один, умрём в борьбе за это... В это время зазвенели стёкла окон, в которые просунулись рыла пулемётов, как бы сама собой слетела с петель дверь, и, кем-то закинутая под обеденный стол, с грохотом взорвалась граната.

— Умрёте все, как один, мать вашу! — гаркнул золотопогонник. Раненные взрывом в ноги, под прицелом многих стволов, некоторые вожди всё же попытались отстреливаться. Но их смяли, сбили на пол, связали.

Вождей пытали в контрразведке. Фёдору Соколову срезали часть кожи со спины и сломали лопатку. Михаилу Солдатову отрубили полступни. Иннокентию Григорьеву сломали позвоночник, прокололи шомполом уши. Шутили: мол, на том свете будешь серьги носить, морда твоя цыганская!

Вождям было больно, но они не хотели радовать врагов. Они теряли сознание, но не просили прощенья, лишь изредка глухо рычали, что вряд ли можно было принять за слабость. Иногда с их губ слетал мат. Ругались матерно и их истязатели. И те, и другие были русскими людьми. А вот нерусских — Яна Бредиса и Карла Ильмера — пытали так, что те не дожили даже до суда. Да и то сказать — разве есть на свете более терпеливые люди, чем русские? Скажем по секрету, что таких людей на свете нет.

42. Морозы, метели...

Первые морозы сменились оттепелью. В пасмурном небе над Томском из облаков вынырнул аэроплан с кругами на крыльях. Он появился, как привидение, и тут же исчез за стеной бора. Те, что видели его, могли думать всё что угодно. А в это время верховный правитель Александр Васильевич Колчак сошёл с аэроплана, приземлившись на расчищенной от снега поляне, и принял в свои руки красивую спутницу, Анну Тимирёвау, дочь ректора московской консерватории. На лесной дороге их уже ждал чёрный закрытый автомобиль. Гости покатали в сторону Томска. В этот день в зашторенном здании Макушинского просветительского Дома, занятого Николаевской военной академией генштаба России, состоялось секретное совещание Правителя с представителями интернациональных и сибирских военных группировок. Вырабатывались планы обороны. Рубеж по Иртышу нами проигран, противник рвётся к Оби. Александр Васильевич выслушал все мнения. И требовал держать рубеж по Оби. На дворе было уже темно, когда Правитель поместился в тот же чёрный автомобиль и отправился с подругой в старинное трактовое село Спасское. Небольшое — в две улицы — село протянулось вдоль реки Томи. В этом месте река делала резкий поворот, и как раз в излучине была поставлена небольшая, изумительной красоты церковка. За нею — заснеженная река с черневшими двумя островками у противоположного берега. Пахло хвоей, снежной свежестью. Лишь два-три огонька светилось в этот час во всей деревне. В церковном окне вздрагивал язычок слабой свечи. В свете месяца искрился лёд на реке. Большие белые хлопья медленно падали и бесшумно ложились на леса и поля. Правитель обнял Тимирёвау, прижал её к себе:

— Давай откроем те два необитаемых островка, один назовём островом Анны, другой — островом Александра, и будем там жить...

Ему и в самом деле захотелось забыть все дела, заботы, хотя бы на месяц, на день, на час... Уединиться с любимым существом на необитаемом острове. Но он смог вырвать у судьбы для себя лишь эти несколько минут для венчания в этой церквушке. Вот уже и батюшка зовёт, к венчанию всё готово.

Жених с невестой прошли в церковь, и сразу было возжено несколько толстых свечей. Священник начал своё действие, и, как нарочно, за окном завыл, закружил ветер.

— Всё как в повести Пушкина! — шепнул Александр Васильевич невесте. — Метель! Только у нас всё будет всерьёз. — Да, да! Метель! В сердце моём — сладостная метель! — согласилась она. Воспитанная на музыке, она жизнь воспринимает в звуках. Жених — рослый и стройный, с чертами лица мужественными, глава всей России, почти царь. В глазах — восточная мелодика. Стоит произнести фамилию «Колчак», тотчас вспоминается оперный хан Кончак. «У меня есть красавицы чудные...» Вот и она — его красавица... Ах, причём тут оперный хан! Морской офицер, открыватель земель. Человек чести. Управляет чуть не всей страной, а у самого нет ничего, кроме ордена, кортика и чемодана с бельём. Придёт время — и о нём напишут книги. Обязательно!..

Обряд венчания совершился ещё быстрее, чем в повести Пушкина. И вскоре автомобиль уже мчал возлюбленных в сторону станции, куда должен был прибыть поезд Колчака. Анна задремала.

Александр Васильевич задумался. Глубокая складка залегла меж бровей.

Главнокомандующий всех сибирских войск Александр Николаевич Гришин-Алмазов был у него в службе недолго. Повздорил с иностранными военными специалистами Ноксом и Жаненном. Поехал к Деникину. Решили: объединить фронты по югу России и двинуться на Москву. Антон Иванович тоже не прочь стать главным хозяином России... Многие мечтают, да руки коротки. Теперь Колчак назначил командующим генерала Сахарова. У опытного этого воина что-то не заладилось в последнее время.

Виктор Пепеляев, которого Колчак недавно назначил премьер-министром в надежде спасти положение, поклялся быть верным до конца. Но не лукавит ли? На сегодняшнем совещании его брат Анатолий Пепеляев всячески изругал генерала Сахарова, назвал его бездарностью и даже предателем, и требовал его смещения. Этот генерал, командующий сибирской армией, конечно, метит в военные министры. Но уж больно ярый! Возгордился. Покойный Николай Второй вручил ему личное георгиевское оружие — саблю с золотым эфесом. А томичи подарили ему красавца коня, с серебряными подковами и уздечкой. Ишь! Ганнибал. А может — каннибал? Он вместе с Потаниным давно проталкивает идею Сибирской республики. Но Александр Васильевич сурово указал место — и Потанину, и всем его последователям. Запретил все эти бело-зелёные флаги, особую форму сибирских стрелков, всю их дурацкую атрибутику. Россия единая и неделимая! Пришлось для острастки упрятать в кутузку нескольких сепаратистов, кое-кого там и замучили. Потанин был посажен под домашний арест. А его и красные сажали, и белые. Да старику вообще лучше сидеть дома на печке.

Генерала не посадишь. Особенно теперь. Виктор на пару дней остался в Томске. Обещал вскоре вернуться в поезд Колчака, и вместе с Правителем продолжать политику и дальнейший путь на восток. А вдруг да останется под крылышком у брата генерала? Да нет, вернётся. Пока у Колчака в поезде лежит золотой запас России, мало кто отшатнётся от него. Золото— магнит. И, возможно, удастся остановить наступление красных на рубеже Новониколаевска, Тайги, Томска. Пока же предстоят тревожные ночи и дни...

В канцелярии генерала Пепеляева со скрипом и стрекотом на ручных американских машинах с колесом-маховиком возникали воззвания и призывы к гражданам. За сибирскую родину! Бело-зелёные знамёна. Бело-зелёные шевроны. Бело-зелёные ленты на папахах. Таёжный запах! Лыжня. Нодья: костёр из двух лесин, разожжённый одной спичкой. Сон у нодьи под морозным звёздным небом. Белку бьём в глаз, кипятим снежную воду в казане. На лыжах обежим весь бело-зелёный мир! Хвойный воздух в лёгких и в сердце. Хвойная неувыдаемость. Наше особенное царство!

Запрещён выезд из города мужчин, способных носить оружие. Начальствовать должны уроженцы Сибири. Все силы — в один кулак! Даёшь новую Америку— со столицей в Томске! Перекрашивайтесь в бело-зелёное, розоватые, пунцовые, голубоватые и желтоватые, а красных лишь могила исправит! Томск был заморожен странной картиной. На станции Томск-второй на разных путях стояли бронепоезд генерала Пепеляева «За свободную Сибирь» и польский бронепоезд, на броне которого был нарисован белый орёл. На всех семи холмах Томска стояли мощные артиллерийские орудия, и хищно смотрели в разные стороны. По улицам катились броневики, вращая башнями и заглядывая стволами пулемётов в окна особняков и лачуг. Кто и с кем сражаться собирается? На всякий случай томичи запирали ставни и двери на все засовы.

У Гадалова в это время были гости. Он провёл гостей в свой зимний сад, где росли пальмы и кипарисы, показал упакованные в тюки товары. Анатолий Николаевич Пепеляев сказал ему и другим томским богачам:

— Уважаемые! Не надо никуда увозить товары из Томска. В случае чего — закопайте, и уезжайте лёгкими санками. Вся наша земля— клад. Никому не отдадим! Подниму в Красноярском крае сорок тыщ бойцов, и верну город, верну достояние...

Поднялись в столовую, где былолюдно и были накрыты столы. Первый тост произнёс генерал-лейтенант, он сказал русским и нерусским:

— Выпьем за сибиряков. На них надеюсь. Поднимем знамя отделения от России. Юзек Пилсудский в томском тюремном замке и в ссылке измыслил путь к свободе. И генерал Маннергейм тоже отделил свои леса и болота. Мы, сибиряки, — такая же колония России, что и Польша, и Финляндия. Сибиряки меня поймут, и пополнят мою армию!

Поляки: полковник, начальник штаба Валерьян Чума, полковник Константин Рымша, оставив опустошённые бокалы, подкручивали усы. Корпус польских легионеров в пятнадцать тысяч штыков их ждёт на станции Коль-чугино. Покажем красным, пся крив!*

Иннокентий Иванович посмотрел на картину Васнецова «Три богатыря», и ему теперь показалось, что главный богатырь, Добрыня Никитич — это он сам, Гадалов. Илья Муромец, конечно, — Анатолий Николаевич Пепеляев, Алёша Попович — штабс-капитан Суслов, который держит бокал чёрными, отмороженными пальцами. Суслов в дни, когда Блюхер подошёл к Тобольску, получил приказ Колчака эвакуировать ценности из Тобольского банка в Томск. Пароход «Пермяк» отправился из Тобольска в октябре. Ударил морозы. В районе Сургута судно вмёрзло в лёд. Штабс-капитан с двумя солдатами часть ценного груза отвёз на санях в тайгу, закопал в курганах. Солдаты потом были награждены двумя бутылками денатурата, от которого и померли. Более лёгкая часть ценного груза только что доставлена в Томск и сдана Пепеляеву, спрятана в подвале собора. Там хранятся никому пока не вручённые серебряные и золотые ордена «За освобождение России» — с изображённой на них птицей Феникс, «За освобождение Сибири» — с крупной стилизованной снежинкой, кедровыми шишками, соболями, луками, головами мамонтов.

— Где же твой защитничек Гайда? А, Василий Петрович? — обратился Гадалов к Вытнову. — Ты же ему палаш с серебряной цепью и гербом Томска подарил! — Вытнов промолчал, а Пепеляев сказал:

— Мне этот выскочка с первого взгляда не понравился. Верховного он своими выходками и гордыней так допёк, что тот снял его с должности командира корпуса. Чешский проходимец не растерялся, погрузил своих людей в эшелон и двинулся на восток. Слышать, некоторые реквизиции устраивает на станциях. На чужой земле чего стесняться? Надеяться мы можем только на свои таёжные, глубинные силы.

Поздней ночью поляки и прочие приглашённые ушли. Остались Пепеляев, Суслов и Гадалов. Последний сказал старшему приказчику:

— Фартуки, кирпичи, раствор — всё готово?

* Пся крев — польское ругательство.

Все спустились в подвальное помещение, Гадалов отпер железную дверь и пошёл впереди с карбидной лампой. За ним шли штабс-капитан Суслов, генерал Пепеляев. Он знал, что подземный ход приведёт их в подвалы Троицкого собора, подвалы эти устроены с боковыми ответвлениями, с лабиринтами, с железными дверьми.

Вскоре оказались в помещении, где были сложены привезённые Сусловым ценности. Всё было упаковано в ящики, в которых обычно лежали брикеты особого анжерского угля. Он хранился в подвалах собора, и, когда было нужно, к каждой соборной печке приносили по ящику. Аккуратно упакованные брикеты позволяли обойтись без мусора и пыли.

— Ну, братцы, надеваем фартуки, берём мастерки, выкладываем стенку, пока раствор не застыл, — сказал спутникам Гадалов. — Кирпича не жалейте, стенка должна быть в четыре кирпича толщиной. Поторопимся!

Стенка выросла в считанные минуты.

Наутро бронепоезд «За свободную Сибирь» унёс генерала из Томска. Маршрута не знал никто кроме самого генерала. Колчак со своим поездом двинулся дальше на восток, и, значит, — утратил ещё часть власти. Теперь был смысл вступить с ним в новые переговоры. Но сначала...

На станции Тайга в ресторане вокзала состоялась встреча братьев Пепеляевых с генерал-лейтенантом Сахаровым. Пушки бронепоезда «За свободную Сибирь» повернулись в сторону ресторанных окон. Двадцативосьмилетний энергичный генерал-лейтенант Анатолий Пепеляев вынул наган из кармана, положил на стол перед собой, сказал Сахарову:

— Константин Васильевич, вы обвиняетесь в преступной сдаче красным Омска, в неумении управлять войсками. Вы арестованы и отстранены от должности. Сдайте личное оружие.

— Вы с ума сошли! Я охрану вызову! — воскликнул Сахаров.

— Вызывайте! Пушки моего бронепоезда и пулемёты направлены на ресторан. Я прикажу стрелять, и погибну вместе с вами! — выкрикнул Анатолий, и было в этом столько ярости, что Сахаров смирился и сдал оружие.

Через несколько часов в поезде Колчака братья Пепеляевы предложили свой план спасения России.

— Александр Васильевич! Отдавайте власть Семёнову либо Деникину, а мы поднимем бело-зелёное знамя независимой Сибири, с этим и победим. Без этого сибирского мужика не поднимешь сейчас, а только он и может спасти родину! Ведь сибирской мужик за свою тайгу, за свои родные заимки, наделы и пасеки всю кровь по капле отдаст! А бывали времена — он и Наполеона бил! — убеждал Верховного Анатолий Пепеляев. Брат Виктор ему поддакивал. В ушах Верховного, как раскалённые угольки, вспыхивали слова, фразы: «...отречение, сибирский земский собор, парламент, главнокомандующий Пепеляев, президент Потанин...».

Колчак провёл ладонью по лицу. Как бы в тумане всплывает нелепый давешний сон. Звон колоколов, и кто-то говорит ему: «Ваше величество, прибыла государыня императрица!». И в алмазном венце, с распостёртыми руками навстречу ему летит Тимирёва. Именно летит, не касаясь подошвами пола. И он принимает её в объятия.

Станный сон, проклятый сон. Не к добру это. Он стряхнул ладонью с лица это виденье и негромко сказал:

— Единую и неделимую не предам...

Анатолий Николаевич вернулся в Томск ни с чем. Теперь пришла пора совершить подвиг. Была дана шифрованная телеграмма Константину Рымше. Пусть, как договорились, поляки ударят по Новониколаевску с юга, Пепеляев со своим войском нажмёт с севера. Падёт Новониколаевск, и число сибирских войск начнёт расти как на дрожжах.

Но вскоре донесли: разведка противника едет к Томску на сытых конях, растопырив ноги в красных наградных шароварах и в длинных чалдонских валенках, вдетых в особливые широкие стремяна. Катится к Томску и остальное войско, и великое множество пушек на конной тяге. И этому войску конца-края не видно.

На рассвете отстучал телеграф. Анатолий Николаевич Пепеляев ходил по кабинету Гадалова, прикуривая одну папиросу от другой. Поляки, как и обещали, ударили с юга. Восемь часов поляки сдерживали наступление красных на станции Тайга. Надежда поляков была на то, что генерал-лейтенант поддержит их. Но он не смог им помочь. В Томске взбунтовался венгерский полк. Не сдержали слова эсеры. Измена была и внутри штаба Пепеляева.

Поляки погибли, но не отступили. Гордость не велела.

— Ну, прости, Иннокентий Иванович, ежели что не так. На войне не всегда всё идёт по плану. Бери лучших лошадей, уезжай с семьёй побыстрей. Двигайся на Красноярск. Я с верными людьми, с малым отрядом пойду напрямик через тайгу. Мне надо избежать окружения. Но мы вернёмся, и всё вернём! Будь здоров!

Анатолий Николаевич надел поданную ему денщиком собачью доху, надел и косматую собачью шапку. Вышел во двор с небольшим саквояжем. У внутреннего подъезда стояло несколько простых крестьянских саней, в них полулежали люди в крестьянских пимах и тулупах, и большинство было, как и Пепеляев, в собачьих шапках. По виду этих людей можно было принять за крестьян, но их стать и осанка внимательному глазу могли бы сказать, что люди эти — вовсе не крестьяне. Поклажа в санях тоже была укрыта собачьими дохами. Сани со свистом помчались по окраинным улицам за город, в неизвестность. Но на одной из улиц генерала и его спутников всё же узнали, завопили:

— Стой, сволочь, не сбежишь!

Пули засвистели над головами отъезжавших. Но и с саней тотчас застрочили пулемёты. Офицеры дело знали: плотным огнём очистили себе дорогу. Пепеляев снял собачью шапку и показал пару следов от пуль:

— Повезло! Шапку попортили, а голова цела. Отбились. Обидно, что по своим же стрелять пришлось...

А вскоре в Томск вошли покрытые инеем красноармейцы тридцатой дивизии пятой армии. Кто научил красных командиров побеждать адмиралов и генерал-лейтенантов? Бог, классовая ненависть? Простым везением их успех не объяснишь. И, как всегда, при перемене власти вчерашние хозяева жизни превратились в тварей дрожащих, а вчерашние дрожащие твари стали хозяевами всего. Томские тюрьмы, исторгнув из своих недр сторонников советской власти, тотчас же приняли в своё нутро её противников.

Были странные дни и ночи. Дрожание в запертых домах. Шёпот:

— Ей-богу, сам видел! Да-да! Красные со всего города собрали офицеров, ремни с них снимали, велели им казнённых рабочих из разных захоронений выкапывать, а затем снова хоронить, но уже возле собора, на площади, которую нынче нарекли площадью Революции. Белогвардейцам предложенная им работа не понравилась, побросали лопаты — мол, сами своих мертвецов закапывайте. Комиссары говорят: «Ах, так!» — И погнали сердешных по бульжному проспекту, мимо университета, где многие из них когда-то учились, да прямо на мыс Боец. Поставили у обрыва:

«Вот вы у нас сейчас, как ангелы, полетите, да только не вверх, а вниз!» Ну, понятно, всех постреляли... В другом доме другой рассказ:

— В деревню за молоком ходил. Смотрю: юнкерское училище из города в полном составе уходит. Красные колонну остановили, офицеров отделили, тут же и расстреляли. А юнкеров загнали в кирпичный завод Рубинштейна. Дескать, баня тут будет. Снимайте всё! Через какое то время пулемёты заговорили. Затем выехала с завода интендантская фура, гружённая шинелями, гимнастёрками, сапогами. Красноармейцы смеются: «Сукно доброе, сапоги новые!».

При выселении непролетарских семейств из хороших домов некоторые главы семейств сопротивлялись, отстреливались из ружей, рубили комиссаров топорами и пашками. То на одном, то на другом занятом пролетариями доме ночами появлялись плакаты: «Отомстим!». По городу бродили тощие оборванцы, замерзали и падали в сугробы. В морозные ночи прояснивало, и печальная луна смотрела на деяния людей. Руки застывших в сугробах трупов с мольбой простираются к небу. А вот в огромной заснеженной роще возле университета, по соседству с вывезенными из хакасских степей древними каменными истуканами, торчат ноги в белых чулках. Кто там погиб— гимназистка, курсистка? Кто станет разбираться, трупы — на каждой улице.

Магдалина Брониславовна Вериго-Чудновская, поэтесса, с ужасом и восторгом смотрела в заледеневшее оконце на морозный Томск, называя его в стихах столицей снега, воронкой Мальстрёма. Но этому суровому времени нужны были не поэты. В городе появились таблички двух ранее неизвестных учреждений «ЧЕКАТИФ» и «ЧЕКАТРУП». И пришли под эти вывески томские профессора, и заявили, что нужно немедленно запускать печи Михайловских кирпичных заводов, и сжигать трупы, пока не наступила весна. Иначе разразится такая эпидемия, которая не отличает белых от красных, и весь город вымрет за несколько месяцев.

По городу в чёрных балахонах и в чёрных масках шагали специалисты по уборке и сжиганию трупов. Страшны единичные смерти. Смерть в огромных количествах— притупляет обоняние, зрение и нервы. Членам уборочных бригад полагался усиленный паёк: полкило хлеба в день и пять картошек каждому работнику. Страшный урожай они собирали уже совершенно спокойно, совсем ничего не страшась, жалея только, что мало дают хлеба.

Возле здания бывшего губернского суда стоял молоденький часовой, придерживая замёрзшей рукой винтовку со штыком. Он внимательно смотрел на статую, размещённую на фронте здания. Это была женщина с завязанными глазами, в одной руке у неё были весы, а в другой — меч.

Мимо проходил неизвестный оборванец, заметил интерес часового и сказал:

— Глупости!

— Это почему? — спросил часовой.

— А потому! Фемида — это богиня правосудия, которая сидит с завязанными глазами и с весами. Немезида же — крылатая, и с открытыми глазами, и с мечом в руке, потому что она — богиня возмездия. Это же — непонятная мадам. Весы ей дали сломанные, глаза завязали, меч всучили здоровенный, она и рубит своим мечом, не глядя, кого ни попадя!

— Иди-ка ты отсюда, пока тебя штыком не пощекотал! — сказал часовой.
— Ходишь, врёшь чё попало!..

Часовой был не местный, и не знал, что в Томске и оборванцы бывают шибко умные.

43. Травяной чай

В Петрограде, в доме с наружными железными лестницами, на третьем этаже, в 1919 году снял комнату гражданин по фамилии Манин. Ходил он в скромном сером костюме и чёрном пальто, по виду его можно было принять за отставного преподавателя. Ежедневно его навещал глазастый брюнет, одетый в кожаную куртку, в поношенные галифе и сапоги. Так тогда одевались многие люди. И агенты чека, и бандиты, и интеллигенты. Война с Германией, а затем и гражданская война привели к тому, что штатского платья в стране стало мало, а военного — наоборот. Галифе, френчи, гимнастёрки, бушлаты заполнили Невский проспект.

Брюнет, прежде чем пойти к Манину, каждый раз долго стоял напротив его дома, высматривал что-то, как говорится, вынюхивал. Потом с оглядкой поднимался по железной лестнице.

Обстановка в комнате Манина состояла из стола, трёх стульев и старой деревянной кровати. Была ещё окрашенная половой краской книжная полка, на которой стояли книги по физике. И каждый, кто входил в комнату, мог понять, что Манин имеет к физике какое-то отношение.

Брюнет постучал особенным стуком: три удара — пауза, один удар — пауза и опять — три удара.

Манин произнёс за дверью традиционное: «Кто там?».

Пришелец весело ответил:

— Свои, Загоренко!

— А-а! Украинец! Заходите! — Манин отодвинул щеколду и снял цепочку.

— Чаю хотите? — спросил гостя Манин.

— Чай-то у вас наверняка травяной? Ну ладно, наливайте! — согласился брюнет.

— Нынче и травяной чай можно за благо почесть, — сказал Манин, — разорили Россию дочиста. Верите — нет, как вор, ночью отдирает плаху от забора в каком-то переулке, чтобы принести её сюда, расщепить, и варить на печке-буржуйке чай. Ну и названьице печке дали! Буржуи разве такими печами когда пользовались?

— Я не понимаю вас, господин Манин. Чего вы тянете время при таком-то раскладе? Зря вы не хотите открыть мне ваши петербургские тайники. Сегодня я смогу вас спокойно перевести через границу, потому что я — граф Загорский, парапсихолог, знаток чёрной и белой магии, и могу отводить глаза. Я вас переведу за очень скромную плату. Матильда Ивановна, госпожа Хотимская-Витте, как бывшая начальница всей пограничной охраны России, знакомая пограничникам, давно уже слиняла через контрольную полосу, и где-то там лопают шампанское — в Стокгольме, в Копенгагене, а может, и в Париже.

Объясните, чего вы ждёте? Расстрела? Ведь мышеловка скоро захлопнется! Большевики окрепнут, и первое, что они сделают, — закроют границу огромным висячим замком. А ключ при каждом обороте будет петь «Интернационал»! Опомнитесь, Иван Фёдорович! Нет более царя-батюшки, нет вашего друга и

заступника Гриши Распутина. Чекисты не сегодня-завтра скажут: «Никакой вы не Манин, а самый настоящий Манасевич-Мануйлов!». И ваши заначки в Питере, или где-то ещё, — пропадут. Давайте-ка перейдём границу. На той стороне вы дадите мне адреса ваших заначек, я их заучу, как таблицу умножения, и потом в несколько приёмов перетащу ваши богатства через запретную черту. Вам это почти ничего не будет стоить, просто возьмёте мне билет на пароход до Америки. Вот и всё.

— Нет! — проскрипел Иван Фёдорович. — Я не могу сейчас уйти. Мне из Сибири должны привезти ценную картину. Я должен отдать её до поры в верные руки...

— Фи, какой несговорчивый! Поверьте, без меня вы погибнете от пограничной пули. А я вас мигом переведу, сниму вам дачку у знакомого чухонца. И вскоре все ценности будут у вас.

— Картину жду, редкостная очень... — повторил Манасевич.

— Картину? — переспросил Загоренко-Загорский. — А что за картина такая?..

Они пили чай, беседовали, как вдруг в дверь постучали.

— Кто там? — тревожно спросил Манасевич-Манин.

— Из томского города, «Прощаль» доставил! — сказал голос за дверью. Манасевич, ощупывая револьвер в заднем кармане, отпер дверь, не снимая цепочки, выглянул в щелку.

Перед дверью стояли мужик и девушка, держа огромный рулон.

— Союз русского народа! — вполголоса сообщил старик. — Россия для россиян, и Бог с нами!

— Проходите.

Старик был одет в сермягу и лапти, девушка была в драной душегрее, в платье из грубой серой материи, в стоптанных башмаках. Её хорошенькая головка была повязана красной косынкой и старой шалью.

Дед Варсанофий пояснил:

— Сначала были одеты прилично. Три раза нас с поезда снимали, как чуждый элемент. «Прощалию» пытались отнять. Потом я сменил одежду. Станут лезть: «Куда едешь, что везёшь?» — отвечаю: мол, бабушке в деревню холсты везём, выменяли на картошку. Смычка города с деревней. Ну, оно и ничего. Доехали.

А тут я ни в какие трамваи, омнибусы садиться не стал. Да в них с «Прощалией» и не влезешь. У вас в вокзале карта Петрограда висит. Ну, я взглядом её на квадраты разбил. Сначала в одном квадрате ищу — где господин Манасевич? Так, в этом квадрате нет, перехожу к следующему. Нашёл. Чувствую — тут где-то! И пошли с Алёной, рулон этот тяжеленный тянем. И вот дошли по Невскому до сего дома. С адресом в бумажке сверился — точно! Может ещё кое-что старик Варсанофий! Умеет!

Иван Фёдорович Манасевич приказал развернуть картину. И зрители увидели залитую лунным светом рощу, огромный глаз, висевший на зелёной ветке берёзы, из глаза капали крупные хрустальные слёзы. Внизу картины была птичка, привязанная за ножку к фонарному столбу, она рвалась к глазу, норовя клюнуть его...

— Да, — сказал граф Загорский, — впечатляет! — А сам при этом смотрел не столько на картину, сколько на Алёну.

— Кучерявый! — вскричал Варсанофий, причём лицо его в момент покрылось красными волдырями. — Ты на Алёну шибко-то не пялься, не то я у тебя глаз выну и на ту же ветку подвешу! — И ты, Алёна, чего на него воззрилась? Ты не знаешь, а я помню, — в томских газетах его смазливое личико печатали. Он с молодых, красивых и глупых, как ты, бабёнок всю кровь дотла высасывал, поняла? Потом сбежал. Его полиция искала, а он вон где!

Загорский сделал вид, что не слышит старика, и обратился к Манасевичу:

— До свидания, Иван Фёдорович! Как только вы пристроите картину у своих людей, и как только ваши гости отбудут обратно в Сибирь, я снова буду у вас. Тогда мы без проволочек устроим переход. Помните, затягивать с этим делом — опасно...

Загорский ушёл, а Варсанофий осенил дверь крестным знаменем:

— Чует кошка, чьё мясо съела. Небось сразу слинял отсюда. Иудей, его же сразу видно. Ваше превосходительство! Не доверяйте поганцу! Я — истинно русский человек, и мне богом тоже особливая сила дана. Но я с девок кровь не сосу, я их по божьему предназначению использую. А вот глаза отвести не хуже этого пархатого умею.

— Он не еврей, он хорват! — заступился за графа Манасевич. — А ты даже и не знаешь, где она, эта граница, находится, и с чем её едят.

— Знаю, ваше превосходительство! Я сквозь стены всё вижу на десять вёрст вперёд, я всех brunetов бляндинами делаю.

— Это в Питере многие парикмахеры могут — волосы перекрашивать.

— Так они — краской, а я взглядом, и с божьей помощью.

— Меня, к примеру, ты перекрасить смог бы? — поинтересовался в шутку Манасевич.:

Дед тотчас стал смотреть ему в переносицу. Смотрел, смотрел, дунул, плюнул, сказал: — Подите к зеркалу!

Иван Фёдорович глянул в зеркало — и отшатнулся:

— Ты что же наделал, чудак! Зачем же ты из меня такого сверхблондина изобразил? Я слезки стараюсь избежать, живу тише мыши, а теперь скажут: перекрасился, значит, скрывается от кого-то! Давай возвращай меня в прежний вид!

— Извиняйте, но могу только в одну сторону. Да вы не печальтесь, может, оно потом само пройдёт!

— Когда пройдёт?

— Не знаю! Я только недавно перекрашивать людей в бляндинов начал. Далёкого результата пока не видел.

— Ну а насчёт перехода через границу — ручаешься?

— Чтоб мне мужской силы лишиться, ежели вру!

— Ну и клятва! Ты ведь пожилой уже.

— Мало ли что. Ну Богом клянусь, отцом нашим!

— Хорошо, дня два-три поживёте у меня. Я тут побываю в некоторых домах, кое-что лёгкое заберу, так чтоб идти с одним маленьким саквояжиком. Россия не

погибнет! Пока за границей будем силы собирать, чтоб спасти её от красной заразы!

— Точно! — подтвердил Варсанофий. — Спасти матушку Расею от жидов и масонов. Все комиссары — пархатые, чесноком воняют...

Через три дня около финской границы шагали они с мешками на спинах, поверх одежды надеты были на них специально изготовленные колдуном балахоны, связанные из хвойных ветвей.

— Помалу, помалу! — повторял Варсанофий. — Ступайте, чтоб ни одна ветка не хрустнула.

— Стой! Кто идёт! — внезапно раздался окрик.

— Это они заметили вспугнутых нами птичек. Замрите, как снопы, они сейчас сюды смотрят через бинокляр.

Вдруг вспыхнувший луч прожектора ударил Манасевичу прямо в очки. Иван Фёдорович света не вытерпел, и заскакал по кочкам, как козёл. Иногда он поскальзывался, разбивал болотный лёд, с трудом распрямляя вновь длинные ноги.

— Стой, стрелять буду! — прозвучало ещё раз. Грохнул выстрел, и Манасевич упал. Прожектор переместился в место его падения.

— Алёна! Пора когти рвать, ползком, ползком! — хрипел в ухо девушке Варсанофий.

На финской стороне они вышли на луг со стожком. Потом увидели крытый черепицей дом и примкнувшие к нему аккуратные сараи. В конюшне лошади мирно хрупали овёс.

— Обойдём сторонкой, надо подальше от границы отойти, чтоб никто не сумлевался.

— Чё же теперь делать будем в чужедальной сторонушке? — запричитала Алёна.

— Чё делать, чё делать! — передразнил её Варсанофий. — Ты благодари Господа Бога, что жива осталась. А Финляндия — какая чужедальная сторона? Ещё недавно она была нашей, расейской, тут почти весь народ балакает по-русски.

— Ивана Фёдоровича жалко!

— Жалко брильянтов, которые у него в мешке были, теперь это добро комиссарам досталось. Но какой-то ломоть серебряных и золотых фитюлек он и в мой мешок положил. Поживём! Из лаптей в лаковую обувь переобуемся. Шампань жрать будем, коньяки, жить во дворцах будем! А ты — Иван Фёдорович! Хрен с ним, с Иваном Фёдоровичем! Было ихнее время, теперь стало — наше! Так два бывших томича стали жить в Финляндии. Граф Загорский, видимо, тоже перешёл границу.

Следователь Кузичкин давно вернулся в Москву, но о сбежавшем кровососе не забыл. Он перечитывал всю российскую и всю доступную ему зарубежную прессу. И, конечно, он обратил внимание на заметку, в которой говорилось, что в Австрии полиция безуспешно ищет маньяка-вампира, убившего с десятка два юных женщин. «Эге, вот ты где, голубчик!» — подумал Кузичкин. А через какое-то время прочёл, что эпидемия подобных убийств в Австрии стихла, зато забушевала в Аргентине.

«Ну и пруть!» — сказал Кузичкин. Но больше заметок о подобных событиях он уже не находил. «То ли его уколошили, то ли посадили!» — решил Кузичкин.

44. Всякому — своё

Пришла в Томск весна 1920 года. Штабеля трупов на крутом берегу речки Ушайки теперь горели днём и ночью, насыщая округу смрадом и заглушая запахи клейких тополиных и берёзовых почек и вербных шишек, которые сияли над водой, как малые свечи. И была надежда, что вскоре всё мёртвое сгорит дотла и всё живое восторжествует.

В доме напротив университета в эти дни поселилась скорбь. Уже стало известно, что был расстрелян выросший в этом доме Виктор Николаевич Пепеляев.

Поезд Верховного правителя Александра Васильевича Колчака, адмирала, бывшего полярного исследователя, гидролога, бывшего командующего Черноморским военным флотом, и т. д. и т. п., после разгрома белогвардейских войск был взят под охрану чехословацким корпусом в Нижнеудинске. Коварные чехи выдали адмирала большевикам в обмен на право проехать поездом во Владивосток, чтобы затем вернуться на пароходе к себе на родину.

Большевики перевезли адмирала в Иркутск. Без суда, на основании постановления Иркутского ревкома, Колчака и Пепеляева вывели на расстрел на лёд таёжной речки Ушаковки, и поставили возле проруби. Виктору Пепеляеву тогда только что исполнилось тридцать четыре. Всего полтора месяца Виктор Николаевич выполнял обязанности премьера в колчаковском правительстве. При прочтении приговора перед ним, как в киноаппарате лента, прокрутилась вся его жизнь. И это — всё?

Он, прошептал:

— Как глупо, вот так уйти в тридцать четыре года!

— Бросьте! Сатурн пожирает своих детей! — сказал Колчак, докуривая папиросу, воткнутую в красивый наборный мундштук. — Вам — тридцать четыре, мне — сорок шесть, в сравнении с вечностью и то, и другое — пустяк...

Грянул залп. Виктора Николаевича не стало, а дом, где он родился в Томске, остался. Дома переживают людей, дома почти никогда не делают никому зла. А люди — делают. Иногда они бывают уверены, что творят своё зло во имя высших благ и высших целей. И только где-нибудь у обрыва или проруби перед лицом неминуемой смерти начинают стенать и каяться.

Летом 1920 года на восемьдесят пятом году жизни в университетской клинике скончался Григорий Николаевич Потанин — первый почётный гражданин Сибири, совесть и гордость «Сибирских Афин». В такие годы мужская сила превращается в свою противоположность, воспаляется всё, что может, и всё, что не может воспалиться.

Но мысли, выработанные могучим мозгом, не могут воспалиться и умереть. Метрополия забирает себе из наших недр золото и алмазы, чтобы затем чеканить ордена и деньги для жителей своих столиц. Наши рабочие, учёные, поэты и художники ничуть не хуже ваших, почему же они должны жить хуже? Длинная зима, короткое лето, до сих пор ссылаемые в Сибирь преступники — это, что ли, награда за все наши адские труды? Впрочем, не слышали раньше, не слышат и

теперь. Остаётся надеяться на будущее. А мы, как было во все войны, будем в нужное время приходить на фронты и прикрывать грудью — страну, Россию, Родину.

Многие бывшие богатеи удрали из Томска. В Монголию уехали, в Китай. Дорога туда торговым людям и прежде была знакома. Ушли и военные. В том числе и генерал-лейтенант Анатолий Николаевич Пепеляев. Теперь где-нибудь в Харбине официант в синем халате в обед спрашивает его:

— Тебя чего хотиза есть?

А чего хочется русскому человеку на чужбине? Ему «хотиза есть» видеть родной дом, родные лица, справлять масленицу и Пасху. Дышать воздухом хвои, мчаться на лыжах в метель и пургу. Родина есть родина. Потому-то некоторые бывшие богатеи остались в Томске, несмотря на то, что их могли и в тюрьму упрятать, и расстрелять.

Иван Васильевич Смирнов получил комнатку в одном из бывших своих доходных домов и устроился извозчиком в горжилкомхоз. За исполнительность, опрятность, большую физическую силу, которая извозчику весьма нужна, чтобы вытаскивать застрявший экипаж из грязи, Ивана Васильевича назначили возить самого начальника жилкомхоза.

Суровый и важный начальник в полувоенном шерстяном костюме появлялся на крыльце, и Иван Васильевич специальной щёткой чистил и без того чистое сиденье. Затем он услужливо подсаживал начальника, и быстро вспрыгивал на своё сиденье:

— Н-но, залётные!

Одного не любил Иван Васильевич: расспросов про его прошлую жизнь. Он стремился поскорее стать настоящим пролетарием, тружеником, передовиком, может, даже ударником.

И всё же прошлое иногда из него выплёскивалось. Был во дворе усадьбы восьмиочковый сортир, который жильцы должны были чистить по очереди. Иван Васильевич исправно отбывал свою очередь, но на другой день сортир оказывался загаженным до того, что до очка нужно было добираться через горы дерьма. В усадьбе было много людей. Вновь чистить сортир очередь Ивана Васильевича подходила лишь через полтора месяца. Не мог же он всё это время пользоваться загаженным сортиром? Не мог. Но и очищать эти авгиевы конюшни ежедневно он не имел ни сил, ни времени, ни желания. И тогда он построил себе маленький сортирчик в одно очко, в глухом углу усадьбы среди зарослей лопухов, калины и шиповника. Навесил на дверцу небольшой замок. Уже через день этот замок сбили, и персональный сортирчик весь загадили. Упрямый старик принёс большой амбарный замок. И этот сбили. Тогда Смирнов привёл от знакомых большую лохматую овчарку и посадил на цепь возле сортира.

Он не понимал, что сделал большую ошибку. Тотчас же собрание гневно заклеямило его, как гнусного частного собственника, который травит общество собакой. Газета «Знамя Революции» поместила фельетон: «Собственник разбушевался». Его поведение разбирали на собрании горжилкомхоза, причём кто-то из служащих сказал:

— Чего от него ждать, от снохача! Собственного сына до самоубийства довёл. Говорят, тень Вани до сих пор бродит по его бывшему дворцу, и в двенадцать ночи заходит в его бывшую спальню, и вздыхает, плачет, кричит. Даже сторожа на улице пугаются.

Иван Васильевич всё стерпел. Покаялся. Сломал персональный сортир. И стал ходить для облегчения своего организма летом на различные близкие к его дому пустыри. Зимой он облегчался в своей комнатухе в поганое ведро, содержимое которого выносил на те же пустыри.

Впрочем, вскоре большевистский главный вождь объявил новую экономическую политику. И базары ожили. Летом на центральном рынке прямо на земле стояла чугунная печка, на ней какой-то шустряк неизвестно из чего варил конфеты, и тут же продавал, прямо горячими. Здесь же крутили в бочке мороженое, и сразу продавали его. Оно было чуть сладким и пахло рыбьим клеем. По дворам ходили точильщики со своими деревянными переносными станками. «Ножи, ножницы точить!», «Шурум-бурум берём!» — орал старьёвщики-татары.

Мастеровые делали кадки, разные лоханки — тоже с утра начинали стучать. Гармонные мастера наяривали на гармошках забористые мелодии.

Иван Васильевич глядел на эту суету без зависти. Перегорело. Не хотелось снова начинать с пустого места. Да ведь опять отберут! Лучше уж возить начальника. Смирнова покритиковали, он исправился. Очень такой общественный человек. Даже газету «Знамя революции» выписал, и на Красную армию, и на комсомол, и на спортивные общества деньги отчислять стал.

Ну, не миллионер он, не хозяин, зато как тополями и хвоей пахнет по весне! И бураны зимой какие приятные! В Громовскую баню не в номера ходит, а в общее отделение.

Если его спрашивают: «Иван Васильевич! Почему же — не в номера?» — отвечает:

— Зачем? Туда пускай идут у кого язвы, или другой изъян на теле, а у меня тело здоровое, чистое!

— Да уж, вы прямо богатырь, Иван Васильевич, годы вас не берут, красавец!

— Какой уж есть.

Жить на родине ему радостно, только вот мимо своего бывшего дворца никогда не ходит и не ездит. Славно ему жить. Не убили, не расстреляли. Поругали, так это — как с гуся вода. Кто он? Просто извозчик. Возит начальника. Хорошо возит. Не было никаких кутежей в Благородном собрании, не было дворцов, дач, автомобиля роскошного не было, он даже не знает, как им управлять. Кнут и вожжи — всё его дело. Не было золота, взяток чиновникам, подарков губернатору, взносов на богадельни, дальних коммерческих поездок в Монголию и Китай. Теперь вот у него китайский язык пропадает зря. Не с кем на нём поговорить, как, бывало, говорили с Гадаловым. Недавно встретил Ли Ханя, заговорил с ним по-китайски, а тот на чистом русском языке отвечает:

— Зачем по-китайски. Мы теперь председатель артели «Вперёд», наш коллектив вступил в соревнованию за перевыполнения плана изготовить стулья, зонтики, и собрать много утильсырьё. И жонка у меня русская — Танюша, и сын у меня русский — Ванюша. Зачем — по-китайски?..

Да, а Гадалов-то, Пепеляев и многие другие на чужбине, поди, сильно скучают по своей малой родине, и по большой? Ивану Васильевичу стало их очень жалко. Как же им без наших кедров и елей? Как им без быстрой глубоководной реки Томи? Без ночной ухи на берегу из только что пойманных окуней и ершей? Без нашей буйной черёмухи по весне? И неизвестно, где и кто теперь пристроился. Уехали на восток — и всё.

Стал для души Смирнов птичками заниматься. Острагивал тоненько деревянные спицы и перекладинки. И из них сооружал без клея и гвоздей ловушки для птиц и садки. В комнате у него в прекрасных садках прыгали по жёрдочкам чечётки, щеглы, свистели и щебетали. В каждой садке были солонки с водой и коноплём. Кушайте, птички, это скрасит неволю! А в большой клетке, конструкцией напоминавшей княжеский терем, жил учёный скворец, который очень хорошо и на все лады произносил слово «курва». И так грассировал, так перекачивал букву «р», что иной аристократ позавидовал бы. Да где они теперь, эти аристократы? И кого ругал скворец — неизвестно. Впрочем, может, скворец был вещим и предвидел 1937 год?

В этом году всем жильцам города Томска было объявлено: жильцы должны обновить таблички с названиями улиц и номерами домов, и обязательно вечерами включать лампочки для хорошего освещения номеров. Это улучшит доставку почты, облегчит работу пожарников и прочих служб. Всё — для блага человека! Всё во имя человека! Это было написано в газетах. На самом деле начальник городского отдела НКВД Овчинников получил директиву арестовывать врагов народа максимально быстро, и так, чтобы это не портило настроения широких масс трудящихся.

По ночам энкаведисты шли, заглядывая в списки, быстро находили нужные дома, стучали — дескать, проверка документов. И ночные аресты, и обыски чаще всего проходили без шума и крика. Во тьме, в тишине вели арестованных до ближайшего домзак*, конвоиры говорили шёпотом, чтобы и арестованных настроить на мирную тишину. Тени мелькнут, тихо закроется дверь. В каждом районе были свои места заключения. Иван Васильевич жил в центре, он и попал в центральный подвал, неподалёку от бывшего благородного собрания, в коем когда-то немало испил коньяков и шампанского.

На полу в тесно набитой камере Иван Васильевич увидел вождя местной комсомолки Спрингиса. Нос у него был разорван до глаза и сильно кровоточил. Активист Иван Торгашев написал про него в газете, будто он является тайным троцкистом.

— Признаёте? — спросил Спрингиса следователь.

— Чушь! — ответил тот. — Объявляю голодовку!

И его стали питать питательным раствором через нос с помощью трубки. Порвали ноздри. Через две недели он попросился к следователю:

— Хочу признаться! И заявил:

— Меня вовлёл в троцкистскую банду вражий агент Иван Торгашев. Любитель писать в газеты немедленно оказался в том же подвале. Смирнов на допросе сказал:

— Признаюсь!

— В чём?

— В чём скажешь, всё подпишу...

Иван Васильевич прекрасно понял, что время теперь другое, этой власти никто перечить не может. Если она говорит «умри!» — надо умирать. Сопротивляться? Испытаешь понапрасну адские муки, и всё равно убьют, так лучше уж умереть сразу. Вешать ведь не будут! А расстрел — что? Секунда — и всё. Потеряешь сознание, словно уснёшь. Здешние ребята — специалисты, видно по всему, не промахнутся.

Начальник Овчинников был в те дни озабочен. Арестовали кучу народу, рассмотрели тучу дел, и почти все дела расстрельные. Ликвидировали на Каштачной горе партию из двадцати приговорённых. А шуму наделали! Оказалось, что выстрелы и крики уничтожаемых слышит весь город. У рожениц молоко пропало! И молва ещё прибавляет ужасов. Провели срочное совещание с ликвидаторами. Из тюрьмы, что стоит на Каштаке, ночью вывозили связанных врагов народа, а во рту у каждого врага был мяч. Чтобы, значит, не блажили. Расстреливали их прямо на телегах из револьверов в затылок. И один ухитрился вытолкнуть мяч изо рта и заблажил. Да и выстрелы всё

* Домзак — дом заключения.

равно слышно. Тогда кто-то внёс предложение не стрелять, а бить по затылку ломом. И этот метод испробовали, и тоже — тяжело, не всегда одним ударом убьёшь, опять криков не избежать. Овчинников приказал сидевших в подвалах в центре города на Каштачную гору не тащить. Пусть ликвидаторы придумают, как их прямо в подвалах ликвидировать, а уже потом тихо по ночам вывозить во рвы.

И придумали. В одной комнате стоял стол, и возле него — привинченный табурет был. Усаживали врага на табурет — читай, мол, протокол. Заходили сзади и стреляли из револьвера в затылок. И тут же хватили из стакана на столе пробку и затыкали дыру в голове, чтобы кровь не фонтанировала. Но всё равно после каждого выстрела приходилось вытирать кровь и на полу, и на столе, а то и на стенах. Затем труп увлакивали в складское помещение, и приглашали, как в парикмахерской:

— Следующий!

Дошла очередь «подстригаться» Смирнову. Почувствовал как-то: убивать будут! Вспомнил тех, что уехали за границу. Вот Анатолий Николаевич Пепеляев... уехал. Молодец! И самому надо было бы... На что надеялся? Эх!..

Не знал он, что и генерала ожидала такая же судьба. Сразу после бегства из России в чужой стране Анатолий Николаевич Пепеляев затосковал. Объезжал все китайские города, где жили русские эмигранты. Встречался с офицерами, унтерами и солдатами, с подросшим молодняком. «На родину хотите?» Формировалась штурмовая бригада. Обучение шло в специальных воинских городках по полной программе.

Шло время, и разведка доносила, что после продрозвёрстки двадцатых годов российские крестьяне возненавидели Советы. Им только нужно помочь.

Перед ледоставом, когда уже больше не могло быть пароходов, отряды генерал-лейтенанта приплыли из Китая в порт Аян, тихое селение под городом Охотском. Отсюда, с восточного берега Охотского моря, освободители России должны были великим сибирским трактом двигаться на Якутск, обрастая добровольцами. И пойти на Красноярск. И, может, дальше — в родной Томск.

Аян. Тундра кругом, а сзади — лёд, шторма. После трудного морского похода уснули солдаты и офицеры, только двое часовых стояли возле изб во тьме. Сон. И вдруг стук в дверь, и голос, как гром среди ясного неба:

— Анатолий Николаевич Пепеляев здесь живёт? Сопrotивляться не полезно. Окружены! Кругом — пулемёты! Именем советской власти. Арестованы!

Чтобы зря не проливать кровь, сдался. Хорошо сработала у красных разведка. Вслед за пепеляевцами ночью тайно шёл пароход из Владивостока. Нет, не отомстил генерал за брата, за других родных и близких, не вернул себе ту Россию, которая была. Да и нельзя дважды вступить в одну и ту же воду. У всех у нас есть родные города. Близкие люди. Мы тянемся к ним, не всегда дотягиваемся.

Анатолий Николаевич больше не увидел Томска, но увидел многие российские тюрьмы. Его почему-то не расстреляли сразу. Перевозили из одной тюрьмы в другую. Чего хотели от генерала? Его расстреляли чуть позже, чем Смирнова, в январе 1938 года во внутреннем дворе Ярославской тюрьмы.

Каждый год в Томске вновь зацветает черёмуха, и в укромных уголках целуются влюблённые пары, совсем не думая о тех, кто жил здесь до них когда-то. Они не знают о прежних насельниках Томска ничего, да и не хотят знать. Что им Потанин, Смирнов, Гадалов, Пепеляев, или кто другой? Всё забывается. Время — великий жулик.

Вы хоть раз взлетали душой под хороший русский хор? Таких мелодий, таких одухотворённых красивых лиц, такой страсти не услышите, не увидите ни на Востоке, ни на Западе. И природа, как мы её ни губим, прекрасна в Сибири, и во многих других краях Руси. А о чём поют хвойные боры в -междуречье Томи и Оби, знаете? Плюньте на рекламу, упадите в серебристые и изумрудные сухие мхи и покайтесь!

Говорят, не очень давно приезжала в Томск из Америки дочь Ивана Васильевича Смирнова, сестра трагически погибшего Вани. Старушка тихо постояла возле дворца своего покойного отца. Почитала вывеску на стене. Там разместилась какая-то научно-нефтяная контора. Дочь Смирнова тихо прошла по окрестным переулкам, а потом так же тихо уехала из Томска, теперь уже навсегда.